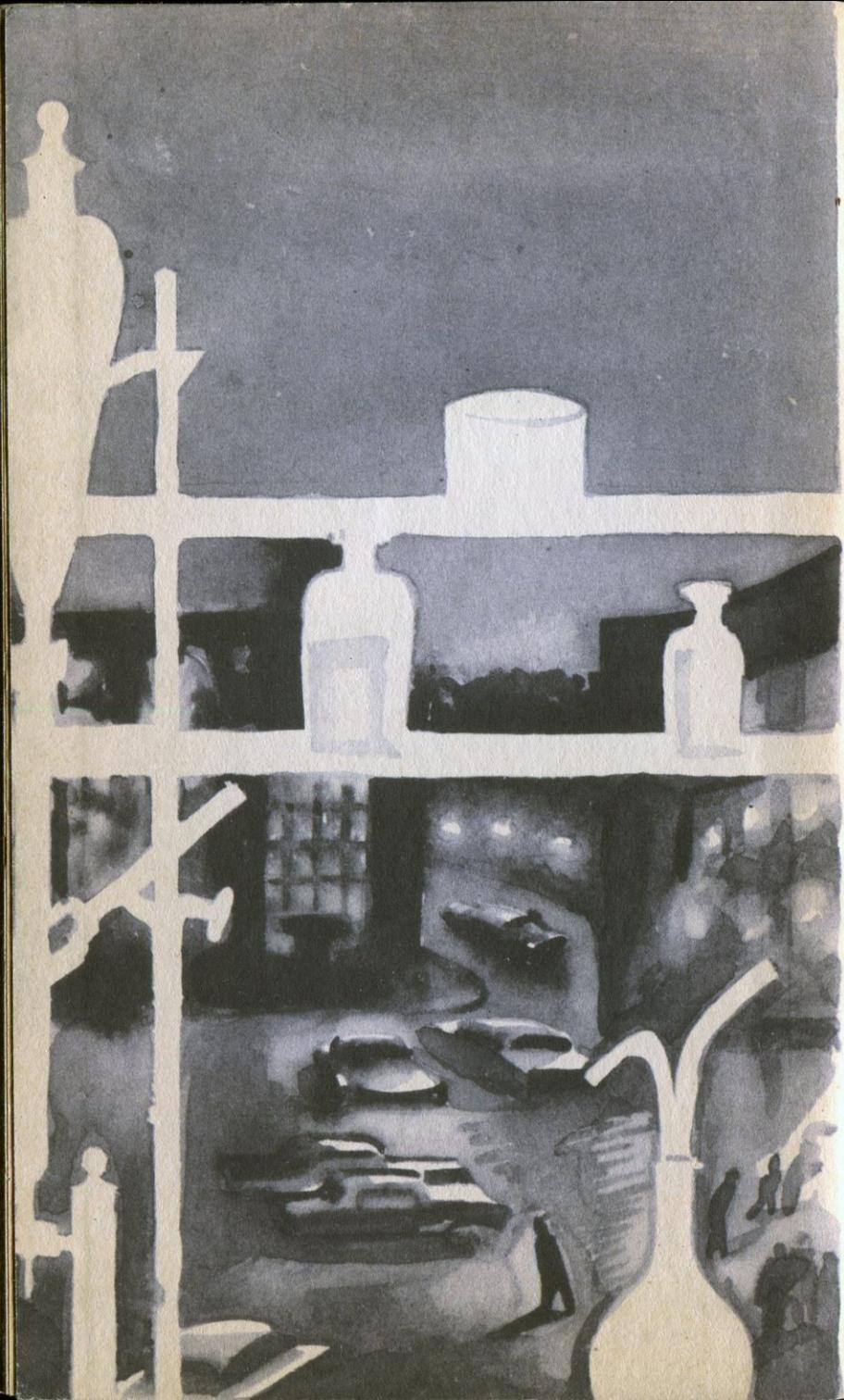


М. ЕМЦЕВ, Е. ПАРНОВ
ЯРМАРКА
ТЕНЕЙ

Издательство
Детская литература

М



БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



МОСКВА ~ 1968

М.ЕМЦЕВ, Е.ПАРНОВ

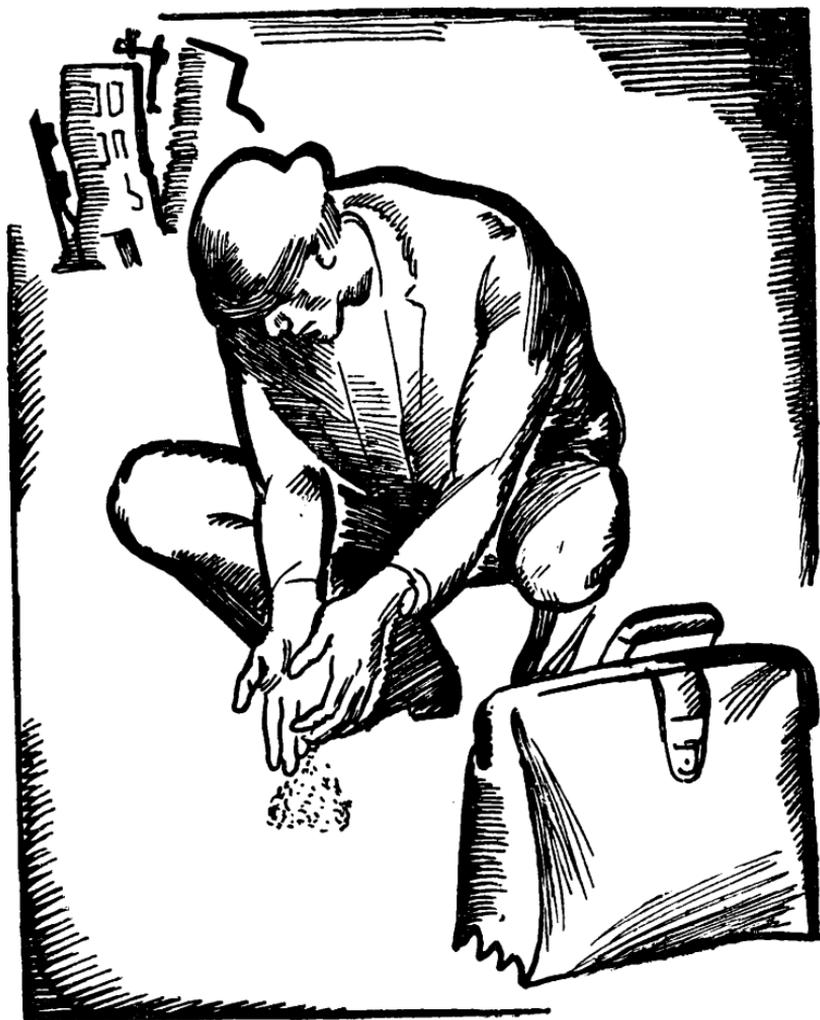


ЯРМАРКА
ТЕНЕЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ЯРМАРКА ТЕНЕЙ





Часть первая

Г О Д Ы П А Д Р Е

Насколько Второв помнил, у Падре все всегда блестяло. Лысый череп его сверкал, румяные щеки сияли, золотая оправа очков горела, улыбка искрилась, глаза светились, подбородки лоснились. Голова Падре напоминала хрустальный земной шар, выставляемый перед праздником для обозрения в детском универсаме. Она царственно покоилась на мощных плечах циркового силача.

«Эк его разнесло, голубчика! — обычно сочувственно думал Второв при встречах с шефом. — И сколько ж в него всадила природа костей, мяса, сухожилий, сала, кожи! Этого всего, пожалуй, на двух бы хватило».

По мнению сотрудников, шеф внешне походил на бегемота, а внутренне на тигра. Он врывался на заседания со стремительностью вепря, а уж хитер был, как дьявол (здесь зоологическая стройность сравнений нарушалась, так как звери слишком просты для людей).

На собраниях и конференциях он выглядел монументально, величественно, точно священнослужитель, откуда, вероятно, и пошло прозвище «Падре». В обычной жизни его знали как лукавого, хитрого, изворотливого человека.

— Наш Падре, конечно, фрукт,— говорили про него сотрудники.— Но таким, наверное, и надо быть,— добавляли они.

«Ничто не идет этому человеку меньше, чем его прозвище,— думал Второв, глядя в мирское и греховное лицо шефа.— Все же он значителен. Значителен и чем-то очень интересен. Он привлекает к себе людей».

В данный момент Падре занимался «причащением». Он ругал своих сотрудников.

— Вся ваша работа не будет стоить выеденного яйца, если вы не сумеете подать ее как следует! — Палец Падре устремлялся к потолку.— На первый квартал нам срежут единицы, помещения, зарплату, и тогда посмотрим, как вы будете выглядеть! Вы позволяете себе барское отношение к необходимейшим жизненным обязанностям!

— Зарплату не срежут,— ввернул кто-то.

— «Не срежут, не срежут»! — рявкнул шеф и, внезапно успокоившись, сказал: — Да. Действительно, не срежут. У нас такого не бывает. Но зато единицы срежут. Кто тогда работу потянет? Вы, Тихомиров? Или вы, Второв? Или вы, вы?..

Все молчали. Знали, что «проповедь» Падре прерывать нельзя: вмешательство только усложнит и затянет процедуру «причащения».

— Нас ожидают большие дела. Нас ожидают настоящие научные свершения. Возможно, даже открытия. Мы выходим на всесоюзную арену. О нас уже знают в Академии наук. Наверху считают, что нашу работу следует углубить и расширить. Для этого нужны деньги и люди. Их нам дадут, если мы сумеем показать должным образом результаты своих трудов. Но среди нас находятся такие белоручки, которые заявляют, что возиться с выставкой, экспонатами и диаграммами ниже их достоинства. Я считаю это недопустимым. Пусть меня извинят за резкий тон, но я должен обратить ваше внимание на то пренебрежительное отношение...

Вся эта тирада, и угрожающее размахивание кулаками, и побагровевшая голова бритого громовержца, и грозный взгляд его адресовались Второву. За день перед этим он отказался готовить выставку по их отделу к приезду весьма ответственной комиссии. Чтобы несколько смягчить резкий отказ, Второв привел подсчеты, сделанные шариковой ручкой на клочке бумаги. Шефа этот клочок привел в особенную ярость.

— Здесь некоторые создали целую теорию о том, как увилывать от выполнения важнейших обязанностей ученого — контактов и обмена информацией. Особенно с субсидирующей организацией. Александр Григорьевич Второв считает, что слишком много времени расходуется на отчеты, составление планов, их координацию, совещания и проблемы снабжения. По его подсчетам, на чисто научную работу остается не более пятнадцати — двадцати процентов общего рабочего времени!

Неприятно, когда тебя ругают. Еще неприятнее, когда это происходит на людях. И совсем неприятно, если осуждают те мысли, которые десять минут назад казались тебе интересной находкой, своеобразным открытием. И тем не менее Второв не особенно огорчился. Он привык. Он уже ко многому привык и на выходки Падре смотрел сквозь пальцы.

Хотя вклиниться в речь шефа было труднее, чем пробиться сквозь встречный людской поток в часы «пик», он все же улучил удобный момент и предложил пригласить для оформления выставки художников со стороны. Шеф моментально успокоился. Уж таков был этот человек. Его беспомощность в житейских вопросах изумляла. Он чувствовал себя уверенно только за рабочим столом или на трибуне конференций. Но, столкнувшись с пустяковой проблемой из сферы чистой практики, он мгновенно терялся и сразу же начинал волноваться. И тогда казалось, что вся его деятельность сводится к тому, чтобы волноваться. Он волновался часто и подолгу. Кричал, ругался, обижался и обижал. Но это было особое волнение. Оно направлялось на возбуждение соседа, друга, сотрудника. Падре увлекал своим энтузиазмом других. Больше всего его раздражало равнодушие собеседника. «Славненько мы с ним полаялись» — это у него была высшая аттестация разговора. И странное дело, обычно под его

давлением посторонние люди находили то, что хотел найти он сам. Не будучи одаренным сверх меры, он рождал таланты вокруг себя. Он создавал их даже из людей ничтожных, давно разуверившихся в своих возможностях. Таков был Падре, и этого у него нельзя было отнять. Его энергии хватало на многое. Он заражал каким-то детским неистребимым любопытством. А с любопытства, собственно, и начинается путь исследователя к цели.

— И еще одно поручение, Александр Григорьевич,— сказал он в конце совещания, когда сотрудники начали расходиться.

Второв внимательно посмотрел в зеленоватые глаза Падре. Внимательно и даже подозрительно, потому что не знал, что ему предстоит. В какие битвы бросит его рука шефа? Какие резкие повороты ждут его через минуту? Нет, шеф все же из джунглей. Недаром в характеризующих его анималистских сравнениях никогда не фигурировали животные средней полосы. Все из тропиков.

— Вам придется повозиться несколько дней с американцем. Его прислало к нам министерство. Никто не хотел брать, вот и пришлось мне...

«То есть мне»,— подумал Второв.

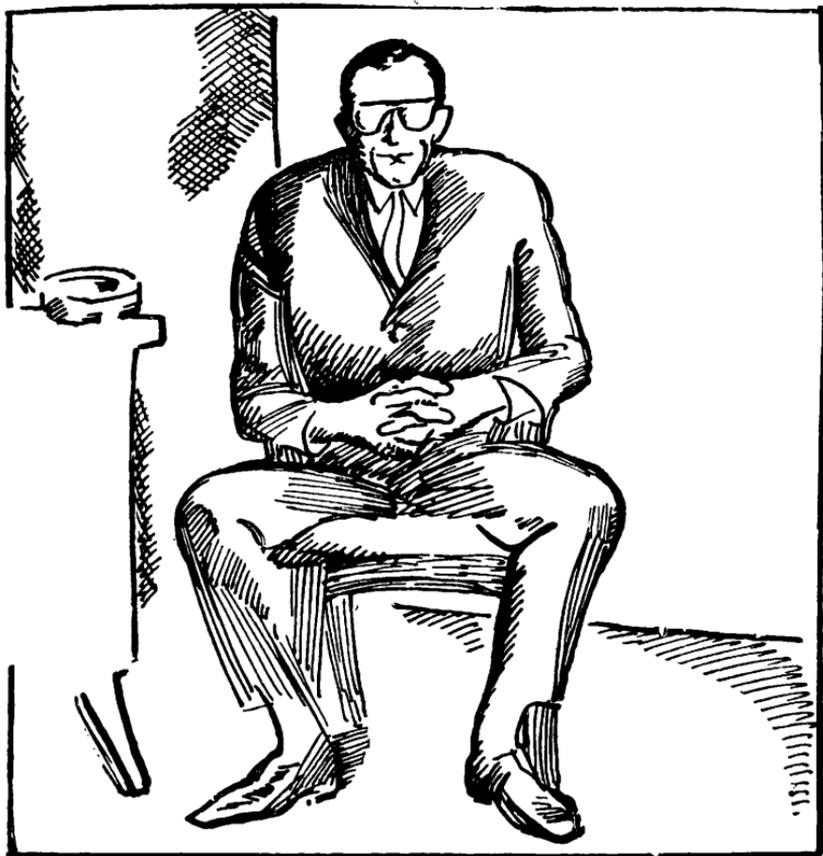
— Хорошо.— Он не в силах был вести неравный бой наедине с Падре. Тем более, что сегодня он уже один раз устоял.— Хорошо,— повторил Второв.

Когда он познакомился поближе с Кроуфордом, стало понятно значение выжидающего взгляда Падре.

Второв и сегодня убежден, что Кроуфорд самый нетипичный из всех американцев. Это пародия на существующее представление об американцах. Это вызывающее искажение привычного образа, которое должно преследоваться по закону, как продажа товара под фальшивой этикеткой.

Кроуфорд высок и черноволос. Среди американцев такие, правда, часто попадаются. И пробор на голове, и костюм, и туфли у него американские. Он курит сигареты «Кэмел» и пьет перед обедом апельсиновый сок.

Но медлительность! Бог ты мой, что за унылая медлительность! Когда в течение получасовой беседы Кроуфорд произнес только три фразы, Второв недоумевал. Какой, однако, выдержанный иностранец! На банкете,



длившемся около трех часов, Кроуфорд разразился речью из двадцати пяти слов, причем пять-шесть из них были артикли. Затем он замолк и не проронил ни звука в ближайшие двое суток. Вот тогда Второв испугался. Кроуфорд словно жил в замедленном темпе. Задав этому человеку вопрос, Второв мог спокойно курить, разговаривать с сотрудниками, обедать. Возвратясь, он заставал Кроуфорда в том же положении. Тот, казалось, уже начал размышлять над вопросом. Но ответ поступал только на следующее утро. Примерно так же Кроуфорд относился ко всему миру. Вернее сказать, он не относился к нему никак. Не реагировал, и все.

Кроуфорд больше всего любил безглагольные неопределенные предложения, которые в его произношении на русском языке не имели вопросительной интонации. непонятно было, спрашивает он или подытоживает и обобщает предыдущую мысль собеседника.

Второв подозревал, что предки Кроуфорда родом из Финляндии. Он так прямо и спросил американца, но услышать ответ ему не довелось. Не хватало терпения.

И все же Второв отчетливо видел, как американец постепенно узнает все, что ему нужно. Он узнавал все, что ему было нужно, с помощью молчания. Второв уже побаивался, не сказал ли он чего-нибудь лишнего. Но и молчать, подобно Кроуфорду, целыми часами он не мог. Приходилось что-то говорить. И в этом «что-то» обязательно содержались слова, касающиеся работы, потому что Второв жил своей работой, пожалуй только работой. Поговаривали, что от него ушла жена, дочь какого-то отставного начальника. Так ли это, никто не знал. Второв был не из болтливых. Но сама возможность такого происшествия ни у кого не вызвала удивления. Второв дневал и ночевал в лаборатории. Какая жена это будет терпеть? Дура? Подвижница? Вероятность и того и другого примерно одинакова и не очень высока. Оставалось предположить, что жене Второва просто не было до него ни малейшего дела. А такие в один прекрасный день уходят. Или от них уходят. Вот почему некоторые говорили, что Второв сам ушел от жены. Недаром же он снимал какое-то время комнату где-то в Марьиной роще, пока не въехал в кооперативную квартиру.

Кроуфорд тоже обладал даром целиком отдаваться делу. И это, естественно, сблизило его с Второвым. Разговаривали они мало и симпатизировали друг другу поэтому молча.

...Конец рабочего дня. Весенний вечер. Второв с Кроуфордом находятся в лабораторном полуподвальном помещении. Пахнет аммиаком и еще чем-то неприятным. Сотрудники давно покинули эту комнату. Они не любят ее за сырость. Кроуфорд сидит на стуле, вытянув ноги, и смотрит в потолок. Перед ним лежит научный отчет, которым Второв надеется насытить на некоторое время

безмолвное любопытство молодого доктора из Колумбийского университета. Кроуфорд говорит по-русски неважно, а читает медленно, а Второв не без основания полагает, что отчета ему хватит как раз до отъезда. Но Кроуфорд не торопится взять в руки еще пахнущий клеем после переплетной отчет. По своему обыкновению, о чем-то размышляет, сосредоточенно уставившись в потолок. Второв возится у термостата. Он использует каждую передышку для того, чтобы подвинуть дело жизни хоть на дюйм вперед.

— Эволюция и стенды,— изрекает Кроуфорд.

— Правильно, Джон, это вы в точку попали,— пыхтит Второв у термостата,— именно так. Но сначала нужно досконально изучить отдельные механизмы, а затем выносить их на стенды. Этот процесс переноса не прост. Системы дыхания и кровообращения и их механизмы известны. Но на создание соответствующих стендов понадобилось десять лет. Стенд искусственных почек разработан в совершенстве только благодаря новым материалам, а не потому, что до конца известен физико-химический механизм выделения вредных веществ из организма. Что же касается нервной системы...

Внезапно Кроуфорд делает характерное движение носом.

— Это есть спирт,— взволнованно объявляет он.

— Да, я протираю... а что? Хотите выпить?

Кроуфорд радостно улыбается и кивает головой. Ай да колумбиец!

Все оказывается очень просто. В подпитии Кроуфорд словоохотлив, как сорока. В компании симпатичного «мистера Фтороф» Кроуфорд воздаст должное своему любимому напитку, спиритус вину ректификати, наливаемому из милой сердцу шотовской колбы в такой знакомый тонкий химический стакан. Если допустима такая классификация, то Кроуфорд выдерживал обычно лабораторно-химический стиль пьянства. В качестве сопровождающих аксессуаров ему требовался запах горячей газовой горелки, собеседник в белом халате и химическая посуда. Это осталось в нем со студенческих времен, о чем он доверительно сообщил Второву:

— Славное время. Большой подъем чувств. Гигантская игра фантазии. Каждый студент — супермен.

— Да, молодость. Но она проходит. Человек взрослеет, появляются другие интересы,— соглашается Второв.

Кроуфорд качает головой:

— Не так просто. Главный интерес остается. Центральный вопрос жизни.

— Какой такой центральный вопрос? — настораживается Второв.

— Вопрос человека. Его чувства, дела,— неопределенно отзывается Джон Кроуфорд.

Второв приглядывается к Кроуфорду. Что он хочет сказать, этот странный американец? Он будто волнуется, меланхолию и сонливость словно рукой сняло. Он возбужден, но возбуждение его не выплескивается наружу, а потаенно и глухо перекачивается где-то в душе. Вот только в глазах будто что-то промелькнет и снова исчезнет. Нет, все-таки странный человек мистер Джон Кроуфорд.

— У вас начало большой работы,— говорит Кроуфорд,— мне она нравится. Эволюция в экспериментальном плане — хорошая выдумка. Эволюция на стендах — замечательная мысль. Тут большой размах. Выпьем за здоровье вашего шефа, за безбожника Падре!

Он улыбается и поднимает стакан. Второв чокается и с досадой думает, когда же гость успел узнать прозвище шефа. Это неприятно...

...Но американец через несколько дней уехал, и Второв вскоре забыл о нем.

Он забыл и о нем, и о многом другом. Он забыл обо всем на свете, потому что работа ладилась, лаборатория была «на гребне», а Падре, так тот просто парил под облаками.

Началось это давно, но только теперь пришла заслуженная награда. В свое время, занимаясь изучением биохимических механизмов, шеф выдвинул лозунг: «Пора остановиться!» Это заявление вызвало удивление и возмущение. Коллеги и соисполнители из соседних институтов были неприятно поражены. Как так — остановиться?! И где именно? Что все это значит?

— Хватит углубляться,— твердил шеф,— довольно с нас деталей и особенностей. Пора кончать со всеми предполагаемыми и ожидаемыми реакциями! К черту все

тонкие и все сверхтонкие перегруппировки! К черту биохимию на квантовом уровне! Я все равно не могу подсчитать сто тысяч энергий активаций в секунду. Довольно микроскопировать космос!

Никто не ожидал подобной выходки от столь эрудированного современного ученого. Все были в лучшем случае разочарованы. Многие пытались отговорить разошедшегося старикана. Эрудиты, те просто считали его предателем. Обнаружить такое невежество! Отрицать необходимость углубленного изучения, когда на Западе...

На Западе действительно происходило нечто грандиозное. Биологи и специалисты смежных отраслей науки разобрали человека на молекулы и долгое время не могли восстановить статус кво. Но после открытия Брауна — Карпушкина в биологии возник поток изобретений. Поговаривали о синтезе генов, отдельных тканей и даже органов. Был синтезирован первый искусственный вирус. К этому времени исследователи достаточно углубились в недра науки, почти что исчезли в них и поэтому друг друга не замечали. Они ушли далеко вперед, и простые смертные, с почтением взиравшие на их спины, теперь с трудом различали знакомые силуэты на туманном горизонте. А некоторые из постигавших тайны человеческого организма и вовсе исчезли. Они были совсем, совсем впереди.

Но шеф из-за злобного упрямства не желал догонять вырвавшихся далеко вперед коллег. Он предлагал остановиться. И когда? В самый разгар проникновения в тайну тайн — в механизм человеческого бытия. И его заклеямили, не дослушав возражений. Правда, наиболее участливые допытывались:

— Где же вы хотите застопорить полет науки наших дней?!

— На эдисоновской золотой середине,— мрачно отвечал он.

Оппоненты пожимали плечами.

Но Падре не любил долго ходить в изгнанниках. Он просто не мог переносить внезапное одиночество. Он не хотел стать непонятым и непризнанным.

«Лучше ничтожный успех на этом свете, чем бессмертная слава на том». Злые языки поговаривали, что эти слова принадлежали ему. Тем не менее в этом нет пол-

ной уверенности. У него были враги, и немало. Так или иначе, но вскоре голос Падре зазвучал с трибун совещаний и конференций.

«Поймите меня правильно,— вещал он,— когда я говорил о прекращении движения вглубь, я понимал, что сие автоматически обозначает расширение исследований на пограничные, близлежащие области. Не вглубь, так вширь! А вернее, и вглубь, и вширь!»

Мир был восстановлен. Падре вновь признали за своего. И он вновь председательствовал, поощрял, выдвигал, замечал, отличал, утверждал и подтверждал. И одновременно реализовал свои замыслы, свои потайные, далеко идущие планы.

Он не был бескомпромиссным борцом за истину. Напротив, ему казалось, что он тонкий и гибкий политик. Он умел отступать и уступать, смягчать формулировки и делать выводы более обтекаемыми. И все-таки в конечном счете гнул свою линию. Он нутром чувствовал суть вещей. Все-таки Падре был настоящим ученым. И Второв это понимал. Если б кто-нибудь попытался проверить деятельность лаборатории Падре, то такому человеку не пришлось бы слишком долго ломать голову перед тем, как решить, что налицо страшный хаос и неразбериха. И все же...

Время от времени из стен его лаборатории выходило аккуратное законченное исследование, выполненное на самом высоком научном уровне, статья с оригинальным наблюдением, а то и монография, производящая если не переворот, то нечто вроде легкого землетрясения данной отрасли науки.

Куда гнет Падре? В чем его линия?

Второв долго не мог сформулировать ответ — слишком запутанны были научные направления в их лаборатории. Кроме того, существовали люди, которые работали под личным руководством и непосредственной опекой шефа. Их исследования велись втайне. И все же Второв не прекращал своих попыток. Он внимательно анализировал выступления шефа, выделяя из них истинную и отбрасывая конъюнктурную информацию. Он ловил оброненные случайные словечки, намеки, обещания и составлял из них пасьянс, под названием «цель».

Пасьянс недвусмысленно показывал, что честолюби-

вые замыслы Падре касаются множества сложнейших проблем. Насколько удалось понять Второву, Падре не ограничивался биологической стороной вопроса. Кто знает, куда он залетал в мечтах своих!.. Правда, мечты оставались мечтами, и пока Падре широко пропагандировал анаэробное дыхание. Здесь работы находились в самом начале, но это не мешало ему устроить широковещательную рекламу.

— Вы знаете, что такое анаэробное дыхание? Вы представляете, какие оно открывает перспективы перед человечеством! — патетически восклицал Падре, освещенный прожектором и улыбкой диктора.

Вдоволь поинтриговав столь несведущую в вопросах анаэробного дыхания аудиторию, Падре переходил к изложению сути дела. Оказывается, все совсем не так представляют себе современного человека, как это следовало бы, по мнению Падре. Человеческое тело, организм человека, вещал Падре, не есть нечто завершенное и законченное, как пытаются представить некоторые ученые. Человек далек от гармонии, которую видели в нем поэты и философы прошлых веков. Человек — это стрела, направленная рукой эволюции из прошлого в будущее. Не только чувства, память, эмоции и сознание человека находятся в состоянии непрерывного развития, но и тело его, брэнное тело среднего человека, еще и сегодня непрерывно меняется и преобразуется. В зависимости от образа жизни, возраста, пола и особенностей строения каждый организм представляет собой в той или иной мере кладовую нереализованных возможностей.

Оратор с ходу предлагал приступить к реализации потаенных чудес. Начать хотя бы с анаэробного дыхания. Падре останавливался на особенностях анаэробного дыхания у микроорганизмов, слегка касался кишечнополостных, некоторых рыб, пресмыкающихся и переходил к человеку. У него он находил эту способность в зачаточном виде. Или в атавистическом. Какая, в сущности, разница?

— Слушайте, слушайте!

Человек будет обходиться без кислорода!

Для него откроются глубины океана. Две трети планеты залито водой. Пора наконец по-настоящему освоить Землю.

Шеф делал красноречивую ораторскую паузу и вкрадчивым шепотом продолжал:

— Способность к анаэробному дыханию можно развить, закрепить, и тогда...

Вот это «тогда» кружило голову оратору и слушателям. Открывались изумляющие перспективы. Здесь было и подводное (смешанное анаэробно-аэробное) дыхание, и полностью бескислородное — в условиях космоса, и отказ от представления, что только сердце—легкие являются главными поставщиками кислорода в организме, и многое другое. Несколько сдержаннее Падре останавливался на реальных путях перехода на анаэробное дыхание. Слушателям было ясно только два факта: придется много есть, раза в два-три больше обычного, и проделать над собой кое-какие операции. Против еды особых возражений не было, но зато хирургический подход вызывал явное отвращение. Все хотели знать, какие же именно операции должен проделать человек, чтобы стать анаэробом.

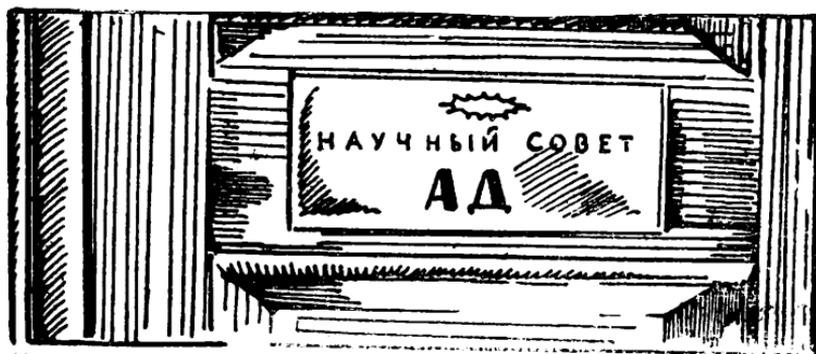
Падре шутил, вступал в диспут с теми, кто задавал особенно ядовитые вопросы, рассыпал улыбки и выглядел самодовольным олицетворением успеха. Впрочем, самореклама анаэробного дыхания скорее принесла вред, нежели пользу. Слишком несерьезно все выглядело, хотя за спиной шефа маячили графики, таблицы и формулы реакций.

И все же многие заинтересовались. Прежде всего моряки. Рыболовы. Морские геологи. Заглянули врачи-космологи. Пришли и прочно обосновались обычные врачи. Они так и заявили:

— Мы знаем, что у вас еще ничего нет. Но мы готовы работать вместе. Если это удастся, можно будет спасти тысячи людей. Инфарктники, астматики и сердечники ждут вашего метода. Для них несколько часов анаэробного режима означает жизнь и здоровье. Давайте думать.

Постепенно вроде бы ничем не обеспеченная и не подкрепленная, случайно возникшая на пустом месте идея шефа стала обрастать скорлупой известности и массовой заинтересованности. Вокруг проблемы «АД» («анаэробное дыхание») по круговым и эллипсовым орбитам вращалось все больше и больше людей. Был

создан Совет по проблеме, включающий в себя специалистов самых различных областей науки. В него входили химики, биологи, технологи, психологи, медики и т. д., всего числом 167 человек. Председателем Совета был назначен видный административный работник, ретиво взявшийся за дело. Ему придали в помощь ученого секретаря, стенографистку, машинистку, курьера и трех освобожденных членов Совета. Администратор не любил есть хлеб даром, и на головы членов Совета «АД» посы-



пались бумажные снежинки, призывающие, напоминающие, обязывающие... Ротопринт печатал протоколы совещаний в двухстах экземплярах, и каждый член Совета был обеспечен своевременной исчерпывающей информацией. Поговаривали о строительстве отдельного здания под проблему и о создании специализированного закрытого института со сверхсекретной тематикой.

Но все это были только слухи, и, как потом выяснилось, совершенно не проверенные. Засекречивать тематику никто не собирался хотя бы потому, что практический выход ее лежал в сфере биологии и медицины. Речь, таким образом, шла о здоровье людей и освоении литорали. Но Падре любил таинственность. Возможно, он сам и пустил слух о «спецтематике», сболтув об этом в кулуарах какой-нибудь конференции.

По проблеме «АД» было несколько выступлений по радио и телевидению, появились статьи в центральных газетах, благосклонно отмечающие интересное научное направление и...

Все. Больше ничего и не было. Сама проблема так и не пошла дальше стен лаборатории Падре. Там она велась силами двух-трех сотрудников да еще несколькими энтузиастами-медиками, которые приходили в «АД» раза два в неделю.

...И именно они сумели все-таки кое-что сделать! Из стен лаборатории вышел миниатюрный никелированный приборчик. Специальная комиссия Минздрава подвергла его испытаниям, и тихо и незаметно он стал завоевывать аптеки и больницы. Излечимость астмы поднялась до 84 процентов. Падре знал, чего хочет. Чутье у него было дай бог всякому!

Второва еще сильнее стала интересоваться позиция Падре, его потаенные надежды и планы. Кое-чего Падре добился. Это несомненно. Но благодаря его практической беспомощности дело, вернее, ассигнование на него уплывало в чужие руки. Конечно, средства не пропадут и наука в целом, может, ничего не потеряет, но всегда обидно, когда предназначенное тебе уходит к кому-то. И все Падре... А о Падре, как и о самой проблеме, незаметным образом позабыли. Нет, разумеется, он был ведущим членом проблемного Совета, выступал там с отчетными докладами, выступал в прениях, выступал с замечаниями, выступал, выступал... И все же он оказался на задворках. Его оттеснили подъемные краны, заказы на размещение оборудования, сметы, планы строительства и прочее, и тому подобное, и так далее.

— Вас затирают,— заметил однажды Второв.

На что Падре лукаво ухмыльнулся:

— Меня затирают?! Нет, голубчик, все идет, как задумано. Они пируют на мои деньги и в моем доме. Они добиваются взаимности у моей Пенелопы. Но грядет час! Отмщение свершится. Момент избиения коварных женихов недалек! Ты его увидишь!

Второв пожимал плечами и удалялся в свой подвал. Там, по его мнению, свершалось главное. В комнате, где весь день не выключали электрический свет, так как дневного не хватало, где негде было повернуться из-за вытяжных шкафов, всевозможных приборов, проводов, термостатов, аквариумов, где часто очень дурно пахло,— именно там происходило основное таинство науки. Там ставили опыты и получали результаты. Там медленно и

часто неверно, но все же двигались вперед, к намеченной цели. И Второв весь отдавался радости этого движения. В сравнении с членами Совета проблемы «АД» он чувствовал себя богачом. Он дышал чистым воздухом науки, находясь в сыром подвале. Его лицо овеял ветер замыслов и свершений. По-своему Второв был счастливым человеком. Он делал важное, нужное всем и любимое им самим дело. Он делал его хорошо. И он верил в победу. Разве мало?

Пришел еще один явный успех. Ферментативная система, введенная собаке, показала хорошие результаты. Второв бросился было наверх с сообщением, но Падре задержал его:

— Итак, собачка... как, бишь, ее... Метеоритик не задохнулась в атмосфере чистого азота, и вы ссылаетесь на анаэробное воспитание при помощи фермента «АНД-11»?

— Именно так. Вы совершенно точно изложили сказанное мною. И я хотел бы добавить, что наконец можно дать членам проблемного Совета пищу для раздумий более интересную, чем организационные неурядицы, которыми они занимаются.

— Э, нет, мой дорогой. В этих вопросах извольте слушаться меня. Здесь я задаю тон. А вам советую провести еще кое-какие исследования, чтобы ваш первый успех не превратился в большой первый ляп. Люди могут вести себя по-разному,— продолжил Падре.— Они могут обещать, строить планы и эти планы менять. Но научные результаты должны быть безупречны. Добейтесь стопроцентной воспроизводимости. Понимаете? В должное время и в должном месте мы скажем свое веское слово. Поэтому чтоб комар носа не подточил! — И Падре назвал ряд новых опытов.

Но Второву не пришлось их проводить, так как он получил приглашение на конгресс и должен был срочно вылетать за границу. Хлопоты и заботы закружили его и на много дней оторвали от любимого дела и проблемы «АД».

Но одно он понял окончательно. Несмотря на всю противоречивость своего поведения, несмотря на иногда неразумное политиканство и какое-то детское тщеславие, Падре был настоящим ученым. Он мог изменять себе, но

никогда не изменял науке. Он был удачливым неудачником, этот Падре. Будь у него другой характер и побольше практической сметки, он бы достиг очень многого... Но Падре оставался самим собой.

«ВАГОН ВПЕЧАТЛЕНИЙ»

— Вы разговаривали со многими умными людьми и видели наши институты, но узнали ли вы хоть немного нашу жизнь? — спросил высокий, тщательно причесанный мужчина. Его пробор напоминал демаркационную линию, которую ни один волос не смел переступить, не прекратив существования.

— Мне показывали ваш город, — ответил блондин. Он ослепительно улыбнулся. У него были превосходные зубы.

«У этого русского улыбка американца», — подумал высокий.

— Вам показывали официальное лицо города, но... видели ли вы город так, как его видят миллионы других?

Блондин снова рассмеялся. Рассмеялся и тряхнул головой. Соломенная копна рассыпалась.

«У них обычно не совсем в порядке прически и обувь», — подумал высокий.

— Так как же, мистер Второв? — настойчиво спросил он.

— Что ж, пожалуй, если вы будете так любезны... — Второв пожал плечами.

— Пойдем пешком? Сначала пройдемся немного, а затем уже поедем.

Второв согласно кивнул.

— На меня произвел большое впечатление ваш доклад, — сказал американец, — это новое слово в науке. Мне кажется, что до многих он просто не дошел. Я полагаю, вы сами еще недооцениваете выводов, которые следуют из вашей работы. Здесь кончается биохимия и начинается социология. Не так ли?

— Может быть, — неохотно отозвался Второв, — время покажет. Еще много неясного. Нужны новые исследования. ;

— Новые, которые продолжили бы старые? — спросил Кроуфорд.

— Да, в таком роде.

— А старые бросать не стоит. Когда я был у вас в Москве, они показались мне очень перспективными. Я даже кое-что сделал в этой области. Но об этом потом...

...Напоенная светом синева слепила глаза. Крыши домов пылали, словно подожженные. Двое худеньких мальчишек выкладывались в свисте, метались по жестяной крыше. Жирные голуби лениво хлопали крыльями и не хотели садиться. Они были самодовольны, глупы и не внимали призывам своих хозяев.

На реке ревели сирены пароходов и барж. В открытом окне сидел полицейский в подтяжках и пил пиво. Рядом с ним внутри форменного кепи стояла вторая банка.

Второв чувствовал, как под нейлоновой рубашкой его спина и грудь покрываются каплями пота.

Солнце жгло. Мир вокруг сверкал, шумел и тихо кружился.

Сверху, с балкона, донеслось приятное мелодичное пение. Девушка сушила волосы и пела. У нее был звонкий, чуть металлический голосок.

Кроуфорд схватил спутника за руку и прижал его к стене. Над их головами лопнуло стекло, и на улицу полетели осколки. Дверь парадного в двух шагах от них хлопнула, и на улицу выскочил человек. Он ошалело тряс головой, яростно рассыпая проклятия.

Они видели, как на перекрестке он пристал к девушке. Та взвизгнула и бросилась бежать. Он догнал и вырвал у нее сумочку. Девушка заплакала. Второв рванулся, но Кроуфорд остановил его.

— Только смотреть, — хмуро сказал он.

Пьяный бросил сумочку и пошел прочь. Девушка ползала по асфальту, собирая свое имущество.

Второв чувствовал себя как в латах. Рубаха намокла, высохла, намокла, высохла и стала звенеть, как бронзовые доспехи.

В баре, куда они зашли выпить пива, драка была в

разгаре. Двое молодцов утюжили бильярдными киями третьего, который закрывал голову грязными руками. Из разбитых пальцев сочилась кровь. Кроуфорд и Второв проглотили пиво и выскочили из бара.

Внезапно, перекрывая все звуки, раздался новый, особенный звук. Как будто где-то совсем рядом разорвали новехонькую полотняную простыню. Потом еще. И еще. Простыни драли со знанием дела. Но Второв уже понял, что это выстрелы.

Шелестящая волна, точно гонимый ветром осенний лист, поднялась выше человеческого роста и, упав, разбилась на слова и восклицания:

— Где? Где?.. Да там, у склада! У склада в порту, вам говорят... Убили, убили, убили... Дочь нашего лавочника, этого надутого итальянца. Не знаете, что ли, нашего синьора?! Бедная девочка, такая скромница, не в пример... За что же ее?.. Да не ее, а его!.. Простите, о ком вы? О том, о ее знакомом... Три раза стрельнула, один попала — и наповал! Как начала стрелять, он бросился бежать... Обманул, говорят, обещал, и того... Приличные родители, единственный сын... Наследнички руки потирают... Линчевать ее!.. Господи, убили такого парня! За что?.. Любовь, ничего не попишешь... Хотела застрелиться, не дали... Засудят, оправдают... засудят...

— Я думаю, что уже сегодня можно совершенно точно описать состояние этой девушки в терминах молекулярной биологии,— сказал Кроуфорд.

— Не думаю. Это остается задачей науки будущего. Но вряд ли люди перестанут страдать, даже зная основы молекулярной биологии.— Второв широко раскрытыми глазами смотрел на толпу, из центра которой несся высокий, спотыкающийся голос:

— Пустите меня! Пустите меня! Дайте мне умереть! Умереть!..

— Ну, теперь пойдем к машине! — сказал Кроуфорд...

Через час езды они подъехали к большому дому около реки. Дом был великолепен. Он напоминал черепаху с ребристым гребнем поперек панциря. Это было классическое детище эпохи Фрэнка Ллойда Райта. Впрочем, дешевый модерн и здесь вмещался. Одна стена дома, обвитая плющом, была не то из необожженной глины,

не то саманная. Металлические ворота, выполненные из ржавых обрезков жести, напоминали лоскутное одеяло, вывешенное для просушки. В «лице» этого дома и его окружения скрестили шпаги сороковые и шестидесятые годы двадцатого века. И те и другие были представлены утрированно рекламными экспонатами. Чувствовалось, что сороковые годы не собираются сдавать свои позиции. Возможно, у них на это было больше прав. Гараж был отделан под грот, впрочем, двери в нем были автоматические.

— Это очень богатые люди,— сказал Кроуфорд, когда они вступили под своды гостиной, напоминавшей аэровокзал.

Их встретили возгласы:

— Смотри, кто приехал! Смотри, кто к нам пожаловал! Наконец-то Джон вырвался из своего гнездышка и прилетел в наше! Не правда ли, это мило с его стороны? Ах, какой он славный!

К ним устремилась седовласая чета.

— Мой друг из Европы,— отрекомендовал Кроуфорд своего спутника.

Второв благодарно взглянул на него: он не любил с ходу отвечать на дурацкие вопросы о Советском Союзе. Все же ему пришлось сразу же согласиться, что Америка великая страна и американцы великий народ. После этого они пили джин, а хозяева рассказывали, какие нововведения были проделаны в их доме с тех пор, как Кроуфорд здесь был последний раз. Очевидно, Джон здесь не был несколько десятилетий, потому что нововведений оказалась бездна. Второв налегал на сухой джин и считал его лучшим украшением дома. Хозяева были подчеркнута нежны друг с другом:

— Родной...

— Дорогая!

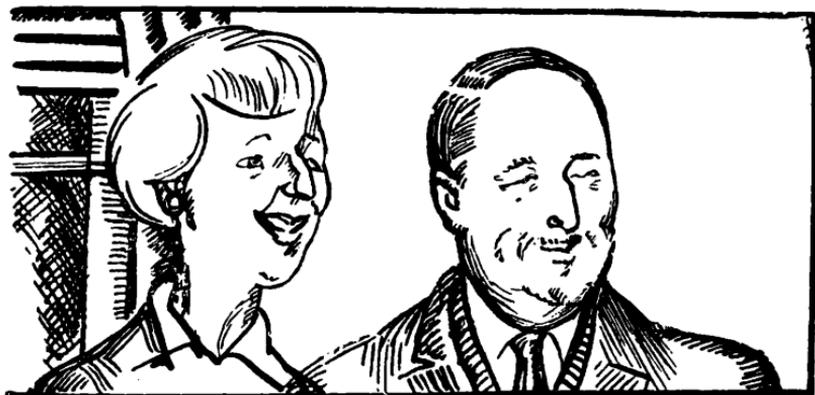
— Милый!!

— Милочка!!!

Сахар вежливости таял и невидимой стеклянной дробью капал на инкрустированный пол. Гостям показали картинную галерею, состоявшую из нескольких превосходных импрессионистов, зимний сад, эскалатор, ведущий на второй этаж, бассейн, на дне которого притаился крокодилчик со стерляжьей мордочкой. Вода едва

покрывала его. В комнатах хозяйки внимание Второва привлек портрет юноши в красном. Это был отличный рисунок гуашью, выполненный в старой, добросовестной манере объективного реализма. У юноши были грустные темные глаза и безвольный женственный подбородок. Второв хотел что-то сказать, но Кроуфорд сдвинул брови и задал какой-то незначительный вопрос.

— Сын. Уехал учиться в Париж да так там и остался,— шепнул Кроуфорд в те доли секунды, когда им довелось остаться вдвоем.



Затем они пили легкие пунши и курили сигары в кабинете хозяина и рассматривали альбом с фотографиями друзей его детства. Миссис отсутствовала, сославшись на приготовления к обеду.

Когда после обеденной церемонии они вновь ненадолго присели покурить, Второв почувствовал, что у него раскалывается голова. Это веселье напоминало упражнение из английского разговорника. Это мой муж. Это моя жена. Это мой дом. Это мой сын. Это моя дочь. Это мои дети. Мои дети посещают колледж. Мой муж любит спорт. Сколько стоит эта шляпа? Я люблю весну. Говорите ли вы по-японски? Любите ли вы сухой джин? Нет, я предпочитаю виски с содовой.

Взаимонежность хозяев все нарастала:

- Милый!
- Родной!
- Любимая!

— Дорогая!

Второв ощущал, как у него от витавшей в воздухе сладости слипаются губы и едва ворочается язык.

В машине он молчал, Кроуфорд тоже не проронил ни слова.

Поздно вечером они слушали сверхмодный джаз в «Дельфиниуме». Огромный зал был освещен, словно цирковая арена перед парадом. Дерзкие и развязные музыканты располагались в его центре. Второв заметил кукольно красивую девчонку, которую постоянно осаждала толпа танцоров. Она бросала тревожные взгляды на хоры, где на лестнице сидел, уронив голову на колени, молодой человек. Его вьющийся чуб свисал, как знамя побежденного. Юноша либо спал, либо был сильно пьян, либо то и другое вместе. Впрочем, особенно пьяных в этом зале Второв не заметил. Кроуфорд сказал, что здесь играют музыканты самого высокого класса.

Управлявший джазом знаменитый ударник выступал соло, работая одновременно всеми конечностями. При этом он держал во рту свистульку, которая издавала зудящий низкий звук. Когда он приступал к обработке многочисленных барабанов и тарелок, в зале гас свет, и луч прожектора освещал музыканта радужным сиянием. Танцующие топали, смеялись, изредка свистели. Им было весело. Они не утихомиривались и после включения света. Пахло потом и конюшней.

Второв с Кроуфордом побывали в ресторане. Джон пил довольно вяло, Второв совсем не пил.

Кукольная красавица сидела возле молодого человека на ступеньке лестницы. Он поднял голову и смотрел на девушку мертвыми глазами...

Ресторан наполнялся все больше, по мере того как стрелка часов забирала вправо от полуночи. Мелькали раскрасневшиеся лица совсем юных девиц, одежда и украшения которых сдержанно намекали на крупное состояние родителей. Стояла трескучая, бестолковая, бессмысленная болтовня, олицетворяющая праздничную атмосферу. Какие-то жизнерадостные, но довольно расстрепанные молодые люди металась между столиками, хлопая всех по плечу, смеясь и загораясь с одного слова.

Кроуфорд молчал и курил. Он был в дымовой завесе, как в тумане. Он восседал на облаке из дыма точно

так же, как бог Саваоф восседает на кучевом дождевом облаке.

— А что вы, собственно, мистер Кроуфорд, из себя изображаете? — по-русски спросил Второв.

Кроуфорд не ответил. В ресторан ворвался рыжий парень и стал заигрывать с кассиршей. Вокруг него вспыхнула возня. Он дразнил официантов, показывал язык и, хохоча, бегал меж столов. Красотка куколка ушла из ресторана в окружении невесть откуда набежавших кавалеров. Юноша на лестнице смотрел ей вслед, по его измятому лицу текли мутные слезы. До Второва доносился голос Кроуфорда:

— Где же выход, о господи! В чем наш выход, о боже!

— Замолчите! — крикнул Второв. — Вы, мистер Кроуфорд, рассуждаете не как ученый, а как обыватель с большой печенкой!

Второв умолк. Кроуфорд раскачивался на стуле, точно маятник с неправильной периодичностью.

— Где же выход, о боже! Где же выход, о господи!

— Ну чего вы расклеились? Это действительно все... не очень. Но и причины для отчаяния я не вижу.

— У вас не пьют сухой джин и виски?

— Нет, не пьют. У нас пьют водку.

— У вас мужчина не обманывает женщину и наоборот?

Второв молчал, подперев голову кулаком.

— Мне всегда грустно, когда плохо веселятся другие. Скажите, коллега, у вас не лгут, не подличают, не презирают, не сплетничают, не завидуют, не травят, не крадут, не развратничают, не подслушивают, не фантазируют, не сходят с ума, у вас не... не... нет?..

Второв хлопнул по столу ладонью и тихо сказал:

— Перестаньте молоть чушь! Нам завтра работать...

Он тяжело поднялся и вышел на улицу подышать. Кроуфорд остался за столиком.

Зал ресторана чудовищно преобразился. У присутствующих выросли огромные носы, все ходили, цепляясь носами друг за друга. При столкновении носы высекали голубые и оранжевые искры.

— Однако здорово вас разобрало, — неодобрительно сказал возвратившийся Второв.

— Любое начало можно рассматривать как начало некоторого конца,— глубокомысленно изрек, низвергаясь с дымных высот, Кроуфорд.

Второву вдруг стало смешно.

— А как же ваша семья, мистер Кроуфорд? Потребуется определенное алиби, а? Жены на такие шалости смотрят косо, насколько мне известно.

— О-о-о! — неопределенно отозвался Кроуфорд.

Уже совсем рассвело, и разноцветные сверкающие машины мчались по чистым улицам, и люди шли, будто ничего не произошло, не происходило и не будет происходить, и все торопились так же, как и вчера, так же, как будут торопиться завтра и послезавтра, и тогда Второв впервые подумал...

Прямо перед ними стояла санитарная автомашина, в которую задвигали носилки с телом, покрытым простыней. Голова с открытым ртом вынырнула из-под простыни, словно хотела сообщить миру еще кое-что, очень ценное, единственное, нужное, известное только ей. Это была голова того бывшего красавчика, от которого ушла куколка в сопровождении поклонников...

— Несчастный случай?

— Просто напился. Алкогольная интоксикация,— сухо ответил врач.

И тогда Второв подумал, что он за эти сутки вплотную познакомился с бытием людей, которые умеют и совершенно не умеют веселиться. Был день Благодарения, и каждый встречал праздник, как умел.

БЕЛЫЙ ПАРОХОД «АРЛТОН»

На горизонте в двух-трех милях от берега возвышался корабль. Ярко светило солнце, но море волновалось. Свежий ветер срывал с пенистых волн мельчайшую водяную пыль. За кормой катера в мыльном шлейфе Второв различал нечеткие очертания радуги. Их порядком укачало, пока они добрались до судна. Катерок был маленький, слабосильный, то и дело клевал носом, и пассажиры повторяли его движения. Кроуфорд внешне держался молодцом, и Второв тоже старался не подать виду, насколько плохо себя чувствует.

Борт корабля показался ему стеной небоскреба. Черные буквы на носу судна сообщали, что Второв прибыл на «Арлтон». Качка на «Арлтоне» не чувствовалась. Корабль сидел в воде неподвижный, ослепительно белый, словно айсберг, только что отколовшийся от антарктических льдов.

На палубе их встретил помощник капитана, очень сдержанный и высокий человек, с густыми бровями. Поздоровавшись и сказав несколько ничего не значащих фраз, он отошел. Подходили еще какие-то люди, кто в морской форме, кто в белом халате, поздравляли с прибытием на «Арлтон», говорили банальности и отходили. Второв заметил, что никто не вступал в длинный разговор с Кроуфордом. Джон тоже, видимо, не испытывал особой радости от общения с населением «Арлтона». Он стоял, уцепившись за рукав Второва, словно тот мог исчезнуть в этот торжественный момент.

Второв провожал глазами катер, медленно погружавшийся в полосу прибрежного тумана.

Он чувствовал себя не очень уверенно. Хотя он и предупредил главу делегации, сказав, что его пригласили посетить лабораторию Кроуфорда, но все же забеспокоился, когда понял, что ехать надо очень далеко. Сомнения начались с того момента, когда Кроуфорд предложил ему пересесть с авто в самолет. «Час полета,— сказал он,— лучше четырех часов на машине». Соображение было вполне резонное, и, только поднявшись в воздух, Второв подумал, что не стоило соглашаться. Но, с другой стороны, поскольку он дал общее согласие посмотреть лабораторию, препирательства сейчас были бы неуместны. Второв раскаивался, но молчал. Упрямо молчал до той минуты, пока не увидел отделявшее его от берега водное пространство. Оно показалось ему огромным. За бортом «Арлтона» неторопливо пробегали белогривые бурунчики.

Второв впервые ясно почувствовал, что находится один среди совершенно чужих людей. Краем глазаглянул он на Кроуфорда.

Сейчас Кроуфорд не производил впечатления того ленивого молчалника, с которым общаться было хоть и невесело, но довольно просто. Куда девалась сонная неподвижность, томительные паузы, обрывочные, малозна-

чащие фразы! Говорил он теперь больше, мыслил четче, действовал энергичней. Появилось в нем нечто упругое, пружинистое, волевое.

Второв уже смотрел на него в упор.

Что он знает об этом человеке? Кто он?

Джон, дружище Джо... Боже, какая глупость! Разве можно узнать человека, перекинувшись с ним десятком фраз? Зачем он, Второв, здесь, на чужом, незнакомом судне? Какой идиот устраивает плавучую лабораторию, если есть возможность спокойно работать на суше? Нет, здесь что-то не так, ой, что-то не так...

Кроуфорд рассмеялся:

— О, Алек, я вас, кажется, понял. Коварный капиталист провоцирует молодого советского ученого. Он завлек его в логово разведки.

Второв устыдился своих подозрений:

— Нет, Джон, разумеется, нет. Но... мы забрались так далеко. Я думал, что ваша лаборатория совсем под боком. Меня будут ждать наши, волноваться. Не отложить ли нам знакомство с «Арлтоном» до другого раза?

— Об этом не волнуйтесь. Ваш визит на «Арлтон» согласован с моим и вашим начальством. А чтоб вы зря не беспокоились, я дам телеграмму руководителю вашей делегации. Составьте текст. Я передам радисту.

При слове «радист» Второв зябко поежился. Его впечатление от этого слова лежало в области детских представлений о далеких и неудачных экспедициях на полюс, в джунгли, в неведомые моря. Радист, как ни парадоксально, знаменовал для него полную отрешенность от привычного мира. Тем не менее Второв кивнул головой. Да, он составит текст телеграммы и передаст его Кроуфорду.

Американец протащил его по кораблю с космической скоростью. Он, как всегда, избегал долгих бесед, лишних знакомств и ненужных откровений. Второву даже показалось, что Кроуфорд осторожно изолирует его от экипажа «Арлтона». Впрочем, на корабле были не только моряки. Ему попадалось много людей в белых халатах, в специальных комбинезонах и просто в штатском. Приветствия их были лаконичны. От кивка головы до взмаха руки. Минимальный диапазон для выражения радости встречи.

— Вот ваша каюта. Здесь можно переодеться. А тут ваша койка, на ней можно отлично выспаться.

Второв огляделся и натянуто улыбнулся.

— Вы хотите сказать, что я здесь буду спать? Но об этом и речи до сих пор не было, иначе б я...

— О, я оговорился! Эта койка предназначена для полеобеденного отдыха. Обедать-то вы у нас будете, я полагаю?

Второв твердо сжал губы.

— Вот что, Джон, давайте договоримся с самого начала. Я приехал посмотреть вашу лабораторию. Вы обещали мне показать кое-какие интересные результаты. Мне очень странно, что ваше рабочее место оказалось на корабле. Вы меня не предупредили, иначе бы я хорошо подумал, прежде чем тащиться в такую даль. Но не рассчитывайте, что я смогу здесь задержаться дольше этого дня. Я должен вернуться сегодня же.

Кроуфорд смотрел на Второва непроницаемым взором. Он казался совершенно чужим и незнакомым человеком. Еще подозрительней выглядела его улыбка. Она превращала лицо в неподвижную маску.

— О, вы совершенно невозможный человек, Алек! Я так хотел принять вас как следует! Не беспокойтесь, ради бога, все будет наилучшим образом. Вы только посмотрите и... сразу уедете... А сейчас я покажу вам «Арлтон» и, в частности, мою лабораторию. Она чуть-чуть не похожа на вашу, хотя у них и есть кое-что общее.

«Показ» корабля в представлении Кроуфорда выглядел довольно своеобразно. Они не спускались на многочисленные палубы «Арлтона», не посещали его, должно быть роскошных, салонов, не дышали ароматом кухни и машинного отделения. Вместо экскурсии по кораблю они совершили поход в буфет, где закупили некоторое количество джина и фруктовых соков. С этим драгоценным грузом они и разместились в светлой, просторной каюте Кроуфорда, действительно напоминающей лабораторию. Хозяин каюты после двух рюмок как-то осел и потяжелел. Второв, который ничего не пил, с интересом рассматривал собеседника. Удивительно, как быстро менялся этот человек. Это и раньше внушало опасения, но сейчас Второв почему-то успокоился. Пока не

происходило ничего такого, из-за чего стоило бы волноваться. И он не волновался. Он смотрел и слушал. Тем более, что телеграмма уже была отправлена.

— Вы мне почему-то не доверяете,— сказал Кроуфорд,— а напрасно. Мне кажется, у нас одно время был общий язык.

«Если один молчит, а другой все время говорит, где же тут быть общему языку? Впрочем, им может стать язык говорливого собеседника»,— подумал Второв.

— Когда мы с вами были в «Дельфиниуме», мне думалось, что вы понимаете меня,— неопределенно продолжал Кроуфорд.— И там, у вас в России, тоже мне иногда так казалось...

— Что вы хотите сказать, Джон? О каком понимании идет речь?

— Я хочу сказать, что в одной области науки ученые всегда найдут общий язык.

— Ну, как сказать! Смотря какие ученые...

«Что за бездарный разговор! — подумал Второв.— Чего он хочет?»

— Оставим это,— быстро сказал Джон.— Я обещал рассказать вам об «Арлтоне». Это судно, как вы могли заметить, не из юных.

— Почему? У него прекрасный вид.

— Да, его хорошо подновили во время последнего ремонта. Но не в этом дело. Это судно экспериментальное. Такого нет во всем мире. На нем фактически нет команды в обычном понимании этого слова.

— Как так? Я видел здесь много людей.

— Это не то. Кораблем управляет вычислительная машина. И не только управляет, но и собирает всю информацию, касающуюся режима плавания, метеорологических условий, течений, ветра и тому подобного. «Арлтон» представляет собой плавучий институт, в котором штат научных работников заменен электронным мозгом. Здесь повелевает и командует электроника. Люди на «Арлтоне» обслуживают многочисленные вспомогательные механизмы, автоматы и полуавтоматы. Компания же поспешила и поставила на «Арлтоне» огромный вычислительный центр, который ведет наблюдение, накапливает данные, обрабатывает их, прокладывает курс, определяет скорость корабля, расход топлива и так далее.

Компания надеется извлечь из этого двойную выгоду. Во-первых, через несколько лет плавания машинный мозг с его колоссальной памятью станет незаменимым консультантом по вопросам навигации на некоторых грузовых линиях. А затем это одновременно и первый шаг в создании самоуправляемых танкеров, угольщиков, грузовиков. Корабли-призраки без человека на борту будут бороздить океаны. Это идеал владельцев компании. Никаких осложнений с человеческой психологией, с профсоюзами и прочим. Машинный мозг, способный к самопрограммированию, заменит любого опытного капитана. И никогда не объявит забастовку. Вот таков наш «Арлтон», в общих чертах, разумеется.

Кроуфорд замолчал и с улыбкой посмотрел на недоумевающего Второва. Его явно забавляла ситуация.

— Допустим, что все это так,— медленно произнес Второв,— но при чем здесь вы, Джон? Вы же биолог. Какое отношение вы имеете к «Арлтону», к проблемам автоматизации мореплавания?

— Вы правы. Автоматизация мореплавания мне ни к чему. Но компанию интересует состояние животных и птиц, которых перевозят на большие расстояния. Информации о физиологических изменениях живых организмов при резкой перемене климата и метеорологических условий тоже поступает в «Нельсон» и там запоминается и перерабатывается.

— «Нельсон» — это электронный мозг?

— Да. Но этим план исследований не ограничивается. Все люди на «Арлтоне» находятся под наблюдением «Нельсона». Ежедневно по нескольку раз мы измеряем: пульс, давление, отвечаем на психологические тесты машины.

— А это-то зачем?

— Это касается наиболее отдаленной цели компании. Речь идет о создании автоматизированных пассажирских лайнеров.

Они помолчали.

— И все же я не понимаю вашей роли на этом корабле, Джон,— сказал Второв искренне и взволнованно.

Кроуфорд добавил джина в стакан с грейпфрутовым соком.

— Тем более, что я знаю ваши работы по молекуляр-

ной биохимии. Они сделают честь любому высококвалифицированному специалисту. Эта область науки может гордиться вами,— добавил Второв, подумав. Фраза прозвучала высокопарно, и реакция Кроуфорда была неожиданной.

— Плевал я на науку, Алек, в том числе и на молекулярную биохимию! — вдруг заявил он.— Я разочаровался в науке. Особенно в той науке, которая существует сегодня. Современная наука создает ровно такое же количество проблем, сколько ей удастся решить. И вообще она ничего не решает. И никуда она не ведет, а только уводит. Но я, конечно, не могу отказаться от науки. Слишком много и долго я с ней возился.

Второв смутился. Начинались обязывающие ко многому откровенности, которых лучше было бы избежать.

— Конечно, у каждого ученого бывают такие периоды,— промямлил он.— Неудовлетворение, неудачи... Вас можно понять, Джон, но все же... это не объясняет, почему вы занялись работой столь низкой квалификации. Были неприятности в университете или что-нибудь случилось?

— Никаких неприятностей,— отрезал Джон.— Все шло наилучшим образом. Передо мной открывались блестящие перспективы, и все же я пошел на «Арлтон», чтобы вместе с «Нельсоном» наблюдать различных зверюшек, брать анализы, определять тонус и настроение подопытных объектов — одним словом, проделывать всю эту муру, для которой не нужно быть специалистом моего класса.

— Почему?

— «Почему, почему!» Боюсь, что мой ответ займет много времени и вам будет не очень интересно.

«Чего он ломается?» — подумал Второв.

— Но я все же расскажу вам. Наберитесь терпения. Приготовьте сочувствие. Мне хочется, чтобы вы поняли меня до конца.

Кроуфорд задымил сигаретой точно так же, как в тот раз, когда они были в «Дельфиниуме».

— Известно, что причиной движения является сила,— начал он,— но в моем случае движение определялось поиском силы. Я пришел на «Арлтон», чтобы отыскать новую силу. Она нужна мне, чтобы жить. Но она

пужна не только мне. Она нужна человечеству. Не смотрите так, Алек, перед вами не сумасшедший, а если и сумасшедший, то добрый сумасшедший. Я хочу добра людям и еще больше хочу добра себе. Я не расист, не фанатик, не коммунист, не капиталист. У меня есть цель. Вернее, даже не цель, а направление, на котором, возможно, лежит эта цель. Я знаю, куда я хочу двигаться, я знаю, что мне нужно искать. Анализируя свой приход на «Арлтон», я нахожу две основные причины. Первая из них носит социальный характер. Недавно я вас познакомил с обществом, в котором живу. Это очень поверхностное знакомство. Его случайный, отрывочный стиль не позволил вам заглянуть в наши бездны. Но кое-что вы почувствовали. Знайте, что ваши впечатления далеки от действительного положения вещей. Оно гораздо лучше и одновременно неизмеримо хуже. Возможно, мы процветаем или, напротив, катимся в пропасть. Я вижу, у вас на языке уже вертится рецепт спасения моей страны. Да и не только моей. Я знаю, что вы хотите сказать. Сейчас вы предложите последовать примеру вашего народа. Но вы должны понять, что каждое общество, каждая нация выбирает свой путь развития. Мы сделали выбор или его сделали за нас, неважно. Важно только, что мы зашли слишком далеко, чтобы возвращаться. Мы не можем вернуться и начать все сначала. Исторические процессы так же необратимы, как старение организма. Мы должны найти свой путь, свой выход. Выход! Магический кристалл, сквозь который можно увидеть суть вещей и процессов! Вот слово, которое убило во мне преклонение перед наукой. Наука стала для меня орудием, а не самоцелью, как это было раньше. Я готов использовать науку для поисков выхода, но не вижу выхода в науке... Вы улыбаетесь, Алек, вам кажутся дилетантскими мои рассуждения, но вы, конечно, понимаете, что человеком двигают не высоконаучные теории, а примитивные импульсы, коротенькие мыслишки, неглубокие сентенции. Поверьте, Алек, я много размышлял и пришел к выводу, что мне не по нутру этот безумный мир. Его нужно менять. Но как? Первый путь общеизвестен: это создание нового типа общества. Такая задача мне просто не под силу, не говоря уж о том, что в этом направлении работало и работает мно-

жество великолепных умов. Целые государства пытаются решить проблему гармоничного общества. Похоже, что вы продвинулись дальше всех, но... У меня, естественно, своя точка зрения на эти проблемы. Не буду углубляться в детали, чтобы вас не утомлять, а прибегну к аналогии. В биохимии известно, что особенности вторичных структур являются функциями свойств первичных. Такая же зависимость существует между третичными и вторичными структурами. Короче, свойства системы определяются структурой и функциями составляющих ее частей. Нельзя из атомов железа создать кристалл алмаза. Из молекул этилена не построишь аналога нуклеиновой кислоты. Точно так же, как из плохих людей нельзя сконструировать хорошее общество.

— Ну, Джон! — возмущенно воскликнул Второв. — Да вы просто не читали элементарных книг по социологии! Характер человека, его психология определяются формой общественных отношений.

— Знаю! Знаю! — отмахнулся Кроуфорд. — Читал. Но вас всегда губило пренебрежение к биологии человека. А именно ее нужно менять, перестраивать таким образом, чтобы она отвечала гармоничному обществу. Нужен новый тип человека. Гомо сапиенс, модель вторая, улучшенная.

— Вы не очень оригинальны, Джон, — сказал Второв и подумал, что давно уже не слышал такого количества глупостей за столь короткий промежуток времени. Он даже слегка рассердился на себя: не стоило позволять Кроуфорду откровенничать.

— Но не будем отвлекаться, дорогой Алек! Я сомневаюсь, что вы сможете меня убедить. Даже если я и не очень силен в социальных проблемах. Да они, впрочем, меня мало интересуют. Моя цель — человек. Строить общество будущего, я полагаю, нужно начиная с человека, с его молекулярной структуры, с его физиологических функций.

— Ерунда, Джон, — прервал его Второв. — Предотвратить войны, ликвидировать насилие, обман, эксплуатацию можно, только, зная общественные законы, а не биохимию человеческого организма. Здесь нет прямой корреляции свойств. Как вы этого не понимаете?

— Вы чудовищно неправы, Алек! — заорал Кроу-

форд.— Не мне объяснять вам, как общественные отношения зависят от молекулярных механизмов человека, особенно того человека, который руководит страной, армией, промышленностью. В основе моей работы лежит не новое, но безусловно верное изречение. Каждой испорченной мысли соответствует испорченная молекула. Надеюсь, это вы понимаете? Это истина, если мы хотим остаться материалистами. Каждому плохому чувству, воспитанному или полученному по наследству, соответствует определенный молекулярный или квантовый механизм. Его можно воссоздать или разрушить, если только мы будем знать, где в человеке он возникает и как на него воздействовать. Кто-то мечтал об обществе, где люди как боги. Ну что ж, и богов можно создать, нужно только правильно регулировать формирование их молекулярных механизмов.

— Богов нужно воспитывать,— сказал Второв.— А воспроизводить их с молекулярной точностью вы просто не сможете. Науке это пока не дано.

Он зевнул. Ему стало скучно. Джон оказался просто глупцом.

— Зато это дано машине эволюции,— гордо заявил Кроуфорд.

— Кому, кому?

Прозвенел телефон. Джон снял трубку. В ней что-то прокричали. Американец схватился за трубку двумя руками. Мембрана прыгала и вибрировала, Кроуфорд молчал и бледнел. Он мгновенно протрезвел.

— Я должен покинуть вас,— сказал он, положив трубку.— Случилась авария, мне нужно проверить... одним словом, я должен быть там.

— Я пойду с вами,— не очень благоразумно предложил Второв.

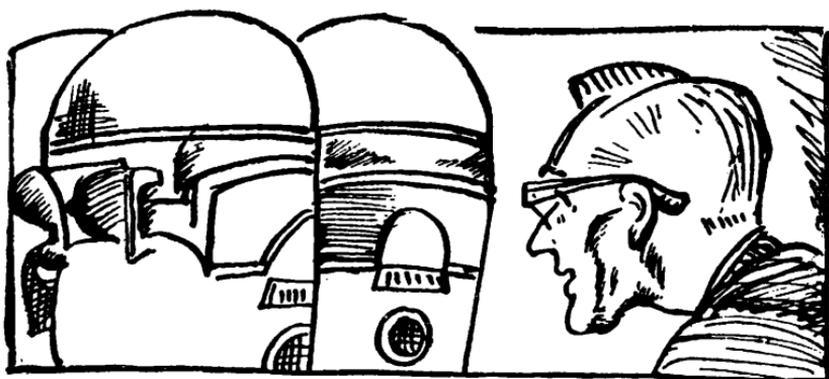
Американец подумал.

— Пожалуй... Идемте!

Помещение, отведенное для исследований Кроуфорда, находилось в самом низу «Арлтона». Освещение и чистота здесь были такие же, как везде, и Второв никогда б не догадался, что он находится в трюме, если б Джон не крикнул:

— Седьмой трюмовой отсек!

Перед решетчатой стальной дверью стояли три рас-



терянных человека. Их лица и халаты имели одинаковый оттенок — светло-зеленый.

— Разбежались, мистер Кроуфорд! — сказал один из них.

Джон кивнул головой. Он был серьезен.

— Принесли?

— Все готово, сэр!

Помощники Кроуфорда подтащили к нему шланги, маски, пакеты.

— Переодевайтесь. Моя маска здесь?

— Да.

Через несколько минут они были готовы и стояли перед решеткой в своих странных, похожих на водолазные, костюмах. Кроуфорд отомкнул замок, раздвинул стальные прутья и сказал Второву:

— Подождите нас здесь. Вам не к чему соваться в эти дела.

Они вошли в узкий, плохо освещенный коридор. Сделав несколько шагов, американец остановился, подумал и повернул обратно.

— В случае чего разбейте это стекло и нажмите кнопку.

Второв посмотрел на то место, куда показывал Джон.

«Сигнал общей опасности, вот оно что».

— Хорошо.

Он остался стоять перед стальной решеткой. Было очень тихо. Даже удивительно, из-за чего такой переполох. Что, собственно, произошло? Сейчас грозные при-

готовления Кроуфорда и его помощников казались Второву нелепыми и смешными.

Он терпеливо стоял и ждал. Сюда, в седьмой отсек, не доносились звуки с верхних палуб, только в паропроводе что-то шипело и булькало.

Второв прочел вывеску над стальной решеткой: «Сектор биологический. Вход посторонним воспрещен». Значит, Джон не обманул его. Биологическая лаборатория действительно существует.

До слуха Второва донесся далекий мелодичный свист. Так посвистывает чайник, готовый закипеть. Но в этом звуке не было ничего приятного. Это был настораживающий свист. Некоторое время он сохранял одинаковыми и силу и тон. Второв даже стал привыкать к нему.

«Пусть себе свистит. Где-то на линии сжатого воздуха образовалась течь. Это бывает,— успокаивал он себя.— Особенно в таком сложном хозяйстве, как «Арлтон». Здесь возможны разнообразные неполадки. Этот корабль слишком перенасыщен техникой. Вероятно, Джон чинит какую-нибудь пробойну в трубопроводе».

Прошло две-три минуты, и Второв услышал, что звук усиливается. Он становился все выше и выше, приобретая пронзительный, визгливый оттенок. Он приближался, ширился, рос. Под потолком мелко-мелко задрезжал плафон. Второв ощутил дрожь пола. Она поползла по ногам и скачком проникла в сердце. Второв испугался. Этот свист напоминал визг падающей с большой высоты бомбы. От топота бегущих ног подрагивал металлический пол. Было от чего испугаться.

«Пожалуй, самое время разбить стекло и нажать кнопку. Или подождать? Уже не только пол, но и стены вибрируют. Как здесь все резонирует! Сейчас плафон сорвется и шлепнется мне на голову. Нужно отойти в сторону. Что же делать? Вот вопль! Поднимешь тревогу — еще станут смеяться. Но что ж делать? Вдруг «Арлтон» разваливается? Что делать?»

В проходе, за решетчатой дверью, возник человек. Откуда он появился, Второв так и не понял. Человек приблизился к решетке. Может, это один из сотрудников Кроуфорда? Но куда девались маска, резиновый передник, пистолет? Нет, он не похож ни на одного из тех парней, которые вошли в этот коридор.

Человек поманил Второва пальцем.

— Идите сюда,— сказал он.

Только теперь Второв понял, что свист прекратился. Наступила оглушающая тишина, под потолком по-прежнему вздрагивал плафон.

— Что вы хотите? — спросил Второв.

— Раздвиньте решетку и входите.

— Мистер Кроуфорд просил подождать его здесь,— заколебался Второв.

— Ничего, ничего, не бойтесь, входите.

Второву не очень хотелось попадать в биологический сектор, но сегодня он делал каждый шаг против своей воли. Сделал он и этот шаг, преодолевая внутреннее сопротивление.

— Что там случилось? — спросил он.

Человек замаялся. Он старался не смотреть в глаза Второву. У него была очень бледная кожа. «Прямо маска какая-то, а не лицо»,— подумал Второв.

— Да так, пустяки,— сказал он.— Джон всегда преувеличивает. Все обошлось.

— А что здесь так свистело с минуту назад?

— Свистело?

— Да, да.

Человек улыбнулся. Десны его были так же бледны, как и лицо. Они удивительно плохо оттеняли золотые зубы. Полон рот золотых зубов. Немодно.

— А я ничего не слышал. Это я... Не обращайтесь внимания. Пойдемте.

Второв пожал плечами и двинулся за ним.

Они шли довольно долго по узкому коридору, сворачивали много раз направо и налево. Второву было ясно, что он давно бы заблудился в этом лабиринте дверей, стеклянных и металлических ящиков. Сверху свисали пучки разноцветных проводов, мигали красные лампочки, за многочисленными дверьми раздавались трудно различимые звуки. Второв и его спутник спустились по узкому трапу еще ниже и вновь стали плутать среди переборок и перегородок. Здесь сильно пахло характерными запахами зверинца.

Наконец Второв резко остановился. Он увидел стеклянный ящик с кроликами, возле которого они прошли несколько минут назад.

— Слушайте, какого черта вы меня таскаете по этим закоулкам? Ведь мы здесь уже были!

— Разве? — Человек растерянно мигнул. — Вы уверены?

— Еще бы, я запомнил это место. Тут я ушиб коленку об этот бокс.

— Да, пожалуй, — нехотя согласился проводник. — Мы здесь побывали. Ну, тогда пойдете.

— Нет, погодите. — Второв приблизился к нему. — Где Кроуфорд? И кто вы такой? Как ваше имя?

— Джон был где-то здесь, — растерянно сказал человек, — и я не понимаю, куда они все исчезли.

Глаза его бегали, и Второв никак не мог заставить своего спутника глядеть в лицо. Вид у него был жалкий, испуганный. «Что он так волнуется? Трусит, что ли?» — подумал Второв.

— Что же делать?

— Знаете что? Зайдемте ко мне, посидим. А там и они объявятся.

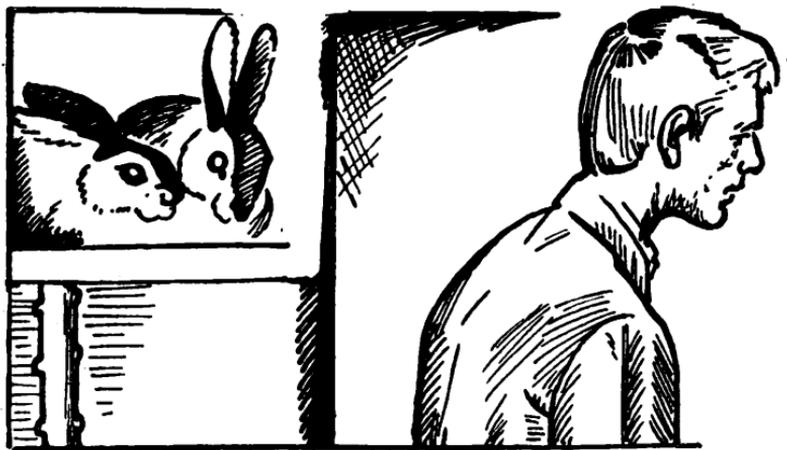
— К вам? Куда — к вам? Вы здесь живете?

Человек улыбнулся:

— Да. Вы не удивляйтесь. Я здесь давно. Я здесь очень давно. С самого начала.

— Я не понимаю.

— Да что ж тут понимать? Ведь все ясно. А впрочем, я вам расскажу подробнее. Идите за мной.



Они снова начали юлить по теснейшим переходам.

Помещение, куда Второва затащил странный человек, оказалось великолепной каютой класса люкс.

— Черт возьми, а вам здесь неплохо!

— Неплохо, дорогой Алек, совсем неплохо.

Второв подумал, что он ослышался.

— Вы меня знаете?

— Знаю. Я многое знаю.

— Но я вас не знаю. И Джон мне ничего о вас не говорил.

— Он не очень любит рассказывать о своих делах. Что не мешает мне, конечно, расспрашивать его обо всем на свете. Не всегда успешно, правда. Садитесь, пожалуйста.

Второв сел в кресло за журнальный столик и закурил сигарету. Ему было очень не по себе. Какая-то гриновская чертовщина. Завели, бросили человека...

Все время его тревожила одна и та же мысль: нужно скорее возвращаться. Покинуть этот дурацкий корабль и возвращаться. Острая тоска по родной стране вдруг так резанула по сердцу, что стало трудно дышать.

— Простите, как ваше имя? — резко спросил Второв и уже мягче объяснил: — У нас одностороннее знакомство.

— Зовите меня доктор, — уклончиво сказал человек. — Это распространенное и простое обращение.



— Вы, с вашим образованием, согласились жить в трюме и наблюдать крыс и мышей? — удивился Второв.

Доктор рассмеялся. Хищно сверкнули золотые коронки.

— Вы же видите, здесь совсем неплохо. Очень даже. А кроме того, мы с Джоном вместе начинали работать на этом корабле. По совести говоря, моего участия здесь больше... Тогда у нас действительно ничего не было. Даже крыс и мышей. А теперь положение очень изменилось.

«Значит, Кроуфорд что-то скрывал от меня. Или собирался рассказать, просто не успел. Дополнительная информация не помешает».

— Выходит, лаборатория разрослась?

— Ого, еще как! — Доктор оживленно жестикулировал. — У нас теперь не только седьмой отсек, но почти весь кормовой трюм. Это не лаборатория, это целый институт. Кроме того, мы имеем свободный выход в море. На каждой стоянке можно организовать выносную подводку.

— Что организовать?

— Ах, простите, вы незнакомы со спецификой. Я оговорился. Но как же Джон вам всего не растолковал, ведь он так любит прихвастнуть, приукрасить. Большой мастер этого дела... Хотите кофе?

Второв почувствовал, что ему сейчас совершенно необходимо выпить кофе.

— С большим удовольствием.

Доктор полез в какой-то шкаф, извлек электрический кофейник и подключил его.

— Через пять минут будет готов. Превосходный арабик.

Второв пристально рассматривал собеседника. Тот выглядел удивительно бесцветно. Серые, не то седые, не то грязные, волосы слиплись на высоком лбу. Серые выцветшие глаза. Не чисто белое, как старый мрамор, лицо. Вялая линия тонкогубого рта. Возраст — в пределах от сорока до шестидесяти.

Доктор извлек из кармана коротенькую трубочку и раскурил ее. По комнате пополз удушливый, ядовитый аромат. На что Второв был профессиональный курильщик, от докторского табака у него перехватило дыхание.

— Что вы курите?

— Разве очень крепко? Это первое впечатление. Пройдет.

И действительно, прошло. Буквально через несколько секунд Второв почувствовал себя лучше. А затем почти перестал замечать запах ароматичного дыма.

— Значит, Джон ничего вам толком не объяснил? — еще раз переспросил доктор.

— Нет. Разумеется, мы о многом говорили с ним, но так, в общих чертах. Большею частью на философские темы.

— Странно! — сказал доктор. — А мне он о вас говорил очень много. Он даже как-то сказал, что хотел бы видеть вас своим сотрудником. Вы бы ему очень подошли. Молодой талантливый ученый, работающий в интересной, почти идентично совпадающей с нашими исследованиями области. Я думал, что он откровенен с вами.



— Возможно, он собирался это сделать. У нас как раз сегодня шел с ним серьезный разговор о серьезных вещах. — Второва начинало разбирать любопытство. Предчувствия оправдывались. Неспроста Кроуфорд заставил его на эту морскую посудину. За этим что-то скрывалось.

«Ну погоди же, любезный!» Второв почувствовал, как в нем подымается злость.

Доктор глубокомысленно попыхивал трубочкой. Сейчас он не казался Второву таким невзрачным. Он становился загадочным.

— Вы, конечно, понимаете, что мы с Джоном попали на «Арлтон» только благодаря определенным внутренним побуждениям. У нас была цель, и удобнее всего оказалось осуществить ее именно здесь. Нас привлек «Нель-

сон». Великолепная машина с огромными возможностями. Вся программа исследований, намеченная компанией, занимает у машины от силы десять процентов рабочего времени. Компания рассчитывает в будущем увеличить нагрузку. А пока мы решили использовать «Нельсона» для наших нужд. Кстати, нас особенно подстегнули ваши работы по анаэробному дыханию. Это же ключ к океану. Люди как рыбы. Ха-ха! Когда Джон возвратился из России, он сказал, что мы пока не отстаем, но каждую минуту можем начать отставать. Ваша идея вынести отдельные биологические механизмы на стенды и там их изучать нам понравилась. Кроме того, у нас уже был опыт в этом направлении. В значительной мере успех этой работы зависел от материалов, точности и организации работы. Так что мы понемножку вас обогнали. У нас на стендах работали почки, сердце, легкие, кровеносная система человека и животных. Труднее всего было с искусственной печенью, но и здесь мы кое-чего добились, и это был, пожалуй, самый крупный успех. В согласии с вашей идеей мы стремились на каждом органе, на каждом физиологическом механизме, на каждой системе ферментов провести сравнительные эволюционные исследования. Наступление шло вглубь и вширь одновременно. Да.

Доктор резко встал и принялся разливать кофе. Напиток был густой, как сироп. Второвпил его с наслаждением.

— И здесь Джон предложил использовать «Нельсона» в роли мозга эволюции,— сказал доктор.

— Как? Как?

— Идея была простой. Если рассматривать эволюцию живого как некоторый непрерывный процесс, то легко представить себе, что у этого процесса может существовать контролирующий и информационный центры.

— Мозг эволюции?

— Вот именно. Его память должна хранить опыт развития всех ветвей, его оперативные отделы подскажут наиболее оптимальные условия существования отдельных видов, и...

— И?

— Я, кажется, стал чересчур болтлив,— сказал доктор и насмешливо посмотрел на Второва.

За несколько минут доктор неуловимо преобразился. Вместо жалкого, растерянного человечка перед гостем сидел уверенный в своих делах и поступках мужчина. На его бело-розовом лице играл румянец, глаза блестели, солнечно сверкало золото зубов. Речь стала отрывистой, громкой. Он внимательно разглядывал Второва, словно видел его впервые.

— Вы знаете, конечно, что Джон мечтает создать новую, улучшенную породу человека?

— Да, я слышал от него, но, извините, ведь это бред чистой воды! — воскликнул Второв. Кофе подействовал на него возбуждающе и позволил перешагнуть через барьер вежливости. Этому способствовал и свойский тон доктора, который, видимо, в чем-то завидовал Кроуфорду.

— Не скажите. Вы просто не знаете наших работ. Кроуфорд поставил дело на широкую ногу, хотя сам он большими средствами не располагает. Но человек он довольно ловкий. «Нельсон» позволяет решить нам главный вопрос — вопрос цели. Зная все об эволюционном развитии, машина может прогнозировать успешное развитие той или иной эволюционной ветви.

— И что же предсказывает «Нельсон»? Что ждет человечество?

— Вначале у нас были курьезные случаи. «Нельсон» предсказал биологическое вырождение человечества на несколько миллионов лет раньше, чем насекомых и рыб. Впрочем, он ошибался, слишком недостаточна была его исходная информация. Самое интересное началось, когда мы обучили «Нельсона» принципам естественного отбора. Он предсказал появление современного человеческого общества почти в том виде, какой мы знаем сегодня. Но мы не остановились на этом. Джон заставил «Нельсона» работать дальше. Он хотел знать, каким должен быть человек будущего. Ему нужны были физиологические данные супермена.

— Вы их получили?

— Получаем. Постепенно. «Нельсон» не смог создать цельный биологический образ человека будущего. Социальный характер супермена нас не интересует, как вам известно. Возможно, мы здесь вторгаемся в область таких качественных превращений, которые машина про-

сто не способна учесть. Во всяком случае, от нее мы получаем информацию о том, какими будут отдельные органы, биологические системы и механизмы, но не о том, каким будет сам человек. Но и это немало. Мы уже знаем направление, а это главное. Цели еще нет, но есть путь к цели.

— Вы не боитесь, что в конце этого пути сидит безмозглое чудовище?

— О нет! — Доктор рассмеялся. — В конце цели нас ждет сверхинтеллект. Основное внимание «Нельсон» уделяет развитию мозга. Супермен будущего очень умный человек. Но его ум особый. Ничего не забывающий ум!

— Что вы хотите сказать?

— Да... Но вам не кажется, что я и так слишком много говорю?

— Нет, мне очень интересно.

— Ну что ж, тогда слушайте.

Доктор присел рядом со Второвым и, глядя ему прямо в глаза, зашептал:

— «Нельсон» подсказывает два пути, на которых можно обогнать человечество. Первый — это создание интеллекта с новыми способами получения и переработки информации. Джон вам, наверное, говорил, что он разочаровался в науке. Это неправда. Он разочарован в современной науке. Только в современной. А почему? Да потому, что совсем недавно машина, оценивая эволюцию современного научного мышления, пришла к выводу, что оно вышло на кривую насыщения и дальше будет прогрессировать очень медленно, пока не произойдет скачок. Ученых сегодняшнего дня заменят люди, способные воспринимать суть явлений опосредованно...

— Простите?..

— Вы не понимаете? Этот скачок, обозначенный «Нельсоном» во времени как некоторый момент «Х», должен соответствовать тому периоду, когда наука начнет страдать от несварения информации. Этот процесс протекает и сейчас, но будущее несет нам просто катастрофу в этой области. Вот тогда вперед выйдут люди, обладающие новыми свойствами. Те, кому для понимания вещей и событий не понадобится сложнейший и громоздкий аппарат науки наших дней. Люди, способные

воспринимать мир, минуя органы чувств и приборы. Мы их называем арс-суперменами. Арс — искусство. Ученый будущего будет познавать сущность вещей не через явления, а сразу, интуитивно, как художник.

Доктор замолк и с очень довольным видом откинулся на спинку кресла. Второв молчал, обдумывая услышанное. У него чуть кружилась голова. Очевидно, табак доктора содержал какие-то наркотические примеси.

— Мне непонятно,— медленно сказал Второв,— чем вы все же занимаетесь. То ли пытаетесь выяснить, что такое идеальный человек, то ли стремитесь обогнать современного человека и создать сверхчеловека. Здесь пахнет нищезанятием, а может, даже фашизмом...

— Чистого гуманизма, дорогой Алек, не существует. Обе задачи тесно связаны. Но мы не варвары. Наше дело принадлежит человечеству. Люди нашего общества сегодня не знают, куда им двигаться. Но стоит показать им идеал, и прогресс из болезни превратится в динамичное, целеустремленное движение. Все захотят стать суперменами, сильными и счастливыми. А счастье невозможно без силы, вам это, надеюсь, известно. Одна из важных проблем, которая автоматически решается в случае успеха нашей работы, заключается в том, чтобы не дать цивилизации погубить человечество как биологический вид. А она это делает. Сегодня цивилизация способствует не прогрессу, а вырождению человека. Она убивает его. Мы приходим на помощь людям, указывая путь, по которому нужно идти. Учтите, наш сверхчеловек не высосан из пальца на основе благостных побуждений, как это делается в некоторых религиозных и социологических учениях. Мы основываемся на строгой материалистической основе эволюционного развития. Наш идеал — это последовательное, математически точное продолжение человеческого рода. Оно основывается на богатейшем опыте прогресса живой материи.

— Господи, ну как вы не понимаете! — воскликнул Второв. — Человек — существо общественное. И главное в его развитии — общество, общественные и производственные взаимоотношения. А этого вы как раз и не учитываете!

— Общество существует несколько тысяч лет, а живая материя — десятки миллионов. Кроме того, общест-

во является структурой вторичной, его функции определяются людьми, входящими в состав общества. Мы занимаемся главным — человеком!

— Вы меня не убедите, — сказал Второв, — ваши посылки представляются мне ложными. Но не будем спорить. Это ни к чему не приведет. Мы все равно не пойдем друг друга. Кстати, вы говорили еще о каком-то направлении, якобы подсказанном «Нельсоном».

Доктор нахмурился. Ему, видимо, были неприятны возражения Второва.

— Не думаю, чтобы вас оно могло заинтересовать.

— Но все же?

Доктор помолчал, посасывая трубку.

«Ну и мерзкий табак!» — думал Второв, разглядывая клубы голубого дыма.

— Речь идет о полном отказе от обычных представлений о человеческой личности. Вам, конечно, это не очень понятно. Но вы, наверное, знакомы с учением теософов?

— Перевоплощение душ?

— В этом роде. Ведь человеческий индивидуум может быть записан в виде определенных молекулярных сочетаний в животном, растении, в камне. Это не так трудно сделать. И мы...

Второв резко встал.

— И вы еще говорите о материализме?! Это же мистическая чушь!

Доктор криво улыбался, наблюдая за ним.

— Нет! Нет! И еще раз нет! — взволнованно говорил Второв, расхаживая по каюте. — Все, что вы мне рассказали, наверно, ошибочно, попросту ужасно. Так нельзя работать! Это неправильный путь.

— А то, что вы делаете в вашей лаборатории, правильно? Этот мелкий прагматический подход к великой проблеме создания счастливого человека? Анаэробное дыхание и прочее?

— Счастливого человека может создать общество, а не уколы витаминов или третий глаз на затылке! — рассердился Второв. — Оно же рождает гениев, шарлатанов, дураков и прочих. И люди совсем не нуждаются, чтобы их переделывали. Избавьте человека от болезней, избавьте общество от болезней — и вам не понадобится

выводить сверхлюдей в инкубаторе Ницше и Гитлера. Человеку нужно помогать, а не перекраивать на новый лад! Притом непонятно еще на какой.

— Скажите, вы считаете себя хорошим человеком, мистер Второв? — внезапно спросил доктор.

— Ну, наверное, не очень, но все же... я доволен. Мои близкие...

— Вы в себе ничего не хотели бы изменить?

Второв поколебался.

— Нет, отчего же. Каждый чего-нибудь хочет. Мне хотелось бы стать ну, предположим, более талантливым, чем я есть.

— Но ведь талантливым должен быть хороший, порядочный человек, иначе его талант будет вреден для обожаемого вами общества, не так ли?

— Пожалуй. Но к чему вы клоните?

— Я предлагаю вам провести эксперимент. Это стандартный тест, который мы применяем, когда включаем объект исследования в поле деятельности «Нельсона». После обработки визуальной, словесной и звуковой информации машина выдает ответ. И, хотя тест стандартный, ответ может быть самым неожиданным. Однажды мы получили стихи, другой раз — музыку. Рекомендации «Нельсона» тоже совсем не отличаются научной стройностью. Вы помните, что эта машина содержит в своей памяти весь эволюционный опыт живой материи. На том уровне, конечно, который известен современной науке. Свои задачи машина решает любыми способами. Иногда мы получаем настоящие шарады. Например, в ответ на вопрос, каким образом блокировать реакционные группы в одном ферменте, «Нельсон» предложил нашему вниманию забавный детектив. Герои там обозначались цифрами, но это неважно. Фабула заключалась в том, что сыщик, разыскивающий убийцу, сам оказался искомым убийцей. Мы замкнули ферментативную цепочку на себя, и реакционная группа была заблокирована. Как видите, в ответе использовался метод весьма отдаленной аналогии. Я хочу, чтобы вы пообщались с «Нельсоном». Очень интересно узнать, каков будет его ответ. Это несложная процедура, все можно устроить моментально.

— Сейчас?

— Конечно. Пока Джон возится с аварией, мы могли бы позабавиться.

Второв с подозрением посмотрел на доктора. Нет ли здесь какого-нибудь подвоха? Но глаза его собеседника ничего не выражали, только в глубине их пряталась смешинка.

— Да вы не беспокойтесь! Совершенно безопасно. Вы будете отвечать на вопросы, и все. Вот только раздеться придется. До пояса, конечно.

Такой уж это был день. Все приходилось делать против воли. Второв выдержал стиль этого злополучного дня. Он согласился. Скинул пиджак и начал развязывать галстук.

— Снимите часы,— посоветовал доктор.— Сильное магнитное поле. Могут испортиться.

Через несколько минут Второв уже сидел в стеклянном боксе. Его грудь и руки были облеплены со всех сторон датчиками и пластырными наклепками. Выглядел он смешно и даже чуть неприлично. За стеклом улыбался золотозубый доктор. Он махнул рукой, и знакомый свист проник в бокс. Звук нарастал, но это не мешало Второву услышать первый вопрос, произнесенный мягким мужским голосом:

— Вы издалека. Я вас вижу первый раз. Откуда вы?

Как только Второв заговорил, в боксе воцарилась тишина. Одновременно Второв почувствовал усиливающуюся головную боль. Спазмы следовали один за другим, в ушах стучало.

— Какие вы любите сигареты? — допрашивал голос.

— С фильтром. Болгарские.

— Неужели вам не нравятся американские сигареты?

Второв слышал, что где-то стучат.

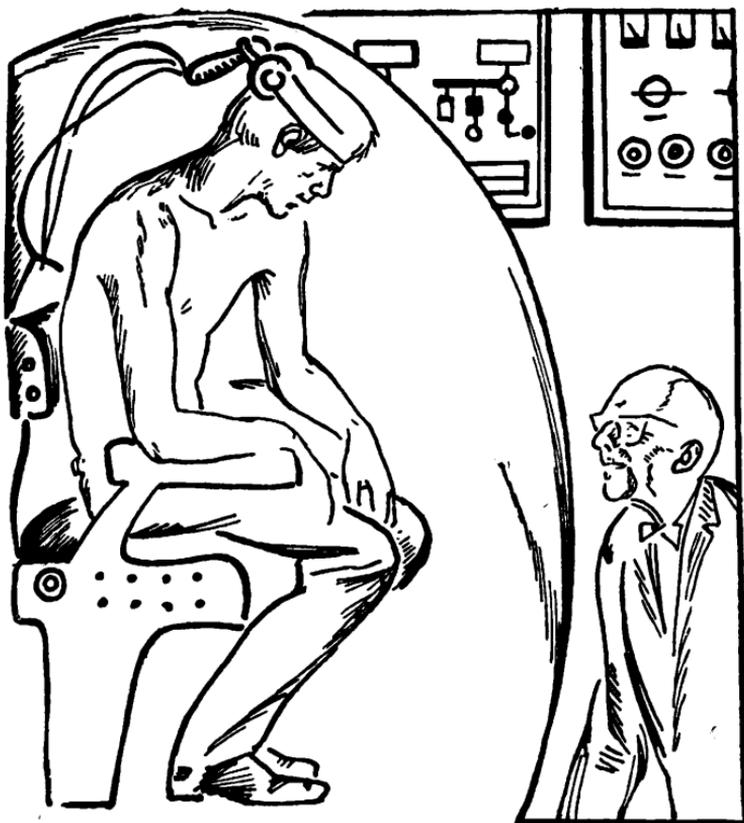
«Доктор? Или это стучит в моем мозгу?» — подумал он, закрывая глаза.

— Все же, почему вам не нравятся американские сигареты?..

— Жива ли ваша теща?..

— Как бы вы обставили свою комнату при переезде на новую квартиру?..

— Представьте себе, что вы в ресторане. Что вы закажете официанту?..



- Какие женщины вам больше всего нравятся?..
- Насколько отвечает этому идеалу ваша жена?..
- Рабочий день закончился. Как вы будете отдыхать?..
- Вас сильно обидели. Как...

«ЭТО Я,— СКАЗАЛ ВТОРОВ.— НО Я СОВСЕМ ДРУГОЙ»

У меня теперь есть отдельная квартира в новом районе Москвы. Не бог весть что, конечно: одна комната, и потолки рукой достанешь, а передняя такая — не то что развернуться, чихнуть негде, а впрочем, неважно. Главное — отдельная.

Мне нравится моя квартира. Ее некрашенный свежесвыструганный паркет возвращает мне детство. Мальчишкой я любил смотреть, как в городской лесопилльне из визжащей дисковой пилы ползут подрагивающие почти живые доски. Я гляжу на пол, в моих ноздрях гуляет запах древесной стружки и сосновой смолы, ноги мои топчут податливый шерстяной ковер из опилок, укрывающий задворье лесопилки, а мой висок щекочет гусиное перо, превратившее меня в последнего из могикан... Сливочная нежность паркета смущает меня. Я боюсь ступать по нему. Мне хочется резать его ножом и мазать на хлеб. Я делаю отчаянную попытку сохранить девственную чистоту пола и покрываю его твердым прозрачным лаком.

Неудача. На теплое тело дерева ложится холодный металлический блеск. Пол отодвигается от меня, становится чужим, равнодушным. Ранее различные, всегда улыбающиеся паркетины сливаются в безликую толпу деревяшек. Я торопливо накрываю паркет ковром. Я надеюсь, что он согреется и станет прежним.

У меня забавные обои. Они шалят. Их игра со мной начинается всякий раз, как я ложусь на тахту. На стене напротив я вижу штрихи и пятна, которые двигаются, плывут, падают. Солнечные лучи в светло-зеленой глубине моря ломаются и дробятся, встречаясь с водорослями и рыбами. Моего лица касаются хвостатые извержения придонного ила, похожие на протуберанцы. Мир раскачивается, веки слипаются. Я засыпаю, но перед забытьем успеваю еще увидеть появление русалок. После я никогда не могу вспомнить, какие они. Я знаю только, что русалки появляются за секунду до начала сна.

Я не хочу спать, я сержусь и переворачиваюсь на другой бок, лицом к ближней стене. Мгновенно в меня выстреливают из многоствольного ружья сотни золотистых пулек. Ударяясь о невидимую преграду, они, подобно ракетам фейерверка, разбрызгиваются снопом бронзовых искр. Оказывается, наждачный материал моих обоев покрыт незаметной издали мельчайшей золотой россыпью.

Я люблю свою новую квартиру и, кажется, пользуюсь взаимностью. Пластиковая ручка ванной напоминает персик — она мохнатая и упругая. Она так и просится

в руки. Я заглядываю в ванную комнату по несколько раз на день, даже когда мне совсем это не нужно. Как нравится мне молочно-голубой кафель стен!

Электровыключатели расположены под самым потолком. Они покрыты овальными пластмассовыми нащелками, похожими на человеческое ухо. Из мочки выключателя на ниточке свисает серьга, этакая молочно-зеленая капля, скорее кленовая почка, чем кусочек цветного полистирола. Дернешь ее раз — дзень, так мелодично, как в музыкальной шкатулке! — вспыхнет лампочка. Дернешь еще — опять звон! — лампочка гаснет. Когда выключатель заедает, приходится так играть минуты две, три. Я никогда не сержусь на неполадки в моей квартире. Они служат дополнительным источником неожиданных открытий.

И, конечно, кухня... Это моя лаборатория, мой алтарь, где я приношу жертвы богу чревоугодия. Кухня напоминает бассейн. В белоснежном кафеле стен тысячекратно отражен голубоватый шкаф, зеленый стол, сиреневые разводы занавесок. Синее пламя газовых горелок бесшумно лижет днища эмалированных кастрюль. Пахнет у меня на кухне так же, как в «Арагви» или «Астории», а может быть, и лучше. Нет этого угарного чада подгоревших шашлыков и пережаренного масла. Испарения, идущие от моих яств, тоньше, ароматнее. Они чем-то неуловимым напоминают приднепровскую степь, вечерний костер на берегу реки, когда запахи воды и трав соединяются в единый плотный, почти осязаемый поток воздуха, который пьешь без конца и не можешь остановиться.

Я люблю священнодействовать на кухне. У меня даже есть фартук. Я сделал его из белого халата. Это, конечно, мужской фартук, в нем нет женского кокетства, но и коварства в нем тоже нет.

Я люблю свою новую квартиру.

Оторванный кусок обоев напоминает мне лоскут человеческой кожи, снятый с живой ткани. Рана кричит, квартира больна, и я не могу пройти мимо. Я чиню и лечу в ней каждую щель, каждую царапинку. Мутные, запыленные окна — как печальные глаза. Скорее тряпку, скорее мел — протереть тоскующие стекла, вернуть им блеск неба и свежесть белых облаков. Моя забота, мой

уход вознаграждаются появлением чувства выполненного долга.

У меня есть отдельная квартира, и скоро она будет у всех.

Но хватит об этом. Хватит с меня моих собственных дел, они ведь далеко не так хороши, как мне бы этого хотелось.

Впрочем, кажется, сейчас мне грех жаловаться. Я кандидат наук, занимаю солидный пост, веду важную тему, мной довольны. Работа у меня интересная и нужная. В шутку иногда говорят, что у науки есть свой Молох, который должен поглотить всю продукцию научных работников. В моем представлении это странный и сильный всеядный зверь. Его именем разные ловкачи и неудачники гипнотизируют членов ученых советов. Ему на съедение предназначаются беспомощные диссертации, эрзац-предложения, изложенные в монографиях и статьях.

Предполагается, что этот бог науки обладает поистине абсолютным пищеварением и съедает все. Я же уверен, что научная макулатура не доходит до него в полном составе, большая часть ее теряется по дороге. И слава аллаху! Ибо трудно себе представить даже сверхъестественное существо, которое способно было бы переварить ту скучную, тягучую, как резина, научную информацию, что иногда встречается в наших институтах. Я, конечно, не говорю о жемчужинах изобретательства и бриллиантах научного предвидения. Они попадают повсюду, и там, где я работаю, тоже.

Я сам звезд с неба не хватаю. Обо мне говорят — честный труженик. В науке и искусстве такое определение граничит с оскорблением. Он делает все, что может... Но, увы, как немного он может!

Собой я, конечно, недоволен. Но назовите мне человека, который в наше время был бы доволен собой. Самый самодовольный тип страдает от недостатка самодовольства. Всем всегда кажется, что они упустили какие-то возможности и где-то как-то недопроявили себя. Виновны в этом, конечно, не они сами, а окружающие.

Правда, я знаю, что за все происходящее со мной ответствен только я. Я один.

В институте я хожу с озабоченной физиономией. Все вокруг видят, как нелегко мне достается моя трехсотрублевая зарплата и насколько она ничтожна по сравнению с моими потенциальными возможностями...

Событие или события, о которых пойдет речь ниже, произошли в день зарплаты.

Я расписываюсь в ведомости. Не считая, сгребаю деньги. Бумажки шевелятся и сопротивляются, как только что выловленные креветки. Они не хотят попадать ко мне в карман. А напрасно. Им предстоит веселая жизнь. Вместо скучного лежания в банковских пачках они у меня очень быстро отправятся в трагикомическое путешествие по жизни.

Я люблю деньги. Нет, на книжке у меня ничтожная сумма. Я обожаю тратить деньги. Они для меня элементы возможностей, такие же, как свет московских фонарей, когда идешь поздно по улице. Конечно, ходить без света тоже можно, но это трудно и не так приятно. Деньги многозначны по своим возможностям, в этом их особенная прелесть. Ведь их можно превратить во что угодно, даже в счастье твоих близких. К сожалению, я лишен и близких, и далеких. Мама пока еще живет не со мной, а с женой мы разошлись. Не развелись — разошлись. Особой разницы здесь нет.

Только я вошел в лабораторию, как меня позвали к телефону. Последний раз я слышал и видел свою жену года полтора назад. Случайно встретились на улице Горького. С тех пор мы ограничивались корректной перепиской.

Голос жены поразил меня, как взрыв лабораторной установки, на создание которой ушли три года и четыре зарплаты. Я испытал удушье, сердцебиение, галлюцинации и, наконец, железобетонное равнодушие.

— Здравствуй, Александр,— сказала жена.— Я хотела бы с тобой поговорить. Ты можешь со мной встретиться?

Я молчал, облизывая небо шершавым и твердым, точно молодой огурец, языком.

— Зачем? — наконец выдавил я.

Она помолчала.

— Это трудно... сейчас объяснить,— протянула она,— но нам необходимо встретиться.

Голос ее звучал спокойно. Никакой ненавистой мне истеричности. Как будто это не она. А смысл ее слов был предельно ясным: тебе же хуже будет, если ты не согласишься...

Меня ей не запугать. Сейчас я стреляный воробей. Но... почему не произвести разведку боем? Я решился:

— Хорошо. Давай встретимся в парке, около пяти.

— Ладно. Там, где...

Она хотела сказать «обычно» и споткнулась. Я почувствовал острую режущую боль в левом боку и испугался. У меня уже давно не было приступа. Нельзя так волноваться, нельзя...

— ...возле колеса обозрения? Да?

— Да.

Она повесила трубку, а я открыл ящик письменного стола, где был спрятан валидол. Сунул таблетку под язык и криво усмехнулся. Доконали-таки они тебя. В тридцать лет ты уже сосешь валидол, старик, а что будет в сорок, пятьдесят и выше? Лучше не думать.

И все же день был испорчен. День зарплаты, день свободы был убит голосом, от которого мое больное сердце вздрагивало, как мембрана в телефонной трубке.

Я ужасно волновался. Да, ужасно, потому что во мне жил и прыгал по всему телу какой-то нервный страх. И с этим ничего нельзя было поделать. Он прокрался в меня четыре года назад, и стоило мне с кем-нибудь из семейства моей жены переговорить или повстречаться, как страх оживал и начинал метаться во мне, будто ошалелый заяц.

Я закурил сигарету, пальцы мои дрожали. Затем я заметил, что наша лаборантка Зиночка бросает на меня любопытствующие взгляды из-под свежевыкрашенного частокола своих ресниц. Я вышел в коридор и выкурил еще одну сигарету.

Комбинация никотин — валидол действует на человека так же, как запуск мотора на автомашину, поставленную на глубокий тормоз. Меня прошиб пот, наступила слабость и временное облегчение.

Я не стал возвращаться в лабораторию и позвонил из вестибюля института:

— Зиночка, Марья Андреевна там?

— Нет, она вышла.

— Передайте, что я срочно уезжаю и завтра выйду во вторую смену. Вы поняли меня?

— Сейчас вас вызвали, а завтра вы в библиотеке.

— Совершенно верно. До свиданья.

До свиданья, Зиночка. До свиданья, умница. Светлая голова, золотое сердце, волшебные руки и толстый слой краски на нежной девичьей коже. Дай бог тебе сегодня вечером отличного партнера на танцульках.

Не знаю уж, что меня так пришибло, но я еле волочил ноги. Я, казалось, и думать забыл о предстоящей встрече с женой и весь как-то окаменел. Мне было трудно дышать, ребра скрипели и двигались медленно, тяжело, будто заржавели.

Скованный, напряженный, точно в гипсе (только голова свободно вращается), я шагал по Нескучному саду. Людей было мало, почти никого из молодежи, лишь пенсионеры, рассевшись поодиночке, стеклянными глазами смотрели перед собой.

Я прошел по дорожке, усыпанной красным толченым кирпичом, вниз, туда, где виднелись серое одеяло Москвы-реки и новые светлые здания на Фрунзенской набережной.

Я шел по тем местам, где мы с ней проходили тысячу и больше раз и словно видел все впервые. Ровная, плотная, точно ковровый ворс, трава под деревьями и на лужайках была ослепительно зеленой, как будто ее только что выкрасили масляной краской. Меж стволов и веток висели похожие на клочья ваты облака. Спускаясь вниз, я заметил баржу. Она казалась неподвижной, от нее на воду падала глянцево-черная тень. На смоленом носу баржи цвели кружевные блики.

Из кафе «Дарьял» вырвался шашлычный запах и повис огромной прозрачной грушей. Чадный, душный запах шашлыка у меня почему-то очень прочно связан с гнилостным дыханием морского берега, грязными от бесконечного отрывания мидий пальцами, крупнокалиберной дробью дождя, порывами холодного ветра и какой-то удивительной бодростью во всем теле.

В Зеленом театре вечером должен был демонстрироваться итальянский фильм. У кондитерского киоска собрались женщины, на скамейке у пруда я заметил двух отличных девушек, лебеди были похожи на плохо вы-

кормленных гусей, а утки казались неживыми, они застыли на воде, как чучела.

Ресторан «Кавказский» напоминал колхозную кузницу. Он дымился, как паровой котел перед взрывом. У его входа уже собралась небольшая толпа, которая оживленно комментировала поведение тех, кто сидел за столиками:

— Эти вторую бутылку заказывают. Долго просидят.

— А этот шашлык ест — как доклад о любви и дружбе читает. С тоски помрешь.

Я сделал поворот, на меня коршуном упала тень большого колеса обозрения, и я увидел Веронику.

Она была в шерстяном, болотного цвета костюме, который мы покупали вместе с ней в универмаге «Москва». Прическу она изменила, темно-русые волосы с одного боку спускались почти до плеч, а левая сторона была зачесана и освобождала чистый выпуклый лоб, отчего казалось, что один глаз у нее больше, чем другой. Она выглядела бледной и усталой, взгляд напряженный, чужой.

Наталкиваясь на прохожих, я медленно двигался к ней навстречу.

— Здравствуй.

— Здравствуй.

Как давно мы не виделись! Боже мой, как долго мы не виделись!

— Я прямо из редакции, — сказала она с расстановкой. Она не смотрела мне в глаза. — Хочу есть. Пойдем куда-нибудь посидим.

Оказывается, я помнил ее голос, ее лицо, дрожание губ так, будто мы вчера расстались. Я думал, что забл. Это меня потрясло, и я снова разволновался.

Ресторан лениво раскачивался в такт проходившим за окном речным трамваям. Это был плавающий ресторан. Мы сидели друг против друга и молчали. Тишина была нестерпимой и вязкой. Я несколько раз порывался что-то сказать, но так и не смог. У меня не было в голове ни одной самой завалященькой мысли, а в горле пересохло, как перед ответом на экзамене.

Она тоже молчала, закрыв глаза и часть лица руками. Волосы свесились, словно пролились на полиэтиленовую скатерть.

— Две рюмки коньяка,— сказала она подошедшей официантке.

Теперь я увидел, что глаза ее сильно блестят. Сейчас заплачет, подумал я. Но она не заплакала.

В полном молчании мы выпили коньяк, съели салат из помидоров и стали дожидаться второго блюда. Она достала из белой сумочки пачку болгарских сигарет и закурила.

— Будешь?

Я отказался. Я уже год как бросил курить и не считал, что нужно начинать все сначала.

— Ну, вот что,— сказала она, стряхивая пепел в тарелку из-под салата.— Я пришла тебе сказать, что ты можешь вернуться.

Я посмотрел на нее. Все же удивительный человек моя жена. Как бы я ее ни любил, сколько бы я ни тосковал по ней, стоило ей раскрыть рот и произнести несколько слов, чтобы я начинал вздрагивать от смутного чувства раздражения.

— Почему ты решила, что я готов это сделать?

— Я не знаю, что ты собираешься делать. Я знаю, что мой долг сказать тебе это. А ты уж сам решай.

— Это, конечно, для меня большая честь.

— Еще бы! После того, что ты натворил...

— ...меня великодушно прощает и принимает в свое лоно здоровая советская семья?

— Да, мы прощаем тебя.

Она чуть охмелела и начала косить. Взгляд ее стал близоруким и растерянным. С моей точки зрения, это был запрещенный прием. Она же знала, как я умилялся и любил ее такую «косенькую» и беспомощную. Я окончательно разозлился.

— Тогда придется купить пять пар темных очков,— запинаясь, сказал я.

— Зачем? — искренне удивилась она.

— Одни — отцу семейства, другие — его супруге, третьи — шурина, четвертые — бывшей жене, пятые — мне. Словом, всем!

— Но зачем?

Я наклонился и через стол заглянул ей в лицо:

— А как же мы будем смотреть друг другу в глаза? После той грязи, которой мы друг друга поливали, нам,

наверное, будет несколько неловко встречаться, а тем более жить в одной квартире?

Она посмотрела поверх меня, поверх всех голов, что возвышались над столиками в зале; она смотрела на белую деревянную стену сзади меня. Мне показалось, что она начала трезветь.

— Мало ли что бывает,— сказала она.— А потом, мы можем не жить там. Ведь ты сейчас...

Она не досказала. Но я понял. Они уже метят на мою новую квартиру. В мое тело воткнули сразу десяток иголок и начали откачивать кровь. Я чуть не задохнулся от ярости.

— Даже под страхом смертной казни я не вернусь к тебе и к твоим родителям!

Она взглянула на меня и торопливо погасила сигарету. Рука ее нервно скользила по пепельнице. Я не видел своего лица, я не знаю, каким оно было, но я видел его отражение на лице жены. Очевидно, оно было страшным.

— Не пойму, за что ты нас так возненавидел,— сказала она. Губы у нее дрожали, но она мужественно старалась смотреть мне прямо в глаза.

— Я был вашим рабом. А когда рабы любили хозяев? Я не дядя Том.

Я как-то сразу успокоился и решил выложить все, что я о них думаю. За эти месяцы я много передумал. У меня развилась и созрела целая теория насчет семейства моей женушки.

Но я не успел. Она положила пачку сигарет в сумочку и встала. Сделала несколько шагов вбок, глядя на меня, затем повернулась и пошла к выходу. Я смотрел ей вслед.

Официантка принесла два лангета, на мою и ее долю.

Она так и не съела свою порцию. Она ушла голодной.

Я заказал пива и съел оба лангета. Затем мне принесли еще коньяка, и я выпил его с черным кофе. Совершенно машинально я потребовал сигареты, и мне принесли «Друг», толстую, очень неудобную коробку, которая всегда оттопыривает карман.

Я расплатился и вышел.

Я был немного пьян, совсем немного, самую чуточку. В общем, я почти все соображал, но мои ощущения на-

поминали слоеный пирог. Полосы ясного мышления чередовались с какими-то темными провалами, когда я почти ничего не помнил.

И было мне очень обидно. До слез обидно. Я готов был заплакать от обиды...

В таком состоянии, я знаю по опыту, лучше всего идти. Не останавливаясь, не задерживаясь, идти и идти, пока не перестанешь узнавать улицы, район, где находишься, и наконец Москва станет не Москвой, знакомой до последней трещины в асфальте, а таинственным незнакомым городом, в котором все интересно, все неразгаданно.

Вот троллейбус. Как он прекрасен! Я люблю троллейбус. Его окна разбиты на темные осколки оранжевыми буквами рекламы, рекомендующей питаться мороженым. В осколках я вижу, как беззвучно открываются рты, должно быть, льется мелодичная речь, произносятся слова высокого смысла. Определенно там говорят не на земном языке.

Мир преображен. Тот, обыденный, реальный, уполз от меня на четвереньках. Вместо него передо мною страна загадок.

Я один, для всех чужой и неизвестный, иду по городу.

Вот парень, красивый парень. Он сам не знает, до чего он хорош в темных узких брюках и толстом свитере с широким воротником, откуда, как на колонне, возносится гордая голова. Этот парень бежит, почти парит в воздухе, он торопится к автобусу и вдруг стал, будто врос, и ждет хрупкую, улыбающуюся подругу. Она машет рукой; жест легкий и нежный, словно взмах крыла, глубоко трогает меня, и мне вновь хочется плакать, на этот раз уже от сладкой грусти. Обида уходит, она сменяется ожиданием и предчувствием чего-то необычайного, какой-то светлой неожиданности.

Я слышу, как тормозит зазевавшийся таксист, точно по асфальту протасили огромный каток, обернутый наждачной бумагой, в ноздри бьет бензиновый недогар, большая фигура большого поэта с непреклонным чубом завлакивается сизым дымом, в смрадном облаке судорожно мигает красный глазок стоп-сигнала.

Возле овощного ларька столпились люди, свет на них падает снизу, и ящики с апельсинами накрыли черные

великаны теней. Тени шевелятся, как гигантские раки, и напоминают о юге, жарком и томном лете.

Откуда-то пахнуло грозой, и я не сразу понял, что оказался в том месте, где трамвай делает поворот; колеса его скрежещут по серебряным рельсам, а дуга, напоминающая фантастическую птичью лапу, жадно царапает черные провода.

Здесь я увидел девушку. Она прошла мимо меня, лицо ее надвинулось, как изображение в стереокино, и сразу же ушло в сторону. Оно было ровного золотистого абрикосового цвета и казалось вырезанным из бумаги.

Я почувствовал, насколько она нужна мне, и бросился за ней. Я долго уговаривал ее, и было уже поздно, когда мы поехали ко мне. По дороге я взял в гастрономе коньяк, торт и фрукты. Надя сидела молча. Я придерживал покупки на коленях одной рукой, во второй — дымилась сигарета. Мне никак не удавалось донести до окна автомобиля пепел: он рассыпался под порывами ветра.

Я тоже молчал. Я очень устал после двухчасового словесного сражения с этой девушкой. Мне удалось уговорить ее, но победа меня не радовала. Слишком значительны затраченные усилия, слишком ничтожен результат. Я начал трезветь, и в этом была опасность. Мы ехали ко мне на квартиру, куда еще не ступала нога женщины, за исключением врачей и уборщиц, и это меня тревожило. Я не знал, как все получится. Чудеса начались с первого шага. Входная дверь не открывалась. Это было тем более поразительно, что я всего лишь три дня назад смазал и проверил замок, который и так работал безупречно. Я беспомощно дергал туда-сюда ключ, поворачивал его вправо, влево, но все безрезультатно. Дверь оставалась закрытой. Надя, молча наблюдавшая за этой мимической сценой, сказала:

— Эх ты, хозяин! Дай-ка мне,— и сразу открыла.

Мы вошли в коридор, освещенный грушевидным плафоном, причем я моментально умудрился оборвать серьгу выключателя.

Надя сняла плащ и прошла в комнату.

— Садись,— сказал я.— Вот пластинки и радиола, а там магнитофон и пленки. Есть интересные записи. Можешь послушать.

— А ты что будешь делать?

— Я приготовлю закуску.

— Я тебе помогу.

— Спасибо, я сам.

Мне не хотелось, чтобы она бродила по всей квартире. Я пошел на кухню. В холодильнике были яйца, помидоры и две коробки с сардинами. Я решил сделать яичницу. Мне пришлось очень туго. Сковородка, которую я доставал с полки, выскользнула из рук и отбила пальцы на правой ноге. Ругаясь, я прыгал на одной ноге, пока боль не утихла.

Я поставил сковородку на огонь и занялся сооружением салата. Из комнаты доносилась тихая, убаюкивающая музыка; очевидно, Надя выцарапала какой-то блюз. Помидоры приобрели свойства живых существ. Чем-то они напоминали кальмаров, осьминогов и каракатиц, вместе взятых. Выстрелив в меня красной реактивной струйкой, насыщенной желтыми икринками, они уносились прочь со стола в поисках более надежных рук. Оголенная, бесстыжая луковица отправилась вслед за ними. Я ползал по полу, пытаясь собрать составные части салата. Газовая плита несколько раз ударила меня по голове, острый угол кухонного стола пнул меня в бок, а банка с солью нарочно упала и рассыпалась как раз там, где стояли сахарница, масленка, чайница и еще что-то. Мне пришлось извлекать все эти предметы из-под снежных заносов соли. Когда я попытался открыть сардины, они плюнули мне в глаза масляным рассолом, и часть его попала на мою белую рубаху.

И тогда я понял: квартира ревновала меня к абрикосоволикой девушке. Я понял и расхохотался. Мне сразу стало легче. Через пятнадцать минут яичница была готова.

Я смотрел, как на сковороде вздуваются четыре желтых глаза, и стряхивал соль с лезвия ножа, блистающего, точно река в солнечный полдень. В кухне пахло детством и Украиной.

В соседней комнате звучал негромкий разговор. С кем это она разговаривает? Потом я понял, что это не Надя. Голос женщины был слишком знаком мне. Слишком знаком. Я выключил газ и пошел в комнату. Надя стояла ко мне спиной, опершись локтями о стол. Магни-

тофон потихоньку раскручивал давно известный мне диалог:

— Ну говори, что же ты молчишь? — Голос жены, нетерпеливый и как будто счастливый голос...

Лента тихо шуршит, наматываясь на бобины.

Я чувствую сильный прилив усталости. Мне как-то сразу становится все равно. Действительно, денек был у меня не из легких. Надя перематывает пленку и осторожно снимает ее с магнитофона. Некоторое время она рассматривает меня, затем подбирает брошенный мной фартук и идет на кухню. Я сижу и, закрыв лицо рукой, курю одну за другой сигареты «Друг». Они самодовольные и толстые, как сардельки. Надя приносит глазунью, помидоры, хлеб. Она накрывает стол, посередине водружается бутылка коньяка.

— На́, выпей.— Она протягивает мне полную до краев рюмку.

Я с жадностью глотаю маслянистую обтекаемую пулю алкоголя. Надя садится рядом. Мы молчим, и я наливаю себе еще. Надя, конечно, курит, и это ей страшно не идет.

— Ты часто слушаешь эту пленку?

— Я слушаю ее очень часто... почти каждый день. Прихожу с работы, включаю и слушаю. Это все, что мне осталось на долгие годы, до самой старости.

— Но почему? — кричит она.

Почему? Почему? Почему?

Мысли мои сталкиваются и разлетаются, будто бильярдные шары. Как ответить, как ответить, да и можно ли ответить? Что я могу ответить на вопрос, который стал привычным, как чистка зубов по утрам, как автобусный билет. И все же я хочу ответить, я не могу молчать, меня душит гнев.

— Потому что я не могу так жить, Надя. Потому что действительно не хлебом единым жив человек... Я попал к людям-потребленцам. Они давно ничего не создают, они только потребляют. Николай Александрович милейший человек, великий дока по части рыболовства, охоты и преферанса. Его жена, Алевтина Петровна, очаровательная... Их дочь, моя любезнейшая супруга... Как бы тебе это сказать, чтобы ты почувствовала... не поняла — ты и так все понимаешь, — но содрогнулась от унижения,

когда твой единственный костюм распинается на кресте снисходительного презрения, когда твоя месячная зарплата небрежно швыряется в тот ящик, где лежат деньги на самые мелкие расходы, когда каждый кусок, съеденный тобой, учтен и доложен кому следует, когда обидам нет числа и слово «ничтожество» написано на всех стенах шестикомнатной квартиры, и написано специально для тебя...

— Хватит, хватит!

— Нет, погодн. Эти паразиты оценивают человека нашим советским рублем, и это у них здорово получается. Ведь рассуждение у них элементарно, и его трудно опровергнуть. Они говорят, они уверенно рассуждают, и на первый взгляд правильно рассуждают. Наше общество справедливо, говорят они, по своей сути, и лучшие люди (те, кто лучше работает) хорошо получают. Значит, между хорошим и богатым можно с определенной уверенностью ставить знак равенства. Понимаешь, какая подлость? Николай Александрович имеет заслуги, а ты на своем заводе (я тогда как раз на витаминном заводе работал) добейся таких же заслуг и будешь получать, будешь уважаем и почитаем. Они забывают, что мне сразу после института никто не может платить сумму, даже отдаленно соизмеримую с его пенсией. И так далее! О, эти потребители, разве их можно насытить? Им только давай, давай, давай... А что они? Они дали кому-нибудь что-нибудь?.. Страшно, Надя, жить в семье потребленцев. Ты отдаешь свой труд, свою душу, свою энергию, жизнь, а взамен — ничего. Пустота. Вакуум. Из тебя сосут все, что могут, а взамен ты не можешь ничего получить. Очень просто: у них самих ничего нет, это глотки, они обречены своей природой, перерожденной природой паразитов, на внутреннюю пустоту!

Я передохнул, собираясь с мыслями. Надя сидела, опустив лицо на руки, и молчала. Гнев оставил меня, мысли текли ровнее, плавно.

— Они опустошили меня, на моих глазах убили самое святое, что есть в человеке,— его веру в другого человека... Ну, да хватит. Я знаю одно: мы враги, мы враги до конца. Ты это понимаешь?

— Не знаю.— Ответ шелестит в тишине, так ветер гонит перед грозой листья, сухие пыльные листья с це-

ментными прожилками.— Не знаю. Кажется, ты несправедлив. По-моему, ты очень несправедлив. Ты озлился и...

Наступает молчание. Надя встает.

— Я ухожу,— говорит она.

Я смотрю на нее, нелепый и ошеломленный.

— Но почему?— вырывается у меня беспомощный вопрос.

Она поворачивается к окну.

— Ты еще любишь жену. И это главное. А на все остальное можно наплевать. А я...

Она запнулась, затем рывком преодолела препятствие:

— Я просто не нужна тебе. Прощай, желаю вам помириться.

Она наклоняется и целует меня. Ее поцелуй, пахнувший парфюмерным отделом ГУМа, приходится в область, отведенную для близких родственников, где-то между краем глаза и ноздрей.

В дверях она задерживается и смотрит на меня. Колебание, будто порыв ветра на зеркале пруда, морщит абрикосовую кожу ее лица.

— Ты только... держи себя в руках.

Это не совет, даже не предостережение, это предчувствие. Но какое мне до них дело? Призраки и тени, они скользят по моей душе, не оставляя следа. Хватит с меня их, довольно!

Я захлопываю дверь и остаюсь один. Я с ненавистью оглядываюсь по сторонам, злоба накапывает на меня. Я царапаю обои, пинаю стул и прохожу в комнату.

Какое заблуждение! Как все это мало похоже на райский уголок! Квартира кажется мне тюремной камерой. Потолки валятся на голову, омерзительные зеленые обои ассоциируются в чем-то с грудой гниющих овощей. Эти желтые скользкие пятна... бр-р...

Теперь нужно расправиться с магнитофоном. Я вставляю пленку с голосом жены, стираю запись.

Все. Теперь все кончено. Я остался один. Глухое, плотное одиночество охватывает меня, как речной ил. Я тону в одиночестве, но мне не страшно.

— Ни с кем,— говорю я громко.

Голос срывается, а квартира молчит. Она присмире-

ла и больше не сует свой нос в мои дела. Она знает, что я могу ударить.

— Никого,— уверенней повторяю я.

Молчание.

— Нигде и никогда.

Молчание.

Я ложусь спать спокойный и умиротворенный. Я сделал все, что мог. Я сплю крепко и глубоко. Мое дыхание ровно и мощно, как движения гребцов на академической восьмерке. Я вижу себя со стороны, и мне нравится моя манера спать.

Среди ночи меня будит какой-то шум. Я просыпаюсь. Стучат. Стучат в мою дверь. Стук отчетливый, явственный и сильный. Вздрагивает рюмка, лежащая на боку в тарелке. Я шарю в поисках выключателя, зажигаю торшер. Оказывается, я не поставил себе домашних туфель, поэтому сую ноги в холодные микропорки. Стук продолжается.

— Сейчас, сейчас,— бормочу я. Голос мой глухой и не выходит из пределов комнаты.

Я выбегаю в коридор и с раздражением замечаю вслух, что, дескать, можно бы воспользоваться электрическим звонком, а не тарабанить так отчаянно среди ночи в двери.

— Разбудите соседей, скандалу не оберешься! — ворчу я и сбрасываю цепочку с дверей.

Щелкает замок, и я выхожу на залитую светом лестничную площадку.

Там пусто. Никого нет. Площадка безжизненна, как лицо мертвеца. Никого нет. В ушах у меня стреляет и рвется на осколки тишина. Я пожимаю плечами и, оставив дверь открытой, спускаюсь по лестнице вниз.

Никого. И на улице, и в подъезде тоже никого. И вообще никого. Город спит, не видно ни одной человеческой фигуры. Я возвращаюсь, и все повторяется, как в фильме, пущенном наоборот. Запирается дверь, накидывается цепочка, гаснет свет в коридоре, снимаются микропорки, я выключаю торшер и, натянув одеяло на голову, засыпаю.

Только я смыкаю веки, как меня сбрасывает с тахты отчаянный стук в дверь. Снова стучат, и как стучат! Все панели дома ходят ходуном. Сейчас начнет сыпаться

штукатурка, сейчас треснут углы, черными зигзагами побегут щели по стенам.

Стучат в мою дверь. Это очевидно. Снова дрожит рюмка в тарелке, к ней присоединилась пробка графина. Она вытренькивает — дзинь, дзинь! — так жалобно, словно просит о пощаде.

Я застыл, окаменел. Мои ноги в железных микропорках, сердце в стальных тисках, оно бьется как сумасшедшее, готовое выпрыгнуть. Я не включаю света, я жду. Стук усиливается, я чувствую, что задыхаюсь.

Я иду по темному коридору и с ужасом смотрю на дверь. Она дрожит от сильных ударов, она содрогается, как лист под ураганным ветром, световая окантовка там, где дверь неплотно прилегает к раме, становится то шире, то уже, в такт ударам. Со стенок, шурша, осыпаются пыль и известка. Я слышу, как куски стены скользят под обоями, будто под змеиной шкурой.

— Сейчас, сейчас, — шепчу я твердыми, как высохшая глина, губами. Зажмурившись, распахиваю дверь.

Свет и тишина на миг ослепляют меня.

Никого нет. Никого нет. Никого нет.

Я беззвучно плачу, глядя на пустую, безлюдную площадку. На меня хмуро смотрят обитые кожей темные двери соседей.

Что же это? За что?

Я возвращаюсь, закрываю двери. Цепочки я уже не набрасываю. В полной темноте я сажусь на тахту и сжимаюсь в комок. Я жду.

Я жду, когда снова раздастся стук в моем мозгу.

АРТУР С ЗОЛОТЫМИ КОРОНКАМИ

Второв отложил листки бумаги в сторону, посмотрел в лицо доктору. Тот улыбался, не разжимая губ. Он протянул Второву галстук:

— Вы так торопились познакомиться с реакцией «Нельсона», что позабыли надеть эту существенную деталь мужского туалета.

— Это чудовищно! — сказал Второв.

— Возможно, но ведь все правда, не так ли?

Второв покачал головой и сказал:

— Нет! Это не правда. Фактическая сторона изображена относительно правильно. Но об этом я сам ему рассказал, вернее, ответил. Он оказался неплохим психиатром. Куча каверзных вопросов, которые выворачивают человека наизнанку. Но общее настроение, мои чувства, мои мысли... Это ложь, ошибка! Я так не чувствую, не думаю! Этот человек хотя и похож на меня, но он — не я. У него чужая психология. И несвойственная мне обостренная чувствительность.

Доктор внимательно наблюдал за ним.

— А может быть, вы все же ощущаете нечто подобное?

Второв не ответил.

— Вам не нравится созданный машиной образ? Вы не хотите быть таким, но, к сожалению...

Две-три секунды молчания. Второв ждал.

— ...вы такой есть на самом деле. В машину нужно верить, у нее в памяти тысячелетний эмоциональный и логический опыт не только человечества, но и всей живой материи.

Второв не торопясь стал повязывать галстук. Лицо его было спокойно.

— И вы по-прежнему считаете,— продолжал доктор, подойдя вплотную,— что нельзя создать машину эволюции?

— Что еще за машина эволюции?

— «Нельсон», с его колоссальной фактической и ассоциативной памятью, со стендами, где исследуется природа отдельных биохимических процессов, с его задачей предсказания нового человека,— это и есть машина эволюции!

— А,— откликнулся Второв.— Это вы его назвали машиной эволюции?

— Мы его так назвали, а вы на собственном опыте убедились в его интеллектуальной силе, не правда ли? Весь ваш внутренний мир был сконструирован машиной за несколько минут. Это мир сложного интеллигентного человека. В несколько минут! И, хотя вы отрицаете, я чувствую, что машина права. Признайтесь, у вас была магнитофонная запись голоса жены?

— Ну, была.

— Вы хоть слово о ней говорили машине?

— Нет... пожалуй, нет. Говорил о существовании магнитофона.

Доктор улыбнулся, повалился в кресло и торжественно задымил.

— Эксперимент, что и говорить, впечатляющий,— негромко сказал Второв,— но я не особенно разбираюсь в электронике, поэтому для меня многое непонятно. Например, как перерабатывает машина информацию о частоте дыхания, пульса и тому подобное. Конечно, паразитально, что машина способна проникать в глубины мыслей и чувств на основе такой, казалось бы, заурядной информации, как вопросы-ответы, потоотделение, размер зрачков и температура кожи. Тем не менее человек, писатель например, тоже конструирует душевный мир героя, исходя из опыта и визуальных наблюдений. И здорово получается, как вам известно. Однако все это не может служить основанием для того, чтобы считать «Нельсона» машиной, работающей над улучшением рода человеческого. Я просто не верю во всю эту затею. Машину можно послушать, но и только. Частное мнение, ценность которого определяется его содержанием, не более. Не делайте из машины кумира. Она всего лишь помощник человека. А решать — человеку. У вас модель мира заслоняет сам мир.

— Что об этом говорить, мистер Второв! — Доктор вскочил.— Мы не рабы «Нельсона». Совсем наоборот. Но меня огорчает ваше неверие. Мне хотелось заинтересовать вас нашей главной идеей.

— Что ж, считайте, вы добились своего,— улыбнулся Второв.

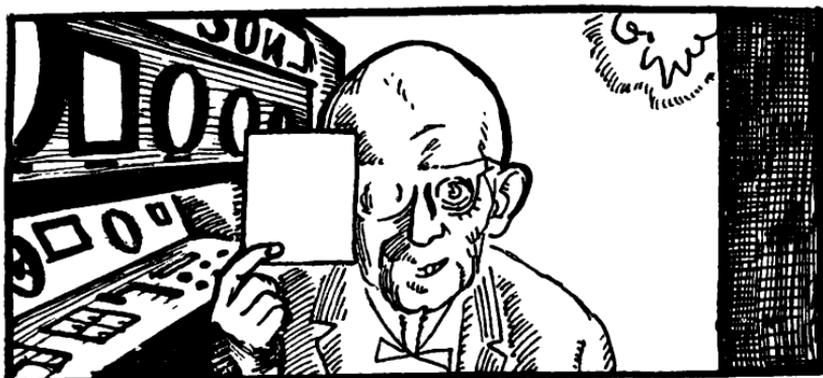
— Но не совсем так, как нам бы этого хотелось. Я вижу, вы не загорелись. Вас не вдохновили блестящие перспективы этой работы.

— Нет, почему же? Все увиденное и услышанное мной достаточно интересно.

— Вы не так говорите, дорогой Алек, я не слышу энтузиазма в вашем голосе.

— Что поделаешь,— рассмеялся Второв.— Возможно, мы живем на свете, чтобы разочаровывать друг друга.

Доктор вежливо улыбнулся. Они замолчали. Второв собрал листки, на которых «Нельсон» излагал свои впе-



чатления от знакомства с молодым советским ученым. Машина отпечатала их на русском языке. Ничего удивительного в этом не было.

— Если вы не возражаете, я возьму их с собой,— не решительно сказал Второв.

— Пожалуйста. Только покажите это Джону.

— Да, где же Кроуфорд? Мы с вами весьма интересно проводим время, но... уже поздно.

— Не беспокойтесь, он нас разыщет. Как только кончит, появится у меня. Он всегда сюда приходит. Кстати, могу продемонстрировать вам еще кое-что, некий результат наших усилий. Качество человека будущего, которое существует уже сейчас. К сожалению, я плохо владею русским языком, но это, надеюсь, лишь усилит эффект... Вы посидите немного, а я кое-что напишу.

Он схватил карандаш и стал старательно выводить русские буквы.

Прошло не меньше часа, пока он был занят этим странным делом. Потом удовлетворенно откинулся на спинку кресла и улыбнулся.

— Возьмите это,— сказал он, протягивая Второву исписанные листы.

«У меня теперь есть отдельная квартира в новом районе Москвы...»

Что это? Второв стал лихорадочно сличать записи доктора с машинописным текстом «Нельсона». Сомнений быть не могло. Слово в слово! Буковка в буковку. Совершенно непостижимо!

Наступило тягостное молчание. Говорить Второву не хотелось, да и не о чем было ему говорить. Он уже четко представлял уровень проблем, решаемых Кроуфордом. Еще один безумный поиск. Дай бог ему удачи, конечно. Но во всем этом есть что-то патологическое. Второв был слишком здоровый, слишком трезвый и нормальный человек, чтобы разделять восторги по поводу таких сумасшедших затей.

Доктор что-то обдумывал, покусывая золотыми клыками короткую трубку. Второв с отвращением принюхивался к запаху ароматического дыма.

«В этом табаке может содержаться наркотик, который заставил меня болтать во время разговора с «Нельсоном», — внезапно подумал Второв.

— Хотите посмотреть еще один документ, созданный машиной? — вдруг спросил доктор.

— Давайте, — неохотно отозвался Второв. — А что там?

— После того как машина сформулировала задачу о сверхинтеллекте, я поставил перед ней вопрос о возможных путях бессмертия индивидуума. Мой эксперимент проводился в тех же условиях, что и ваш. Я сидел в том же боксе. И вот какой притчей мне ответил «Нельсон».

Доктор положил перед Второвым несколько листков. На этот раз на английском языке.

«...Джон, как всегда, был флегматично спокоен. В его глазах отражались стол, бутылки и обидное равнодушие ко всему на свете. Но я знал, что под его невозмутимой внешностью сейчас, как и всегда, бурлит бешеная страсть коллекционера и искателя.

Джон жаждал необычного. Он коллекционировал неожиданности, ошибки, промахи, удивительные случаи и небывалые факты. Он собирал и изучал все, что ошарашивает и потрясает воображение и чувства. В его руках были зажаты концы неведомой паутины, в которой билась невероятность. Его всегда обуревали сногсшибательные находки и новости, но он не всегда мог с ними сладить. В таких случаях он вызывал меня. Так было и сегодня.

Мы немножко помолчали, разглядывая кольца дыма,

поднимавшиеся к потолку, где висела обильно украшенная стекляшками люстра. Потом Джон сказал:

— Артур, ты знаешь, я, кажется, нашел его...

— Короля?

— Ага.

Джон давно мечтал о центральной находке для своей коллекции редкостей, но до сих пор это ему не удавалось. И вот он говорит, что нашел его...

— Что же это такое?

— Он сейчас придет сюда...

Я был разочарован. Значит, это человек. Плохо, так как в людях, как мне казалось, нелегко найти что-либо из ряда вон выходящее. Все люди очень похожи.

— Ученый?

— Нет.

Тем хуже. Самая новая и ошеломляющая информация у тех, кто впереди. А человек как таковой... Я представил себе, как по темной, плохо освещенной улице, над которой висит глухое, беззвездное небо, идет человек. Он шагает по твердому асфальту, сунув руки в карманы, обычный пешеход обычного города. Он проходит по тем местам, где уже проходили миллионы и еще пройдут миллиарды. Вечный пешеход вечного мира...

Что несут на себе его согнутые плечи, какие слова застыли на его языке, какие мысли, готовые вспорхнуть, затаились в складках его мозга?..

Джон надеется, что ты удивишь и заморозишь нас новым всплеском неведомого. Посмотрим...

Он родился из моего внутреннего взгляда, и, прежде чем я успел что-то сказать, он уже сидел рядом с нами и пил из рюмки наш коньяк.

Внешность у него была... Я не могу описать его внешность, мне иногда кажется, что ее у него вообще-то не было. Вернее, было у него то, что мы привыкли называть внешностью, но в ней было больше от меня и от Джона, чем от него самого. Я думаю, что уже потом мы просто придумали эту внешность.

Конечно, это был безумец. Я сразу понял, что имею дело с сумасшедшим. Удивительно, что Джону не пришла в голову та же мысль. Стоило только взглянуть в его черные, горящие глаза... Хотя нет, глаза у него были синие, глубокого морского оттенка, или... нет, они бы-

ли бесцветные. Белые круги с темными точками зрачков. Очень страшно. А может быть, у него и вовсе не было глаз. Одним словом, я говорю, что потом мы с Джоном у же многое напридумывали. И глаза, и прочее.

Так вот, пока он пил горячий кофе, я понял, что Джон влип в грязную историю. Конечно, это очень страшный человек. Он ненормален, ясное дело. И вдруг этот субъект, которого Джон называл не по имени, а только «вы», поворачивается ко мне и говорит:

— Все это правильно. Я действительно безумец, но форма моего сумасшествия, как мне кажется, представляет большой интерес для науки.

Внезапно я заметил, что во время нашего коротенького разговора ни он, ни я не открыли рта. А Джон даже не смотрит в нашу сторону. Мне стало так жутко, что ноги похолодели. Я откашлялся и говорю:

— А в чем же, простите, эти странности?

Он улыбнулся беззаботно и пленительно, показав мне свои золотые зубы.

— Давайте я вам все расскажу по порядку, а вы уж сами будете решать.

Я привожу его рассказ почти дословно, если только можно сказать что-нибудь дословно об этом типе.

— Видите ли,— промолвил он,— мое безумие, хотя я его безумием не считаю, несколько не похоже на поведение тех психов, которые отсиживаются в больницах. Разница между нами очень простая.

Я посмотрел на Джона. Тот слушал молча, с интересом, но, как обычно, чуть индифферентно.

— У обычных психопатов,— продолжал незнакомец,— искажено отображение реального мира. В их мозгу запечатлена изуродованная картина действительности, поэтому они все время попадают впросак. Со мной в этом отношении все в порядке. Я вижу мир таким, как он есть, очень верно и очень точно. Поэтому я не сижу в сумасшедшем доме. Но со мной происходит другое, и я скорее уголовная личность, опасная для общества и государства, чем психический больной.

Он отхлебнул черный напиток и продолжал:

— Я не ведаю, что творю. Иногда это бывают совершенно сказочные вещи. А иногда, наоборот, безумно глупые.

Впервые это случилось в детстве. Мы с приятелями катались в лодке на реке. Я тогда не умел плавать, а в нашей компании попался один подлый и трусливый парень. Он перевернул лодку и, когда я стал тонуть, бросился прочь. Остальные поддались панике и поплыли в разные стороны. Я остался один, и дело мое было плохо — мы находились посредине реки. Внезапно что-то произошло, и я лег на волны. Они показались мне твердыми и ребристыми, как засохшая грязь проселочной дороги. Я лежал очень долго, пока эти идиоты не подогнали ко мне лодку...

Потом наступил перерыв. Прошло около двадцати пяти лет, когда Оно вновь повторилось. Правда, далеко не в такой спасительной форме. Была война. Однажды по сигналу военной тревоги нам пришлось выбегать из большого здания казармы. И вдруг я почувствовал, что не могу пройти в широко открытые двери. Передо мной мелькали спины, ранцы и автоматы моих товарищей, а я стоял и смотрел и знал, что мне нельзя пройти через эти двери. Капитан рявкнул: «Давай! Чего стал?!» Я побежал и... с размаху наскочил на какую-то невидимую преграду. Мне показалось, что там была стеклянная стена. Даже звон пошел, как будто ударили по фарфоровой тарелке. Я в кровь разбил лицо и больно ударился грудью. Когда капитан увидел, как я расквасился, он махнул рукой и выбежал. А я остался один в здании. Я пытался пролезть в окна, но они были такими же непроницаемыми для меня. Рухнула бомба, угодила в казарму и погребла меня. Я получил серьезную контузию и провалялся до конца войны в госпитале. А после войны мир вокруг меня совершенно перевернулся. Я никогда не был уверен в том, что со мной произойдет. Главное, что я все воспринимаю очень нормально. Никаких логических заскоков, никаких галлюцинаций, видений. Все в полном порядке — и зрение, и слух, и рефлексy. Но стоит мне начать что-либо делать... Сплошные чудеса и... анекдоты. Ни за что нельзя ручаться. Минутами я обладаю высшим могуществом. Но я никогда не знаю, когда Оно ко мне придет, в какой форме Оно будет и надолго ли во мне сохранится. Порой я бываю слаб, как ребенок. Самое настоящее безумие, когда... Да, вот так, — сказал он, помолчав, — и все же мне порой кажется, что

я в какой-то мере сам как-то руковожу этими чудесами. Нет, нет, конечно, я никогда не знаю, что будет, и не знаю, чем все кончится и за какой срок, но все же... Есть какой-то миг, совсем короткий, буквально секунды, когда как будто молния тебя ударит и ты уже знаешь, что сейчас начнется... И знаешь, как все пойдет. Да что говорить! — вдруг вскричал он. — Ведь вы мне все равно не верите?

Я опять ощутил жуткое чувство падения с большой высоты.

— Вот ему, — он кивнул на Джона, — я уже как-то показал, что я могу. Теперь он верит, что я самый оригинальный человек на земле. А вы, Артур, как?..

— Что делать? — улыбнулся я. — Научный работник не может верить словам, ему нужен эксперимент.

— Хорошо. — Он как-то странно посмотрел на меня. — Я согласен.

— Но вы же сами говорили, что не знаете, когда это найдет на вас. Как же мы...

— Давайте собираться у меня каждый вечер, пока он не сможет что-нибудь показать, — вмешался Джон.

— Идет.

Мы стали прощаться с Джоном. Он вывел нас на лестничную площадку и сказал:

— Завтра в восемь у меня.

Мы вышли на ярко освещенный проспект, по которому пробегали машины. Незнакомец поднял воротник и шел, задумчиво покашливая. У перекрестка он глухо сказал:

— Мне направо. До свиданья, Артур.

Я пошел прямо по проспекту, раздумывая о сегодняшнем вечере. Ничто не подтверждало, что Джон действительно сделал ценную находку для своей коллекции редкостей. Вряд ли этот человек годится в короли. В нем есть что-то, но пока это сплошной детский лепет... Ни одного факта, какие-то сказки, намеки... Ерунда. Но, с другой стороны, Джон не такой человек, чтобы его можно было удивить новой формой сумасшествия. Нужно будет завтра утром позвонить ему, узнать, что мог показать ему этот человек.

Вдруг я услышал за спиной быстрые шаги. Я обернулся и чуть не упал. Там стоял он.



— погоди! — Глаза его горели, губы дрожали от возбуждения.

Он протянул руку, и моя ладонь прилипла к ней. И, хотя наши пальцы были разжаты, я не мог оторвать своей руки.

— Зачем откладывать? — шептал он. — Зачем откладывать? Ты увидишь сейчас, как это бывает, как оно случается!

Не выпуская моей руки, он корчился в конвульсиях, лицо его помертвело.

— Я вот что сделаю... я вот что сделаю. Ты согласишься, на всю жизнь согласишься, всегда будешь помнить...

Ужас и отвращение наполняли меня. Но я не мог сдвинуться с места. Мои ноги, словно приваренные невидимым сварочным швом к асфальту, не двигались.

Все происходило так быстро, что я успевал только воспринимать события, не осмысливая их.

Внезапно он выбросил левую руку, и она вонзилась мне в грудь. Постепенно рука погружалась все глубже и глубже, я уже видел совсем близко перед своим лицом его бешеный взгляд, оскаленные зубы, ощущал горячее дыхание.

— Я войду в тебя, я буду всегда в тебе,— шептал он,— тогда ты поверишь в меня...

Я почувствовал, что его туловище на какой-то миг прилипло к моему телу и... исчезло. Боль, резкая, неистовая боль пронзила меня. Я крикнул и побежал...»

— Странный рассказец,— сказал Второв, откладывая записки в сторону.— Ваш вычислительный центр не по праву носит свое имя. «Нельсон» ему не подходит. Лучше было бы «Эдгар По» или на крайний случай «Хемингуэй». Он у вас не вычисляет, а сочиняет.

— Вы полагаете? А мне ответ кажется предельно ясным. Речь идет о перевоплощениях, которые так обычны в сказаниях древних. Первые представления о молекулярной транспортировке связаны с теорией теософов. Бессмертие индивидуума начнется тогда, когда будут созданы молекулярные копии. Их можно будет передавать от человека к животным.

— Простите,— Второв резко встал,— это очень интересно, но мне действительно пора идти.

— Ну, если так,— разочарованно сказал доктор,— я сейчас позвоню Джону. Он зайдет за вами.

Второв наблюдал за стариком. Сейчас было ясно, что доктор очень стар. Что-то в нем приковывало внимание Второва. Какая-то деталь, такая обычная и в то же время чем-то неприятная и неожиданная.

«Зубы. У него золотые зубы,— подумал Второв.— Мало ли у кого золотые зубы!»

Дверь в каюту широко распахнулась, и вошел Кроуфорд.

— Вот вы где! А я вас ищу.— Кроуфорд был грязен и весел.— Он вам еще не вывихнул мозги своими теориями?

Второв покачал головой. Нет, нет, ему было очень интересно и полезно побеседовать с доктором.

— Ну и хорошо. Простите, что я вас столь негостеприимно покинул. Но теперь, поскольку я освободился, мы можем продолжить наш разговор,— сказал Джон.— Итак, мы как будто остановились...

«Опять разговор?» — с ужасом подумал Второв и, прощавшись со стариком, пошел к выходу. Кроуфорд закрыл дверь, бросив на прощанье:

— До свиданья, Артур.

Второв чуть не подпрыгнул. «Артур?! И золотые зубы? Артур и золотые зубы...»

В какие Кроуфорда все оставалось на местах. Недопитый джин и банки с грейпфрутовым соком, неначатая бутылка виски, пепельница, полная окурков...

Кроуфорд торопливо опрокинул рюмку, Второв выпил немножко сока и встал.

— Что у вас там приключилось, Джон? К чему были эти скафандры и прочее?

— По чьему-то недосмотру разбежались радиоактивные крысы. Каждая — живой источник в семьдесят рад! Понимаете, что это такое?

Второв кивнул. Потом спросил:

— Переловили?

— Не всех, — ответил Кроуфорд. — Пришлось пустить в отсеки веселящий газ из баллонов. Сейчас помещения дезактивируются. Опасность была грозная!

Второв подошел к Кроуфорду, заглянул ему в лицо.

— Скажите, Джон, была ли у вас по отношению ко мне еще какая-либо цель, кроме простого обмена научной информацией? — внезапно спросил он.

Кроуфорд слегка смутился.

• — Да, была. — Он взглянул прямо в глаза Второву. — Я собирался предложить вам остаться здесь и работать со мной. Мне нужны талантливые, честные работники. Но, очевидно, именно поэтому, как я понял, вы бы никогда не согласились. И я не стал предлагать.

— Правильно сделали, — сказал Второв. — И еще вопрос. Вот то знакомство с жизнью вашего общества, которое мы предприняли совместно с вами, оно шло как этап совращения или возникло случайно?

— Это была моя импровизация. Скажу вам еще, Алек! Так, по крайней мере, будет честно. Но это строго между нами... Мне... как бы это точнее выразиться... намекнули сделать вам такое предложение. Именно намекнули! Не прямо, не грубо, но дали понять...

— Спасибо вам, Джон. Откровенность — лучший подарок. И последний вопрос. Этот доктор, он... что? Он не совсем...

— ...нормальный? Да он просто псих! Я его держу как наблюдателя. Ведь никто не хочет жить внизу, с нашими зверюшками. Один Артур согласен.

— А эта история с золотыми зубами?..

— Он уже успел рассказать вам про страшного незнакомца?

— Да.

Джон выпил еще рюмку и улыбнулся:

— Ловок. Впрочем, это его коронный номер. На этом он, собственно, и свихнулся. Раньше он был толковый специалист. Докторскую степень по биохимии получил в Англии, в Оксфорде. Его работу отличали в свое время как выдающееся достижение. Ну, а потом пошло, пошло... Мне искренне жаль его. Это подвижник. Он пожертвовал собой ради науки. В наше время на это мало кто идет.

Они поднялись на палубу.

— А вот и ваш катер! — Кроуфорд указал пальцем на белую точку в солнечной синеве.

«Арлтон» замер на серебристо-синем зеркале воды. Лениво вспыхивали и растворялись блики света на солнечной дорожке. Высоко в небе планировал на восходящих потоках фрегат.

Катер был еще довольно далеко. Они повернули шезлонги навстречу легчайшему бризу и расprostерлись в них, бессильно свесив руки. Словно отдыхали от изнурительной работы. Второв и на самом деле чувствовал себя очень уставшим. Но впервые за эти дни на душе было легко. Почти безмятежно. Теплые дуновения и масляный блеск воды клонили ко сну. Чтобы не задремать, Второв опять спросил Кроуфорда об Артуре, хотя, если говорить начистоту, все это теперь его не очень интересовало.

— Это долгая и очень запутанная история, — сказал Джон, закуривая. От его антимооситной спички пошел неприятный белый дымок. — Мне самому тут многое не ясно. Больше того, кое о чем и рассказать-то толком нельзя — сочтут за идиота! Откровенно говоря, может быть, поэтому я и не люблю обсуждать эту странную историю. Выработался своего рода тормозной рефлекс...

— Вы опытный рассказчик, Джон, — усмехнулся Второв. — Хоть кого заинтригуете.

— Наверное, я выгляжу сейчас в ваших глазах страшным ломакой? Но поверьте, это совершенно не-

произвольно. Я и вправду чувствую некоторое смущение. Но не буду затягивать увертюру.

— Ага. Занавес поднят!

— Отлично. На сцене метеорит. Это главное действующее лицо.

— Метеорит? — удивился Второв. — Какой еще метеорит?

— Заурядный углистый хондрит. Артур тогда увлекся этим делом. Исследовал высокомолекулярные составляющие хондритов. Надеялся найти внеземные формы жизни. И, на свое несчастье, как будто нашел. Ему принесли на анализ осколки метеорита, упавшего на галечный пляж Ньюфаундленда. Обычными физико-химическими методами Артуру удалось выделить вещество, структурно подобное дезоксирибонуклеиновым кислотам. Оно легко кристаллизовалось, и Артур даже решил, что имеет дело с неизвестным вирусом. Ничего необычного в таком предположении, конечно, не было. Ведь несколькими годами ранее ваш соотечественник показал, что могут существовать вирусы, построенные только из ДНК, без всякого белкового чехла. Поразительно было другое. Элементарный анализ кристаллов резко не подходил на все, с чем до сих пор сталкивалась наша наука. Во-первых, не было углерода; во-вторых, обнаружили только следы азота и водорода. Это была неорганическая псевдо-ДНК. Кремний, алюминий, фосфор и, как в известных соединениях, кислород и сера. Но структура та же!

— Артур опубликовал свои данные?

— Нет.

— Почему? — Второв даже не пытался скрыть свое недоверие.

— Не успел. Просто не успел. Он задумал большую серию опытов по исследованию биологической активности выделенного вещества. Со свойственной ему стремительной, если можно сказать так, методичностью поставил эксперименты на мышах и крысах. Очевидно, результаты были настолько удивительны, что он ввел вещество себе. Никого не предупредив, ни с кем не посоветовавшись. Я очень мало, к сожалению, знаю о том, что удалось получить Артуру в первых опытах. Однажды, впрочем, я присутствовал на эксперименте с подводным

лабиринтом. Инъектированные мыши находили путь в десятки раз быстрее контрольных. Это были поистине гениальные мыши! Но Артур не стал гением. Обретя феноменальную память, он сделался душевнобольным. Он может, допустим, прочесть железнодорожное расписание и воспроизвести его тут же или потом, через много дней. Но что толку? Себя-то он потерял! У него началось раздвоение личности. Рассказ о золотых зубах во многом правдив. Но дело в том, что третий там не участвовал. Только Артур и я. Но с Артуром произошло раздвоение. Он как бы обрел способность смотреть на себя со стороны. Наблюдатель был Артуром, объект — совершенно чужим человеком. Если учесть, что после опыта зубы у него стали крошиться и ему пришлось сделать золотые протезы, то вы поймете, какими глазами он смотрел на себя со стороны.

— Но ведь это же дичь какая-то! Чуть несусветная! Как будто дело только в золотых зубах и раздвоении психики! А затвердевшее море? А невидимое стекло в казарме? Это же маниакальный бред...

Кроуфорд мягко и многозначительно положил свою руку на локоть Второва:

— Давайте не будем больше говорить об этом. Я же предупреждал, что есть вещи, о которых может рассказать только киноплёнка. Многое из того, что вы слышали, действительно бред безнадежно больного человека. Но кое-что я видел сам. Понимаете? Сам! И все же, разве кто-нибудь поверит мне, что я видел, как, допустим, человеческая рука прошла сквозь орущий радиоприемник, будто через разряженный газ? Вы вот разве поверите?

— Не поверю,— спокойно улыбнулся Второв

— Ну вот видите! И я бы тоже не поверил на вашем месте.

— А что, вы действительно видели, как рука прошла сквозь приемник?

— Таковы люди! — Кроуфорд возвел очи к небу.— Верить не верите, а узнать все-таки хотите! Вот из таких-то противоречий и состоит все адамово племя. Нет, ничего я не видел!.. Пойдемте попрощаемся с капитаном. Катер уже причалил. Впрочем, повремените немного. Мы болтали о пустяках, а главного я вам так и не сказал.

Кроуфорд достал из бокового кармана пиджака плотный голубой конверт.

— Алек! Здесь кое-какие результаты моих работ по анаэробному дыханию. Я усовершенствовал ваш метод, и мне удалось получить интересные вещи. Конечно, будь у вас моя аппаратура, вы бы достигли большего. Но дело не в этом. Просто я хочу отдать это вам.

— Мне? Но почему, Джон? Почему?

— Не велика заслуга осуществить чужую идею, Алек. Идея принадлежит вам, а воплощение ее — мой подарок, на память... Просто на память... Кроме того, я чувствую себя немного виноватым перед вами и не хочу, чтобы вы плохо думали обо мне и... о всех нас.

— Но я не могу...

— Оставьте! Я никогда не вернусь к этой работе. Понимаете? Никогда! Вы знаете, какой ответ дал «Нельсон» на мой последний запрос?

— Нет.

— По оценкам специалистов, к двухтысячному году станет реальной одна поистине страшная возможность. Речь идет об управлении человеком с помощью искусственных средств. Я попробовал решить эту задачу на локальном примере моей страны. «Нельсон» получил всю информацию об использовании у нас транквилизаторов. Ответ был беспощаден. При известных условиях правительство может применить галлюциногены типа диэтиламина лизергиновой кислоты, для того чтобы удержать массы в состоянии покорности и вечной зависимости. С помощью все более изоциренных средств людей будут заставлять действовать в интересах правительства и капитала, причем люди толком не будут знать, как их обводят вокруг пальца. Этот психологический контроль окажется еще более действенным в сочетании с контролем над продолжением рода. Вот каким может стать наш «смелый новый мир». Младенцев будут помещать в колбы с различными растворами, где их умственное развитие будет производиться в соответствии с определенной программой... Машина эволюции предупреждает, что эволюция может в один прекрасный день закончиться. Я знаю, Алек, что многое из виденного произвело на вас тягостное впечатление. Но то, что вы видели, — только следствия. Причины глубоки и трагичны,

скрыты, не всегда постижимы и... У нас нет будущего, Алек, у вас будущее есть. Потому и забирайте себе мое научное барахло. Не бог весть что, конечно! Но оно сэкономит вам год-другой работы. Двигайте, Алек. Катер ждет. Я, пожалуй, не поеду вас провожать. So long! Come again!¹ Нет, не возвращайтесь,— добавил он по-русски.

Капитан приложил затянутую в белую перчатку руку к золотым листьям козырька. Самодеятельный оркестр ударил «Читануга чу-чу». Все было необыкновенно торжественно.

— Подумайте над тем, почему разбежались радиоактивные крысы, Алек! — крикнул с высокого белого борта Кроуфорд.

Треск мотора и голубые выхлопы сгоревшей солярки заглушили слова и скрыли лица.

«Крысы всегда бегут с обреченного корабля,— подумал Второв,— даже если они и радиоактивные. Но кто обречен: «Арлтон» или...»

— Прощайте, Джон! — закричал Второв, помахав рукой.

Но тот только помотал головой. Набежавший ветерок уносил слова и легонько курчавил зыбь...

Могучий «Антей» с русским экипажем уносил Второва домой. Самолет лег на левое крыло, и в иллюминаторах мелькнула серая синева океана. Потом опять показалось солнечное разреженное небо. За бортом 42 градуса мороза.

Второв удобно вытянулся в кресле и сунул памятные записки и рекламные проспекты в портфель. Все-таки это была интересная поездка. И важная. Он еще сильнее укрепился в мнении, что вторичные структуры белков скрывали какое-то ценное, но совершенно непредвиденное качество. Надо было идти вглубь. Падре правильно учуял. (Ну и чутье!) Если эксперименты Кроуфорда удастся повторить...

Мысленно он опять перенесся на несколько дней и на тысячу миль назад. Только что понял, что смутно беспокоит его. Достал машинописный текст:

¹ До свиданья! Возвращайтесь! (англ.)

«У меня теперь есть отдельная квартира в новом районе Москвы...»

— Ну есть, черт возьми, и что дальше? — проворчал Второв. — Обычная двухкомнатная квартира в кооперативном доме. Что за странный культ жилплощади? Конечно, я ждал ее и радовался ей, но вовсе не кисну я там в полном одиночестве. И никогда я не облизывал ее, как кошка. Там было порядочное, надо сказать, запустение, пока не приехала мать. В лаборатории действительно торчу по двенадцати часов. Вероника совсем другая...

Он опять прочел все, но это уже не произвело на него сильного впечатления. Он читал рассказ о жизни совершенно чужого человека. Даже внешне на него не похожего. Он действительно представлял себе лицо того, другого. Оно медленно выплывало из тумана и приобретало сначала расплывчатые, потом вполне конкретные черты. Так вырисовывается перед читателем лицо героя, внешность которого автор не описывает. Вырисовывается из поступков и слов, побуждений души и вещей, которые его окружают.

И Второв увидел этого другого человека, жизнеописание которого напоминало его собственное. Но это был совсем чужой человек. И лицо у него было совсем чужое. Совсем другое было лицо.

Машина солгала, потому что ничего не знала о той жизни, из которой пришел к ней он, Второв. Она перенесла на него весь свой механический опыт, богатый и бедный, вместе с тем опытом, полученный ею от окружающих.

И еще понял Второв, что тоже приобрел опыт, отнюдь для него не бесполезный. Он впервые серьезно задумался над тем, что собирается делать дальше и как живет сейчас. И что ему очень мешает. И что дает опору, когда приходится туго. К нему приходила несколько запоздавшая зрелость. Не столь уж молодой кандидат наук переставал быть мальчишкой. Начинался очень интересный процесс, за которым Второв следил как бы со стороны, но с теплым, дружеским участием.

Потом он стал опять думать о своей работе. Это были привычные мысли, и он почувствовал себя совсем хорошо. Тяготившая его неясная тревога растаяла, и стало

легко и чисто, как в сверкающем надоблачном небе, за двойным круглым стеклом.

Захотелось поскорее очутиться дома. Перед глазами всплыла солнечная Москва. И стало совсем, совсем хорошо.

ПРОЩАЙ, ПАДРЕ...

Второву показалось, что Падре как-то скис, изучив привезенные им материалы. Листки с выкладками, таблицы и графики он забрал к себе домой и три дня не появлялся в лаборатории. Потом вдруг позвонил Второву, велел захватить лабораторный журнал и срочно приехать. Голос его звучал тускло и устало. Впрочем, впечатление могло оказаться обманчивым. Разве телефонная трубка не искажает голос? Еще как искажает...

Второв сложил в свой шикарный желтого пластика портфель, который, кстати, прилипал в солнечный день к рукам, все, что удалось ему собрать по проблеме «АД» до отъезда на конгресс. Он сказал, что больше сегодня в институт не вернется, перекинул через руку пиджак и вышел во двор. Пятна осенней ржавчины легли уже на пыльные смородиновые листья. Трава совершенно выгорела и пожухла. За аккуратно подстриженными шпалерами крыжовника проносились троллейбусы, сплошным потоком шли машины. Оттуда пахло разогретым асфальтом и отработанным бензином. Жаль было покидать тенистый оазис институтского двора.

Второв провел рукой по черной металлической поверхности дьюара. Она уже успела нагреться на солнце. Не верилось, что внутри клокочет холодом жидкий аргон.

Второв взглянул в опаленное небо, шумно вздохнул и решительным шагом прошел в калитку мимо механиков в грязно-синих халатах, которые с великой предосторожностью разгружали кузов с кислородными баллонами.

Ему повезло. Первый же таксист снизошел до того, что притормозил и, высунувшись в окно, крикнул:

— Вам куда?

— В район Смоленского, если можно,— заискивающе улыбаясь, попросил Второв.

— Ладно! Садитесь, — немного подумав, согласился шофер.

Пока они ехали по Ленинскому проспекту, Второв успел обдумать все те вопросы, которые нужно обязательно задать шефу.

Машина описала широкую дугу и влетела в освещенный люминесцентными лампами туннель, который выходил на Садовое кольцо, прямо к Крымскому мосту. Такому же висячему, как и огромный мост через Гудзонов залив. Второв еще раз подивился волшебным возможностям авиации.

Еще совсем недавно он стоял... Но тут же поймал себя на том, что отвлекся. Нужно было обдумать еще и тактику разговора. Он собирался многого добиться от шефа.

Работать по-прежнему совершенно невыносимо. Практически он совершенно один. Ни людей, ни собственных ассигнований и никакой надежды на новые приборы. Все лимиты уже израсходовали другие.

Он достал записную книжку и попытался нацарапать основные пункты разговора. Но писать было трудно. Мешали толчки и подскакивания машины. Да и вполне можно было обойтись без записей. Он и так отлично знал, что ему нужно. Во-первых, группа. Два или, лучше, три научных сотрудника, собственный механик и две лаборантки. Хорошо бы, одна из них умела печатать на машинке... Зиночка в этом смысле идеал... Теперь приборы. Конечно, в первую очередь ОР-99, этот легендарный шедевр электротехнической японской фирмы «Тошиба», потом четыре бокса, ультрацентрифугу, хроматограф, установку ЭПР, электронный микроскоп с ультрамикротомом и все-



возможное стекло... Остальное мелочи. Остальное — как-нибудь...

— Вам куда? — сурово спросил таксист, притормаживая перед красным светом у смоленского исполина, перед входом которого чинно выстроились многосильные красавцы с разноцветными флажками на радиаторах.

— Девятинский переулок, пожалуйста, — сказал Второв, возвращаясь на грешную землю.

Но разговор с шефом протекал совсем не по плану и закончился совсем иначе, чем это предполагал Второв.

Падре сам отворил ему обитую блестящим зеленым дерматином дверь и провел к себе в кабинет. Выглядел он очень уставшим, даже слегка осунулся за эти дни, если, конечно, такое слово применимо к круглому румяному толстяку.

Молча взял он из рук Второва лабораторный журнал. Лениво и как-то очень незаинтересованно пролистал его, будто наперед зная все, что там написано. Впрочем, он, кажется, действительно это знал. Долго ничего не говорил, уставясь невидящими глазами в окно, за которым нестерпимым блеском сверкали расплавленные сквозные окна похожего на раскрытую книгу здания СЭВа. Что читал в этой стальной и стеклянной книге Падре, о чем думал?

Второв почувствовал себя почему-то очень неловко. Больно уж непривычным было молчание шефа.

— Вы очень выросли, Александр Григорьевич, — хриловатым и каким-то «не своим» голосом сказал шеф, поворачиваясь к Второву. — Очень... Я изучил все, что вы привезли с собой, и мысленно сопоставил это с тем, что у вас уже было... И я вдруг понял, что где-то внутри и незаметно для всех вы крупнее того американца. Крупнее! Я это понял. А ведь он блестящий исследователь. Почти гениальный. Вот какая петрушка получается, Александр Григорьевич...

Второв покраснел и заерзал на стуле. Он готов был бежать отсюда сломя голову. Слов нет, ему было приятно. Но смертельно, совершенно смертельно неудобно. Потому и приятность прошла стороной, почти не задев его. Осталось только это непонятное смущение, даже какой-то стыд, в котором он тонул без возврата. Притом слова

Падре были совершенно неожиданными. Второв не знал, что ему делать, и даже не пытался возражать обычными приличествующими на такой случай словами.

— Обдумал я и те идеи, Александр Григорьевич, которыми вы поделились со мной во время нашей последней встречи. Обдумал и оценил. Вы широко замахнулись, широко и далеко. Вы переросли меня. Вам уже не нужна моя опека... Не перебивайте меня! — Мановением руки он посадил на место Второва, который приподнялся со стула и силился что-то произнести. — Не перебивайте... В той каше, которую я заварил с «АД», вам уже делать нечего. Ваша проблема крупнее, значительнее. Может быть, она не так выигрышна, но несомненно более важна для науки... Теперь слушайте меня внимательно, я уже все решил. У Алексея Кузьмича есть вакансия заведующего лабораторией вторичных структур. Лучшего человека, чем вы, ему не найти. Идите туда вместе с вашей тематикой.

— Но...

— Идите, идите! Мы сохраним наши связи в недрах Совета по «АД». А пока развивайте свое направление. Лаборатория еще не укомплектована, лимиты колоссальные. Сами и людей себе подберете, и оборудование закупите. Чего еще желать можно? Пока будете «и. о.», потом защитите докторскую и станете полноценным завлабом.

— Да...

— Идите, батенька, домой и хорошенько подумайте. Я и так знаю все, что вы собираетесь мне сказать. Подумайте, подумайте. Потом мы с вами все поподробнее обсудим. А мне на дачу пора собираться. Заждались, поди: дачный муж, и все такое. Одних поручений целый список. Так что желаю приятного отдыха. Идите и подумайте хорошенько. Для «АД» это необходимо. Без детальной разработки вторичных структур нам с места не сдвинуться. Совет советом, а не дадим солидного научного обеспечения — по головке не погладят. Для пользы дела, Александр Григорьевич, для пользы дела.

Часть вторая

ЗВЕЗДНЫЕ ДНИ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

На работе он думал о письме, пытаясь угадать, что она пишет ему, и смутно надеясь на что-то, о чем не хотелось признаваться даже самому себе. Конечно, он знал, что и на этот раз она телеграфным стилем расскажет ему о куче дел, о каких-то необыкновенных и очень романтических людях, о далеких городах, электростанциях, тайге или приемах на «очень высоком уровне». Наверное, и в этом письме она, как всегда, обругает главреда и похваляется, что кому-то здорово натянула нос.

Хорошо, что у него отдельный кабинет и только Опарин и Морган могут видеть бездельничающего человека, сосредоточенно разглядывающего пустой потолок. Но и они не замечают его. Они тоже глядят куда-то в затуманенную даль. Второв переводит взгляд с портретов на стеллажи со всевозможными справочниками, на вычерченные тушью аминокислотные цепочки, на вытяжной шкаф и аналитические весы в углу. Все это настолько знакомо и привычно, что вряд ли фиксируется мозгом.

Второв вздрагивает. Ему кажется, что обитая черным дерматином дверь начинает надвигаться на него. Он мгновенно возвращается к действительности и кричит:

— Я же просил никого ко мне не пускать! Я занят. Вы понимаете? Занят!

— Вас просит к себе Алексей Кузьмич,— доносится из-за чуть приоткрытой двери.— Простите, пожалуйста...

Второв медленно вылезает из глубокого кресла и проходит к себе в лабораторию. В углу комнаты у осциллографа сидит Виталик. Над его склоненной спиной мигает голубой экран, перечерченный жирной белой синусоидой. Лаборантки возятся со стеклом. Все в порядке. Все на своих местах. Он еще минуту медлит, потом решительным шагом пересекает лабораторию и выходит в коридор.

В директорском кабинете, как всегда, тихо и уютно. Со стен озабоченно смотрят портреты. На портрете Каблукова лопнуло стекло, и линия излома пересекла правый

глаз, придав чудаковатому академику удалой пиратский прищур. Маленький письменный стол в самом дальнем конце комнаты утонул в бумагах. Перед ним раскинулся необъятный, как море, нейлоновый ковер с навеки застывшими извивами волн.

Алексей Кузьмич приветливо помахал рукой и предложил сесть. Ковер несколько отвлек мысли Второва от письма, которое лежало дома на столе, придавленное тяжелой малахитовой пепельницей. Кузьмич велел прибить ковер по четырем углам, чуть подвернув обращенный к двери край. Входящий обычно этого не замечал и, спотыкаясь, делал несколько стремительных и плохо управляемых шагов по направлению к директорскому столу. Более экспансивные личности влетали на четвереньках прямо под стол. Старик собирал кожу лба в удивленные складки и выражал пострадавшим самое искреннее сочувствие. Говорили, что Кузьмич очень любил, когда спотыкались сановные академики и дородные доктора наук. Извлекая очередного катапультировавшего сотрудника из корзинки для бумаг, он проникновенно приговаривал ласковые слова утешения. Первое время ковер действовал безотказно. Каждый, кто врывался в кабинет разгоряченным и полным желанием «показать им», проходил легкую успокаивающую встряску. Постепенно о ковре узнали и научились его обходить. Только желчные холерики с неуравновешенной психикой по-прежнему попадали в ловушку.

Второв наконец понял, что директор что-то доверительно говорит ему. Лицо Алексея Кузьмича беспрестанно двигалось.

— ...Кстати, я уже оформил все документы. Можете выезжать хоть сейчас.

Голубой конверт исчез из мыслей Второва.

— Мне очень жаль, что Аполлинарий Аристархович...— медленно сказал он.

Директор сочувственно закивал:

— Такой выдающийся биохимик, в расцвете сил...

Директор издал звук, средний между «да» и «та», и передвинул бумажку с печатью на край стола, ближе к Второву.

— Но знаете,— устало продолжал Второв,— мне совсем не хочется ввязываться в это дело. Моя лаборатория

на полном ходу, дает нужную продукцию... Нейроструктуры второго порядка почти в наших руках. Еще немножко поднажать, и тема будет закончена. На кой же черт, извините за грубость, я полезу в чужой институт? У Аполлинария Аристарховича была своя школа, наверное и достойные заместители найдутся. Почему я должен свалиться людям как снег на голову? Это, во-первых, не в моих привычках, а во-вторых, только повредит делу. Я же для них варяг как-никак. Пока будут обживаться, притираться, пока люди ко мне привыкнут, пройдет уйма времени. Нет уж, пусть лабораторией заведует кто-нибудь из учеников Кузовкина.

— Ну, батенька,— сказал Алексей Кузьмич,— все это несерьезно. Работать там вы будете временно и по совместительству. Это каких-нибудь две-три поездки в неделю. И то на первых порах. Коллектив там хороший, нечего вам к нему притираться. Уж не считаете ли вы себя этаким наждачным кругом, жерновом? Работа интереснейшая, увлекательная. Есть темы, связанные с космической биологией, из-за чего, собственно, вы и приглашаетесь. Кто же, если не вы... Ваша кандидатура, дорогой, всех устраивает. Президиум горячо ее одобрил. А кроме того...

Директор встал из-за стола и бесшумно прошелся по кабинету. Он присел на ручку кресла и склонился к самому уху Второва. Тот почувствовал, как вокруг него забили большие и малые фонтанчики горячего доверительного сочувствия.

— Вы посмотрите на себя, батенька,— говорил Алексей Кузьмич.— Ваши вторичные структуры вам очень нелегко даются, разве я не вижу... Я давно заметил, что вы еле тянете. Хотели предложить отдых, курорт, санаторий, но, зная вашу одержимость... Вы ведь и там будете работать, пока не добьетесь своего? Ну, вот видите! Все вполне понятно. Я так, собственно, и подумал. А эта работа вас немного отвлечет. Другие люди, другая обстановка... Институт расположен рядом с Окским заповедником. Места восхитительнейшие. Природа замечательная! Воздух, лес, тишина. Аполлинарий Аристархович умел устраивать такие дела. Если создавал лабораторию, то или на самом Олимпе, или на подступах к нему. Любил жизнь! Что там уж говорить...

Алексей Кузьмич вскочил и, сунув руки в карманы,

покатился по нейлоновым волнам. Второв с интересом наблюдал за директором.

— Забавный человек был Аполлинарий Аристархович,— сказал, покачивая головой, Алексей Кузьмич.— С чудишкой. Особенно в последнее время. Как-то, помню, совсем недавно мы собрались в нашем академическом доме. Народ в основном пожилой, старики да старушки, несколько молодых жен — свои люди, одним словом. А Павел Афанасьевич Острословцев, почтенный наш академик, весьма охоч анекдоты рассказывать. Рассказывать-то он их любит, да память подводит: то конец анекдота не расскажет, то упустит основное слово, в котором вся соль... Кузовкин слушал все эти «эээ, как его... ну, вы знаете... помните, как оно...» да и говорит: «Бросьте вы мякину тянуть, послушайте лучше меня». Бесцеремонный он был человек, но... говорят, добрый. Да, вот так и говорит: «Послушайте лучше меня, я сейчас вам Большую энциклопедию буду читать... на память». Хе-хе! Все мы, присутствующие, замолкли и на него уставились. Народ пожилой, нужно признаться, склеротический, не то что энциклопедии, иногда своего адреса не помнит, и тут на тебе, такое заявление от своего собрата — старика. Кузовкину тогда шестьдесят с небольшим исполнилось. Ну, при общем смехе и подшучивании достаёт Аполлоша с нижней полки потрепанный том Большой энциклопедии за номером двенадцать и протягивает хозяину дома — дескать, следите. Коль ошибусь, под стол полезу. Да! И пошел чесать, и пошел... Одну страницу, вторую, третью... На седьмой мы остановили: хватит, говорим, давай вразбивку. И ведь что поразительно — ни разу не сбился! Точно вам говорю — ни разу не ошибся!

— Не может быть! — улыбнулся Второв.

— Вот вам и «не может». Я свидетель! — Кузьмич вновь приблизился к креслу и зашептал: — С хозяйством такого человека просто из чистой любознательности следует познакомиться. Напрасно вы, дорогой мой, упираетесь... В общем, я не принимаю вашу риторику за отказ. Согласитесь, батенька, отдых от работы заключен в работе. Конечно, в работе другого рода и стиля, разумеется, но в работе.

Второв подумал, что сегодня день, пожалуй, потерян. Завтра он вообще не придет в институт. Послезавтра...

— Хорошо,— сказал он, морщась.— Хорошо. Поеду. Посмотрю... Но... ничего не обещаю.

— Вот и расчудесно, милый! Поезжайте... Не забудьте документы. И поезжайте себе с богом.

...Окно вертолета было покрыто мелкой сеткой поверхностных трещинок. Второв видел, как в маленьких неправильных многоугольниках проплывают зеленые и рыжие пятна земли. Красные и голубые крыши медленно перемещались к юго-западу. Вертолет сделал поворот и пошел над узкой и четкой линией, отсекавшей желтый квадрат поля от синего пятиугольника леса.

— Заповедник,— сказал кто-то.

Второв наклонился к стеклу. Синие волны леса, накрытые прозрачной дымкой испарений, катились на северо-восток. Второв представил себе, как влажно и сумрачно должно быть под такой плотной лиственной крышей. Нога пружинит в мягкой, податливой подушке мха, и шумит-поет ветер, раскачивая высокие сосны. Он подумал, что уже сто лет не был в лесу просто так, чтобы дышать, смотреть и слушать. И вдруг опять вспомнил о письме.

Второв увидел это письмо, как только проснулся. Мать заботливо придавила его тяжелой малахитовой пепельницей, чтобы порывистый ветер, залетавший в раскрытое окно кабинета, не унес голубой конверт.

Второв вскочил, торопливо сделал несколько приседаний, пытаясь прогнать вязкую дремоту, засевшую в мышцах и настойчиво зовущую назад, в теплое небытие сна. Он взял письмо и подошел к окну. Раскрыл створки. Глубоко вздохнул и поднес конверт к глазам. Второв был близорук. Хорошо и давно знакомый почерк — буквы похожи на баранки.

Он расстался с женой через год после свадьбы. Ушел и больше не возвращался. Но письма она иногда присылала. Они были разными, эти конверты, надписанные ее рукой. Одни скучно официальные — только адрес и марка, другие — многоцветные и яркие, с видами Кавказа и Крыма. Иногда приходили и большие пакеты из плотной, болотного цвета бумаги с пестрыми экзотическими марками и множеством черных и красных штампелей или маленькие белоснежные прямоугольнички, умещавшиеся

на ладони и хранившие слабый аромат дорогих духов. Вид некоторых писем ясно говорил, что они долго тряслись в почтовых мешках, навьюченных на верблюдов, кочевали на автомашинах, блуждали по карманам, в которых табак раздавленной сигареты плотно облепляет кусок черного хлеба. В общем, конверты были разными, и шли они из разных мест. Но содержание белых, серых и зеленых листков почтовой бумаги казалось удивительно однообразным. Она всегда писала только о себе.

У Второва за время их переписки сложилось твердое убеждение, что он знает двух совершенно несхожих женщин. Одна — вздорная, мелочная, неряшливая, всегда кем-то и чем-то недовольная; другая — та, что писала письма, — ослепительная, жизнерадостная искательница приключений. И каждый раз та, другая, вызывала в нем глухую тоску по неведомой ему яркой и острой жизни, полной разнообразия и неожиданностей.

Письма ее он обычно читал на ночь, когда выдавалась свободная от работы минутка, и во сне ему являлись мужчины в смокингах, с пистолетами и сигарами, и красивые женщины в ковбойках, с геологическими молотками в руках. Она же ему не приснилась ни разу.

Второв еще раз вздохнул и отложил конверт в сторону. Пусть подождет до вечера. Тогда он поймет не только то, что она написала, но и то, что при этом думала.

Второв пошел в душ и, закрыв глаза, подставил лицо холодным, упругим струям. Потом он долго брился, оттягивая кожу на щеках и выдвигая вперед подбородок, чтобы лучше выбрить складки.

В кухне гремела посудой мать. Вот уже два года, как она жила у него. Ему теперь казалось, что они никогда не расставались, а так и жили всегда вместе с самого первого дня его на земле.

Потом мать позвала его завтракать, и, увидев ее старую, в морщинках и коричневых пятнышках руку на белой пластиковой филенке двери, Второв вспомнил, что давно собирался что-то сделать для матери, но забыл, что именно.

Темная жидкость, похожая на нефть, медленно съедала белизну чашки, пока не остался только узенький просвет между золотым ободком и дымящейся поверхностью кофе. Мать опустила в чашку сахар. Второв смотрел на

ее распухшие от подагры пальцы и мучительно пытался вспомнить, что же он все-таки хотел для нее сделать.

Так и не вспомнив, он подвинул к себе чашку и развернул газету. Бумага, пахнувшая краской, шуршала и трещала, как перекрахмаленная рубашка. Просовывая под газетой руку, Второв на ощупь брал бутерброд и запивал его горячим, обжигающим язык кофе. Для этого ему приходилось поворачивать голову направо, чтобы пар не застилал строчек. Когда очки запотели, он опустил газету и встретился с ласковым, чуть насмешливым взглядом матери.

— Когда придешь-то?

Второв пожал плечами. Мать вздохнула. Унося поднос, она сказала:

— Ты уж совсем переселился б туда...

Второв еще раз пожал плечами.

Спускаясь по лестнице, он видел яично-желтый цвет перил, серые треугольнички на полимербетонных ступенях, выцарапанные мальчишками короткие надписи на стенах. Во дворе у подъезда стояла его машина. Он посмотрел на пыльный радиатор и поморщился. Взял из багажника тряпку и медленно провел по боку кузова. В блестящей полосе отразились его ноги, темный асфальт и неопределенной формы зеленое пятно — должно быть, дворový сквер.

Неожиданно Второв понял, что все это время он думает только о письме, оставленном на столе в кабинете.

А, будь ты неладно! Второв подумал, что он, в сущности, мягкий, слабовольный человек, который просто не в силах справиться со своим чувством. У него не хватает воли, вот в чем дело. Или, может быть, наоборот, он сильный, цельный человек, который обречен на одну-единственную страсть. И здесь уж ничего не поделаешь. И никто не имеет права упрекнуть его в отсутствии воли. Даже он сам. Он будет думать о письме Вероники до тех пор, пока этот вздрагивающий, вибрирующий вертолет не развалится в воздухе и не придется поневоле приостановить всяческие размышления.

Резиденция Кузовкина в известной мере отражала сложный внутренний мир этого человека. Он называл се-

бя академиком-эклектиком, и чудачества его вошли в разговорку.

Второв с недоумением и досадой рассматривал огромную поляну, где, подобно причудливым грибам, стояли корпуса Института экспериментальной и теоретической биохимии. Башни, полусферы и параболоиды были разбросаны на зеленой траве с детской непосредственностью. Бетон, стекло, алюминий, пластмасса... и рядом — фанера, обыкновеннейшая фанера. Целая стена из десятимиллиметровой фанеры.

Второв неодобрительно покачал головой.

«Школьный модернизм, — подумал он. — Показуха на оборот, антипоказуха... Кому все это нужно?»

Второв не любил Кузовкина. Ему довелось слышать покойного академика два раза на конференциях, и тот ему не понравился. Он был громогласен и самоуверен.

«Я ничего не знаю, но все могу!» — кричал Кузовкин с трибуны на физиков, выступивших с критикой его теории субмолекулярного обмена вещества. Он действительно мог многое, но не все. Старость и смерть и для него были непобедимыми противниками.

Второв вздохнул и посмотрел вверх.

«Тихо-то как! Тихо... Лес остается лесом, даже детскими кубиками его не испортишь».

Хлопнула дверь. Из сооружения, несколько напоминавшего плавательный бассейн, вышли сотрудники в белых халатах. Двое несли длинный ящик с открытым верхом, оставляя на траве тонкий след из опилок. Они пересекли двор и вошли в домик, похожий на железнодорожную будку.

В небе плыли пышные, словно мыльная пена в лучшей московской парикмахерской, облака, пахло соснами. Мягкий, чуть влажный ветер приятно ласкал кожу. Второв подумал, что, пожалуй, не зря он сюда приехал — хоть чистым воздухом подышит.

Во двор медленно въехала машина. Из кабины вышли мужчина и женщина и принялись деловито выгружать картонки и свертки.

— Где лаборатория генетических структур? — спросил Второв.

Женщина выпрямилась, упершись ладонями в бока.

— Вон там. — Она мотнула головой в сторону башни



из красного кирпича, разделенной на пять этажей круглыми окнами. Прядь волос сорвалась со лба и брызнула на лицо женщины. Получилась вуаль, из-под которой глядели усталые карие глаза.

Второв вспомнил про письмо, которое ждало его дома, и заторопился.

«Нагородили черт знает что... Перила черные, ступени желтые. Лифт, конечно, не догадались сделать...»

Он попал в узкий, изогнутый коридор.

«Стены белые, как в больнице... И пахнет, как в больнице: йодом, карболкой и хозяйственным мылом», — отметил он.

На третьем этаже за стеклянной дверью Второв увидел людей, сидевших в удобных пластмассовых креслах. Кто-то стоял у доски. Вероятно, рассказывал. По стенам было развешено множество графиков. Второв всмотрелся в листы ватмана.

«Усредненная формула миозина и разветвленная схема генетического кода». Прочел название: «К вопросу о механизме обмена в мышечной клетке».

«Интересно! Значит, покойный академик и метаболизмом занимался. Очень интересно».

Второв хотел было войти, но раздумал:

«Пусть их сидят семинарничают. Сначала с лабораторией нужно в общем познакомиться...»

На четвертом этаже он отыскал кабинет Кузовкина. Около двери была прикреплена табличка с надписью: «Аполлинарий Аристархович Кузовкин». И все. Звание и заслуги не указаны, они общеизвестны. Только дата рождения и смерти. «Жаль! Все же он еще многое мог

сделать, шестьдесят три для ученого-экспериментатора — это не рубеж»,— вздохнул Второв.

Со смешанным чувством смущения и непонятого раздражения он нажал ручку двери. То ли движение его было слишком резким, то ли дверь была слабо закрыта, но случилось непредвиденное. Раздался щелчок, дверь распахнулась, и Второв влетел в комнату. Двое мужчин, стоявших возле письменного стола с мензурками в руках, на миг застыли в изумлении. На развернутой газете лежала крупно нарезанная колбаса, ломти белого и черного хлеба, коробка бычков в томате. Здесь же приютилась узкогорлая колбочка с остатками прозрачной жидкости. Пахло табаком.

— Здравствуйте! — смущенно сказал Второв.

— Здравствуйте!..— протянул брюнет.

— Здоровеньки булы! — подмигнул блондин с редкими прямыми волосами и узким лицом.

Брюнет поставил недопитую мензурку на стол и вопросительно посмотрел на Второва. Блондин колебался, но выпил (он тоже пил из мензурки), взяв для закуски кусок колбасы и белый хлеб.

— Прошу прощения, я, кажется, помешал?

— Ничего, ничего,— сказал блондин.— А вам кто, собственно, нужен?

— Моя фамилия Второв, мне предложили временно руководить лабораторией...

Блондин, покраснев, аккуратно поправил газету, словно его смущало обнаженное тело колбасы и красные пятна томата.

Брюнет начал медленно пятиться. Полоска света от окна между ним и краем стола стала расти так мучительно медленно, что Второву захотелось подтолкнуть его.

— Отмечаете? — неопределенно сказал он и шагнул мимо стола к окну, где стояли приземистые шкафы с книгами. Второв чувствовал, что тоже начинает краснеть, нужно было как-то действовать.

— Вы попали в самую точку: перерыв у нас, вот отмечаем,— выдохнул блондин.— День рождения вот... у него. А здесь кабинетик пустует. Вот мы и собрались обмыть, так сказать, его...— Он ткнул пальцем в брюнета, уже успевшего отдалиться на почтительное расстояние от стола и приблизиться к распахнутой настежь двери.

Тот застыл на несколько мгновений, соображая, к чему ведет подобный поворот ситуации.

— Да,— неуверенно сказал он,— день рождения у меня. Я родился.

Брюнет уже освоился и решительным шагом приблизился к столу.

— Может, вы с нами за компанию, так сказать? — нарочито веселым голосом спросил он и взялся за колбу.

— Вот именно! В честь знакомства,— заулыбался блондин...

Второв посмотрел на них. Черти этакие! Блондин, должно быть, плут и пройдоха, каких свет не видывал.

— Спасибо,— сказал Второв,— не пью. А вы пейте.

— Как вас величают-то? — полюбопытствовал блондин.

— Александр Григорьич.

— А меня Сергей Федорович Сомов, я главный механик в этой лаборатории, а он электрик наш, Анатолий Стеценко, значит. Ваше здоровье!

Выпив, Сомов развеселился. По его лицу разлился румянец, глаза заблестели. Он толкнул в бок «именинника»:

— Вот не гадали, Стеценко, что мы сегодня с тобой будем новое начальство обмывать! А?

— Да,— сказал Стеценко басом,— это уж факт.

— А кто сейчас лабораторией Аполлинария Аристарховича командует? — спросил Второв.

— Считается, что новый директор,— словоохотливо объяснил Сомов, беря кусок колбасы,— но мы видели его за это время всего один раз. Оно, правда, после Аполлоши, не в обиду будет сказано, Филипп будет помельче. И фигурой, и головой не вышел. Правильно, Анатолий?

— Точно. Насчет головы не знаю, а с фигурой у покойника было все в порядке. Высокий, плечистый, и сила у него была дай бог.

— Да, а ведь старик, пенсионер, считай. А как тогда он эту тележку свернул, а? — Сомов просиял, словно он сам совершил этот подвиг.

— Какую тележку? — удивился Второв.

— Было тут одно дело,— улынулся Стеценко.— Старик выезжал со двора на своей машине, а в воротах на-

ши подсобники застряли с тележкой, на ней возят корм для зверья. Мотор заглох, и как-то она у них так развернулась, что стала поперек — ни пройти, ни проехать. Ждал, ждал академик, а работяги копошатся — и ни с места. Известное дело, народ неумелый...

— Новички, — разъясняюще вставил Сомов.

— Да. Одним словом, рассвирепев, Аполлон выскочил из машины и вывернул все в кювет. И понес, и понес...

— А в ней не меньше трехсот килограммов, — сказал Сомов.

— Больше, — заметил Стеценко.

— А свидетели этого происшествия, наверное, были под хмельком? — улыбнулся Второв.

— Ей-ей, Александр Григорьевич, — горячо запротестовал Сомов, — вот вы не верите, а пойдите спросите хотя бы нашу лабораторию, да и весь институт вам точно скажет...

— Что же скажет мне институт?

— Необыкновенный человек был покойник. То есть такие номера откалывал, уму непостижимо. Особенно в последнее время, перед смертью.

— Ну посудите сами, товарищи: старику за шестьдесят, а он такие тяжести ворочал. Вы можете быть самокритичными?

— Мы очень критичные, — убежденно сказал Стеценко, — но такое дело было, это факт.

— Да, — подтвердил Сомов, — было, ничего не скажешь. А какой у него глаз, ого! Все видел, все помнил! Как у нас в лаборатории прорабатывали Николая, помнишь, Толя?

— Все тогда говорили об этом, — кивнул головой Стеценко.

— Вы знаете, у нас здесь один парень проштрафился, прогулял два дня, — рассказывал Сомов. — Разбирали его дело на собрании коллектива лаборатории, и нужно было рассказать, как Николай пришел на работу, что делал, — одним словом, дать характеристику. Сам Николай сказал два слова и молчит. Тогда выступает академик. И как начал!.. Вот уж голова, я вам скажу! Все описал: когда Николай поступил, как был одет, что говорил. Даже цвет туфель запомнил. И что Колька курил сначала сигареты

с мундштуком, а затем бросил и перешел на папиросы, тоже упомнил.

«Легендарная личность», — подумал Второв. Его стала немного раздражать предупредительная словоохотливость механиков, и он прекратил расспросы.

Сомов, видно, почувствовал скрытую напряженность нового начальника. Он свернул газету и прихватил колбу.

— Мы пойдем, Александр Григорьевич. Спасибо за компанию. Извиняйте, если что не так. Пошли, Стеценко.

Они ушли. Второв открыл окно. В комнату ворвался лес, свежий и пахучий. Где-то совсем рядом пели птицы; казалось, что их пронзительные голоса раздаются в самом кабинете.

«А ведь здесь действительно неплохо. Тишина, свежий воздух, и людей в лаборатории немного. Кузьмич молодец, что сунул меня сюда. Немного передохну от сумасшедшей гонки...»

Второв потянулся, зевнул и тряхнул головой, отгоня назойливые мысли о неоконченной работе по вторичным структурам ферментов. Где-то среди обрывков формул и реакций всплыл голубой конверт с письмом и тут же исчез, смытый новым потоком мыслей.

— Директора, пожалуйста...— Телефонная трубка, тысячи раз бывавшая в руках Кузовкина, была холодной и очень чужой.— Филипп Васильич? Это Второв. Алексей Кузьмич звонил вам?.. Да, я согласен. Знакомлюсь с лабораторией. К концу дня зайду к вам. Нет, для меня очень важно первое впечатление, а потом я буду готов выслушивать разъяснения... Вы правильно поняли меня. Добро.

Второв улыбнулся и положил трубку. Филипп явно обрадовался. Ему нелегко тянуть неожиданно свалившийся на него груз. Покойный академик директорствовал, заведовал лабораторией и одновременно участвовал в многочисленных советах, консультативных органах, комиссиях и организациях. Филипп, с которым Второв кончал биологическое отделение университета, был слишком молод и неопытен для подобной работы. Он задыхался в потоке писем, предложений, приказов, планов, запросов, ответов, претензий, заявлений, жалоб... Ему хотелось сделать все наилучшим образом, а это невыполнимо. Никогда не получается, чтобы все было одинаково хорошо.

Примат главного над второстепенным еще не был осознан новым директором Института биологии. Поэтому появление Второва воспринималось им как спасение. Второв избавлял его от необходимости совмещать с директорским постом заведование лабораторией генетических структур, как это было при Кузовкине...

— Разрешите? — На Второва преданно смотрел темноволосый мужчина.

Этим вопросом началось знакомство с сотрудниками, которое закончилось уже вечером. Второв пожал десятка два рук, обошел «башню» с первого по пятый этаж, поговорил с множеством незнакомых людей и в итоге безумно устал.

Недельский, старший из молодых, близкий ученик Кузовкина, произвел на него довольно неприятное впечатление. «Талант, обильно сдобренный цинизмом, его легко отличить по смрадному запаху. Как трудно иметь дело с такого рода людьми! На таких нельзя положиться, они начинают предавать уже в утробе матери... А вот этот... Гарвиани — забавный тип. Хитер, хитер... но, кажется, с головой... Артюк очень легкомысленный. Впрочем, надо проверить... Бесчисленное множество девочек из специальной школы, лаборантки, лаборантки...» — подводил итог Второв.

Он сидел в кабинете и устало перебирал впечатления от всего, что увидел и услышал за день. Сцены и слова, обрывки фраз, случайный взгляд и многозначительная пауза — все это надежно отпечаталось в его памяти. Сейчас из мозаики ощущений и впечатлений ему предстояло составить нечто, именуемое лицом лаборатории. А потом решить: оставаться ли ему здесь или отказываться.

Рабочий день кончился, и Второв уже собрался уходить, когда девушка-курьер принесла пакет из плотной бумаги с печатями.

— Это вам, — сказала она.

Увидев фамилию Кузовкина, Второв сначала рассердился, потом рассмеялся.

— Я же еще не принял дела! Сегодня первый день...

— Филипп Васильевич сказал, что вы разберетесь. Если что нужно, звоните ему.

— Хорошо, оставьте.

«Жулик этот Филипп! — подумал Второв, рассматри-

вая письмо.— Обрадовался... В первый же день насел на человека. Придется с ним воевать. Он в пылу административного рвения завалил меня бумажками...»

Письмо было из Госкомитета, имеющего непосредственное отношение к космическим делам. Второв бегло пробежал первые строки: «...доводим до сведения дирекции института и коллектива лаборатории генетических структур, что нами до сих пор не получен отчет по теме



№ 17358. Исследование, начатое полтора года назад академиком Кузовкиным А. А., включено в план особо важных государственных работ по изучению космоса.

Информационные отчеты по этой теме, полученные от вашей лаборатории, носят общий характер и не могут служить достаточным материалом для каких-либо выводов по изучаемому вопросу.

Прошу сообщить, в каком состоянии находится работа и к какому сроку лаборатория вышлет заказчику окончательный отчет.

*Главный специалист
доктор физ.-мат. наук*

Слепцов Н. Н.»

Второв немедленно набрал телефон Недельского.

— Виктор Павлович, кто у вас работал по теме семнадцать тысяч триста пятьдесят восемь?

— Не могу знать, Александр Григорьевич. А почему вы обратились именно ко мне?

— Вы старший научный сотрудник, и мне показалось, что...

— Вы ученый и знаете, как ошибочно все основанное на слове «показалось». Мне, конечно, приятно, что вы отметили мою скромную фигуру, но вы ошиблись. При по-

койном Аполлинарии Аристарховиче не я был его заместителем, а Рита Самойловна. Вам придется набрать номер телефона двенадцать шестьдесят пять, она в соседней комнате. Торопитесь, рабочий день кончается, а Риточка долго не задерживается.

— Рита Самойловна? — Второв был так удивлен, что не успел переспросить Недельского, и тот уже положил трубку.

Во время сегодняшнего обхода был момент, когда Второву удалось оторваться от сопровождающих его лиц и остаться одному. Он очутился перед узкой стеклянной дверью, покрашенной изнутри белой масляной краской. Когда он вошел в комнату, то увидел там женщину, которая показалась ему несколько странной. Чем? Этого он так и не понял.

Она сидела за маленьким столиком и равнодушно смотрела сквозь Второва. Ее взгляд, не задерживаясь, уносился прочь. Прямой, строгий, печальный. Равнодушный, как дневной свет. Он пролетал сквозь атмосферу и растворялся в космической бездне.

«Сейчас она, наверное, видит звезды... Сириус, Кассиопею или... Черную пустоту», — подумал Второв и негромко кашлянул.

Лицо женщины на секунду исказилось, как бы от внезапной боли. Она возвращалась из своего далека мучительно и неохотно; за бегство от миража она платила страданием; большие светло-серые глаза сразу же сузились и потемнели. Словно схваченные цементным раствором, каменели мускулы лица, утрачивая нежные и зыбкие линии. Чуть приоткрытый рот сжался в напорежную полосу. Это была Рита Самойловна.

Ее не очень выразительные ответы раздосадовали Второва. Казалось, она хотела побыстрее от него отделаться. Либо просто не могла собраться с мыслями и отвечала невпопад.

«Кузовкин окружал себя невзрачными людьми, чтобы оттенить собственную оригинальность», — подумал он в первую минуту. Но сразу же засомневался, так ли это. Слишком уж яркой личностью был академик...

И вот, оказывается, эта серая научная мышка была правой рукой академика. Второв пожал плечами и вызвал Риту Самойловну к себе.



Она вошла походкой усталой и чуть развинченной и, ничего не сказав, посмотрела на него. Конечно, она сейчас витала где-то очень далеко от него, но сознание ее было мобилизовано.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал Второв. — Вот письмо, прочтите и объясните, как на него ответить.

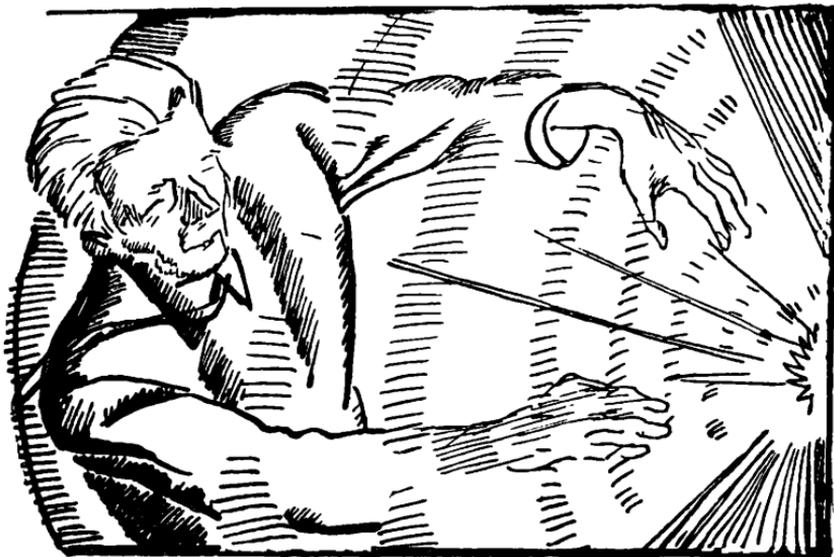
Риточка (он про себя называл ее так из-за хрупкости, худобы и детской нежности шеи) села в кресло и взяла бумажку. Второв разглядывал ее аккуратную, очень модную прическу и думал, почему эта женщина вызывает у него чувство жалости. Она далеко не беспомощна, во всяком случае не так, как это кажется ему, Второву. И все же чем-то она напоминает обиженного ребенка.

— Так что же им можно написать? — спросил он и увидел, что она плачет.

Рита плакала, не поднимая головы, слезы падали на письмо. Подпись доктора физ.-мат. наук Слепцова тонула в чернильном подтеке. Второв осторожно взял письмо из ее рук.

— Что с вами? Вам плохо?

«Какие глупые вопросы задают люди в минуты растерянности! Конечно, плохо! Очень плохо!»



— Я не знаю, не знаю, что им надо отвечать! — Она запрокинула голову, и Второв увидел в ее глазах ужас. Это был животный страх загнанной жертвы. В ее искренности не приходилось сомневаться.

— Успокойтесь. Хотите воды?

Воды она не хотела, она ничего не хотела, ей было очень плохо, очень-очень плохо.

Второв разозлился:

— Я, конечно, сочувствую... Я вижу, что вы глубоко взволнованы, но... простите, я не могу допустить, что причиной, черт возьми, является вот эта писулька! — Он помахал в воздухе посланием Слепцова.

— Разве дело в письме? Все гораздо сложнее.— Рита Самойловна перестала плакать и, вытирая глаза, смотрела на Второва обреченным взглядом.— Я знала, что так и будет, я знала, что они не позабудут. Это слишком важная вещь... Как они могли забыть про нее...

— Простите, Рита Самойловна,— сказал Второв,— но я вынужден, вы поймите меня правильно, вынужден настаивать, чтобы вы были откровенны со мной, иначе я ни в чем не смогу разобраться. Я здесь новый человек, и вы должны мне помочь!

Рита покачала головой. Казалось, она начала успокаиваться.

— Все так говорят,— задумчиво сказала она.— Он тоже говорил: «Ты должна помочь мне». А потом он услышал, как капает вода в блоке фокусировки, бросился к установке, его руки попали в кварк-нейтринный поток... Затем произошел взрыв. Он погиб, это было естественно, а я осталась жива. Вот в чем дело, товарищ новый начальник лаборатории. Я утром еще хотела вам это рассказать, но сдержалась, неудобно было так сразу удивлять нового человека своими странностями. А теперь я рассказала, и мне легче. Я всем это рассказываю, мне становится легче, но потом я снова вижу эти руки с белыми манжетами...

Она закрыла вялыми, словно из пластилина, пальцами лицо, и сквозь них потекли слезы.

«Вот опять плачет»,— с тоской подумал Второв и немело принялся утешать. Он предлагал ей воду, гладил ее по голове, осторожно похлопывал по плечу.

«Вот ситуация!..— думал он.— Науки особой я не вижу, но зато эмоций — как на сцене».

Когда Рита утихла, он спросил:

— Какая работа проводилась с образцами, полученными из комитета?

— Какая? Обычное химическое и физико-химическое исследование. Я хорошо помню ампулу, которую нам доставили из комитета. Она была в свинцовом ящичке. Почему в свинцовом? Смешно! Они, наверное, боялись радиоактивности. На ящичке был замок с секретом. А секрет-то нам и не прислали! Вот мы и ломали голову. Но он открыл его. Он все мог, если хотел.

Она на миг замолчала, потом продолжала:

— ...Начало закипать в узле фокусировки. Знаете, как закипает вода в таких закрытых сосудах? Толчки и удары, сначала небольшие, потом сильнее, сильнее, а потом — шширх!.. Очевидно, где-то была тонюсенькая дырочка, и через нее пар засвистел. И тогда он бросился к аппарату, а его руки попали под этот проклятый кварк-нейтринный луч. Затем взрыв — и все было кончено... А я осталась и сижу здесь с вами, разговариваю о том о сем...

«Обалдеть можно!» — подумал Второв.

— Но ведь прошло уже столько времени... — робко заметил он, — и...

Второв не закончил свою мысль: Рита неожиданно грозно взглянула на него, и он вновь ощутил странную силу ее отрешенного взгляда.

— Все началось с нее, с ампулы, и если б я могла предвидеть! — говорила она, как во сне. — Предвидеть, видеть, любить, ненавидеть... Если бы я могла не видеть этих рук, они струятся и осыпаются, как песок, но это не тот речной или морской песок, за которым взрыв и больше ничего. Все разметано, разнесено, и вот я сижу здесь и разговариваю с вами о том о сем...

«Сумасшедшая! Типичный случай маниакального бреда», — ужаснулся Второв.

Наступило тягостное молчание. Женщина, казалось, совсем успокоилась и равнодушно глядела в окно.

«Она удивительно быстро умеет переключаться. Вновь унеслась в космические дали. Ну и денек у меня! Ибо сказано: понедельник — день тяжелый. Правда, сегодня не понедельник — вторник. Чего же она теперь молчит? Глупость какая-то! Как всегда трудно с женщинами — своенравный народ. А глаза у нее приятные».

— Может, вы не хотите объясняться со мной, новым для вас человеком? Тогда пойдемте к Филиппу Васильевичу, он нас выслушает.

— Нет. Зачем? — Рита Самойловна говорила очень спокойно, чуть хриловатым голосом курильщицы. — Вся беда в том, что я ничего больше не могу рассказать. Вот и все... Ровным счетом ничего.

Она поднялась и ушла, не обернувшись и не попрощавшись.

— Пойдите! — крикнул Второв. — Что же мне делать с этим письмом?

— Что хотите.

Дверь закрылась без стука, но довольно стремительно. Второв разволновался. Поведение Риты Самойловны было вызывающе бессмысленным. Он решил пойти к директору...

И тут он вспомнил вдруг одну из своих заграничных поездок. Полустершийся эпизод десятилетней давности просочился из полузабытья. Словно вместе с Ритой вошел странный больной Артур и незримо присутствовал при их

беседе. Почему вдруг Второв вспомнил про Артура? Он не задумывался над этим и вряд ли смог бы найти этому ясный ответ. Просто вспомнил! Потому что от Риты повеяло вдруг той нездоровой нервозностью, которая тогда, в трюмах «Арлтона», сдавила ему сердце. Так бывает иногда в жизни. Это аналогия чувств, сопоставление в подсознании. Но нам редко удается перебросить мост от неуловимого ощущения к трезвому рассудку. Не удалось это и Второву...

Когда Второв рассказал о письме из комитета, Филипп забеспокоился.

— Черт возьми, могут быть неприятности! Заказчик то больно задиристый. Знаешь, как с ним связываться? А что же Рита говорит? Впрочем, ладно, по дороге расскажешь. Пора домой.

...Директор уверенно вел вертолет. Они плыли над темно-синей вечерней землей, осыпанной кое-где золотыми точечками света. Второв рассматривал Филиппа сбоку.

«Студентом он казался крупнее. Совсем высох за эти десять лет. Маленький озабоченный лоб тревожно насуспен. Любят люди власть, и чем меньше человек, тем больше власть ему нужна».

— Слушай, Филипп, что с этой Ритой Самойловой? Она произвела на меня странное впечатление. Все время рассказывала о том, как погиб Кузовкин, и больше ни одного слова я не смог из нее вытянуть. Так и ушла.

— Да, да,— забеспокоился Филипп,— мне говорили, что она вроде слегка помешалась после гибели старика. Совсем больной человек. Надеялись, что время ей поможет, но, кажется, наши прогнозы не оправдываются. Придется взяться за ее лечение по-настоящему... Должен признаться тебе, что положение у меня нелегкое. Хозяйство после Кузовкина мне досталось сложное и в ужасном беспорядке.

— Я уж заметил. В маленькой лаборатории такое разномыслие, такой разброс в исследованиях, что непонятно, как можно руководить и направлять эту разношерстную орду. Тут и физики, и техники, и химики, и кто угодно.

— Аполлон был дьявольски талантлив,— сказал Филипп,— он умел из ничего сделать что-то вкусное.

— Знаю я,— отмахнулся Второв,— академик с эклектическим уклоном! Политехника в исследованиях хороша в начальной стадии, а затем продвижение вперед возможно только при концентрации больших сил на очень узком фронте исследований. Сила исследовательского давления должна измеряться тысячами тонн. На меньших величинах в наши дни далеко не уедешь. Только очень сильное давление! Тогда возможен успех.

— Ты уверен? — Филипп, не поворачивая головы, скопил глаза на Второва.

— В чем можно быть уверенным? Природа хитра, хотя и незловредна.— Второв смотрел в окно, где над синей мглой брезжило ржавое зарево огня. Москва была уже близка.— Истина представляется мне сверхпрочным материалом, разрушить который можно, только сосредоточив огромные усилия на очень маленькой площади.

— А стоит ли разрушать истину?

— Познание идет дорогой развалин. Анализ — суть расчленение.

— Из развалин вырастают новые здания. Но шутки в сторону. Что будем делать с письмом из комитета?

— Ты директор.

— Я директор и поэтому поручаю тебе это деликатное дело. Письмо и аннотация отчета должны быть направлены в комитет не позднее следующей недели.

Второв не ответил. Становилось все светлее. Профиль Филиппа, казалось, был вырезан из жести. Москва подмигивала и улыбалась гирляндами огня. Они находились уже в пределах третьей зеленой зоны.

— Давай, Филипп, договоримся с самого начала...

Директор молчал. Третьей в их вертолете сидела неприятель. Она еще не мешала дышать, но уже занимала много места. У нее были злые глаза, она молчала, но взгляд ее чувствовали оба.

— Давай договоримся, Филипп, что будем работать, а не командовать.— И, помолчав, сухо отрезал: — Я еще не принял дела, и у меня есть время подумать.

— Ты меня неправильно понял.— Неприязнь улепетнула через закрытую дверь, в кабине стало свобод-

нее.— Это прозвучало совсем не так, как я того хотел. В потенции это была безобидная шутка.

— Потенции, как правило, невидимы для постороннего глаза, их могут оценить только те, кто ими обладает.

Прощаются они тепло, почти дружески. Дальше Второв поедет обычным транспортом. От Химок идет метро.

Дома Второв прежде всего прочел письмо от жены. Через несколько минут он вышел из своей комнаты с распечатанным конвертом.

— Мама, она приедет на этой неделе...

Мать осторожна, мать чутка. Она накрывает на стол, ее руки и голова заняты, она не торопится откликнуться на новость.

— Да? — Это не вопрос, но и не удивление. Скорее, эхо.

— Ты представляешь? — Он криво улыбается, но глаза не очень веселые.

— Ты рад?

Мать никогда не простит невестке, сделавшей ее сына несчастным, но она пойдет на все, чтобы только ему было хорошо.

Второв пожимает плечами. Он не знает, он никогда не мог разобраться в этом проклятом вопросе.

— Тебе нужна жена. Тебе уже тридцать пять. Я только не уверена...

Второв смотрит на мать.

— ...что это должна быть именно Вера,— с трудом договаривает она.

Невестке нет прощения, она должна нести кару, но и сын... Очень трудно быть объективной и справедливой.

— Пятьдесят процентов вины лежит на тебе.

Второв опускает взгляд в тарелку. Таковы они, женщины: думают изменить мир голыми руками.

— Нет, двадцать пять,— говорит он.

— Не шути, мой мальчик, не смейся. Ты очень плохой муж. Ты не держал жену в руках, ты просто позволял ей существовать рядом с тобой.

— Это, по-моему, истинная интеллигентность.

— Ты плохо знаешь женщин.

— С нас слишком большой спрос. Мы должны знать языки, математику, химию, астрономию, политэкономия

и женщин тоже. Я считаю, что программа несколько перегружена.

— Может быть, но это жизнь.

— Да, ты права. Но все же я хотел бы кое-что исключить из своей жизни.

— Что же?

— Избыточную информацию. Беспольное знание существа женской натуры.

Мать вздыхает:

— Не думаю, чтобы это было бесполезно. В общем, смотри сам. Все мужчины так самонадеянны!

Мать уходит, а он остается. Она уходит, чтобы набрать силы для новой атаки. Она возвращается и приносит слоеные хрустики.

Эти нежные спирали из подрумяненного теста автоматически переводят стрелку времени назад, в детство. Второв улыбается и запускает руку в вазу.

— Будет серьезный разговор, мама?

— Да, сынок.

— О чем?

— О тебе.

— Тема выбрана не совсем удачно. Разработка указанного направления малоперспективна.

— Возможно, но... оставим шутки. Что ты думаешь делать с Вероникой?

Второв поморщился.

— Как — что? Встретимся, поговорим, обменяемся впечатлениями, и, пожалуй, все.

Мать поджала губы и посмотрела в окно.

— Слушай, Саша, так это продолжаться не может. Уже прошло много лет с того момента, как эта женщина ушла от тебя. Она бросила тебя ради легкой жизни...

— Прости меня, мать, — торопливо перебил ее Второв, — мы с ней просто разошлись, давай будем говорить о ней уважительно. Да и не знаем мы, насколько легка ее жизнь. А кроме того, заочно осудить человека, ты сама понимаешь, просто нехорошо... Лично она во многом и не виновата. Так уж ее воспитали.

Наступило долгое молчание.

«Какой тяжелый и неприятный разговор! Кому это нужно? Почему люди должны мучить друг друга?»

Но мать решила довести расследование до конца. Она еще плотнее сжала губы.

— Я не имею права говорить так, как я говорю,— сказала она упрямо.

— Ну хорошо, хорошо, мама...

— Видишь ли, Саша, возможно, что ты ее еще любишь, даже наверное так это и есть, иначе какой нормальный мужчина позволит водить себя за нос так долго...

— Я псих, мама.

— Не паясничай. Ты должен понять, что я ничего против Вероники не имею. Я могу понять ее как женщина, но я не могу согласиться с ее поведением. Да, я ее осуждаю. Но ты тоже неправ. Ты неправ по существу. И я тебе заявляю: так продолжаться не может.

— Что же делать?

— Ты должен забыть о ней!.. А может быть, она хочет вернуться? Хотя я не знаю, с каким лицом она могла бы это сделать. У тебя должна быть семья, дети. Пора уж наконец... Неужели у тебя нет знакомых женщин, которые...

Второв молчал, опустив голову на руки.

— Мама, как ты думаешь, зачем мы живем на свете? Мать внимательно взглянула на него и улыбнулась:

— Поздновато приходит к тебе этот вопрос.

— Раньше некогда было, я отвлекался.

— Не притворяйся. Ты все и сам отлично знаешь.

— Свой ответ я знаю, мне хочется знать твой.

— Я лично вижу смысл жизни в исполнении долга по отношению к тебе и... другим людям.

Второв улыбнулся:

— Да, мама, это я чувствовал всю жизнь. В течение тридцати с лишним лет я тоже выполняю свой долг, но сейчас меня интересует вопрос, в чем смысл этого долга.

— Делать добро, быть справедливым...

— Ты считаешь, если я раз и навсегда оттолкну от себя Веронику, это будет добро по отношению к ней?

Мать чуть покраснела и встала.

— Прости меня, мама, я не хотел тебя обидеть.

— Нет, я понимаю.— Она отстранила его протянутую руку.— Но, если хочешь внести ясность, необходима требовательность к себе и другим, иначе все можно так запутать, что и...

— Ясность, ясность! — воскликнул Второв, вскакивая со своего потертого кресла. — Моя милая мамочка, ты хочешь невозможного! У кого есть ясность, кто может взять на себя смелость сказать, что у него все в жизни ясно и просто? Кто? Ты? Я? Да нет же, ей-богу! Все очень сложно, запутанно, не просто. В нашей жизни нужна не ясность, а чуткость. Мы любой узел считаем гордиевым, мы слишком часто и слишком легко вынимаем меч, для того чтобы разрубить сложные узлы наших взаимоотношений. Люблю ли я Веронику? Не знаю, мама! Не знаю, можешь не смотреть на меня так. Любит ли меня она? Не знаю, мама! Я ничего не знаю, понимаешь, почти ничего!

— Не кричи.

— Я не кричу, я просто хочу, чтобы ты поняла, что у меня, да и у нее, есть больное место, которое... которому... — Второв осекся и махнул рукой.

— Успокойся, — сказала мать.

— Я не волнуюсь, мне просто трудно об этом говорить.

— Хорошо, не будем. Только помни: между слабохарактерностью и настоящей добротой большая разница. Нужно быть мужественным и твердым в некоторых вопросах.

— Мама!

...В этот вечер Второв долго сидел за своим письменным столом, уставившись невидящим взором в окно, за которым полыхала многочисленными огнями Москва. Разговор с матерью взволновал его.

«Ну что за жизнь, ей-богу! — думал он. — Кажется, уже давно определена главная цель, сделан выбор, отступлений нет и быть не может, и все же время от времени приходит полоса сомнений, каких-то мелких необоснованных разочарований. Почему? Ведь все правильно... Вторичные структуры белков — тема увлекательная, тема грандиозная, нужная людям, нужная стране, промышленности. Каким откровением был первый искусственный синтез белка! Ученые и пресса трубили во все серебряные фанфары: у природы отнята одна из самых главных тайн жизни, люди научились производить кирпичи, из которых

создано все живое. Сенсация, сенсация, сенсация! Приемы и конференции, приемы и конгрессы. А затем наступило разочарование. Оказалось, что мало научиться собирать из отдельных химических групп белковую молекулу, по составу совершенно одинаковую с природным белком. Нужно было привести эти молекулы во взаимодействие со средой и определенным образом расположить в пространстве. Возникла проблема вторичных структур, структур высшего порядка. Оказалось, что активность белка находится в поразительной зависимости от геометрической конфигурации молекулы».

Второв был крупнейшим специалистом Союза по вторичным структурам искусственных биополимеров. Его лаборатории удалось приблизить активность белка, синтезированного *in vitro* к активности природного белка. К сожалению, только для двух типов белка были получены положительные результаты. Только для двух! А их насчитывалось около тысячи!

Тысячи искусственных белков должны были пройти через руки структурщиков, прежде чем попасть в больницы и к технологам.

«А я, как назло, связался с лабораторией Кузовкина. Зачем она мне нужна? Ведь совершенно нет времени, да и Филипп, очевидно, не очень легкий человек. Ни к чему мне дополнительные заботы о чужой тематике. И обстановка в лаборатории странная. Одна Рита Самойловна чего стоит! И с этим комитетом неприятностей не оберешься... Они либо образцы потеряли, либо... Почему Рита плакала? Нет, нет, с этими загадками нужно расстаться. Завтра же пойду и скажу Кузьмичу, твердо скажу, глядя прямо в глаза: «Я не согласен. У меня слишком много работы, своей работы, нужной работы». Пусть Филипп сам расхлебывает кашу, заваренную покойным академиком-электиком».

В этот же вечер на самый большой московский аэродром, расположенный в Домодедове, прибыл самолет из одной латиноамериканской страны. Среди пассажиров была высокая, тонкая шатенка с серьезными серыми глазами. Она легко сбежала по трапу и остановилась, чему-то улыбаясь. Ее обгоняли высокие темнокожие иностран-

цы. Один из них заглянул в мокрое от слез лицо женщины и спросил по-русски:

— Мадам, помочь?

— Зачем? Я дома! — Она энергично зашагала к зданию аэропорта.

Женщину никто не встречал, но это, казалось, не очень ее трогало. Она с легкой улыбкой прислушивалась к звукам поцелуев и восклицаниям, которые раздавались вокруг. Эта улыбка не сходила с ее лица, когда она ехала в такси и когда получала ключи от номера в первой-классной гостинице «Россия». И, только набирая номер, она на мгновение стала серьезной и в ее глазах проглянули тревога и робость. Она остановилась на последней цифре и положила трубку на рычаг. Она больше не улыбалась, глаза ее погасли, сильные пальцы нервно барабанили по столу. Теперь было видно, что она немолода, не совсем молода, и очень устала, и ей не идет неровный пятнистый загар на шее и на щеках. Ей было немножко страшно и неловко, она помедлила, засмеялась и набрала номер.

...За несколько минут до того, как прозвучал телефонный звонок, Второв почувствовал странное неприятное волнение. Он готов был поклясться, что с ним произошел обморок или легкое головокружение. Во всяком случае, некоторое время он находился в забытьи, в этом он был уверен. И вот где-то в комнате кто-то произнес:

— Помогите!

Голос был женским, конечно женским. Каким же ему еще быть? Он доносился издалека, глухой, придавленный неведомым грузом. Женщина кричала:

— Помогите!

И Второв увидел ее лицо в радужных пятнах света, отброшенного настольной лампой. Потом он себя уверил, что не было никакого крика и он не видел никакого лица. Потом ему очень легко удалось доказать себе, что ничего не было, кроме легкого головокружения. Тем более, что резкий звонок телефона смыл с него забытье, как холодный душ — усталость.

— Это Вероника. Я уже здесь. Если хочешь меня видеть, приезжай сейчас.

— Здравствуй, Вера. У тебя космические темпы. Я только два часа назад прочел в твоём письме, что ты

собираешься приехать, вернее, прилететь... Уже одиннадцать часов. Это не поздно?

— Ресторан работает до двух, кроме того, здесь есть ночной бар. Я буду ждать тебя там за столиком, слева от входа.

«Самое главное — не поддаваться с ходу ей. Нужно устоять во что бы то ни стало». Второв напрягся до предела.

— Слушай, Вера, давай отложим на завтра. Ты все-таки устала. Да и я... Все это так неожиданно.

Он замолк. Трубка тоже молчала.

— Ну хорошо, — равнодушно сказала женщина, — завтра так завтра.

«Ну и денек!» — подумал Второв.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Все повторялось. Повторялся вчерашний день. И летний воздух так же был пронизан множеством запахов: бензина, разогретого асфальта, тополей. Как и вчера. Второв направился в кабинет директора, где катил серо-голубые волны необъятный нейлоновый ковер. Все повторялось. Только память каждый день накручивалась на новый валик. И Второв думал сегодня не о письме. Он вспоминал голос. Ее голос. Он проклинал себя за то, что не поехал. Не спал почти всю ночь. Мучился и размышлял. Вдруг она уедет? Обидится? Обозлится? Не захочет больше видеть его... Но не мог же он, в самом деле, по первому зову, по небрежному, едва заметному движению пальца вновь ползти к ее ногам. Есть же у него, наконец, мужское самолюбие! Есть ли? А может... Да если и есть, нужно ли оно здесь, в этом случае, когда приехала она? Она!.. Ну и что? Приехала себе и приехала. Он-то тут при чем? Ведь жил же он без нее столько! И не так уж плохо жил...

Второв толкнул дверь с самым решительным видом. Он должен отказаться от совместительства. Он категорически возражает, просто не может, физически не может, черт побери, руководить двумя лабораториями! Пусть назначат заведующим лабораторией Недельского, он один из лучших учеников Кузовкина. Или ту же Риту

Самойловну. Не бог весть что, но все же... А он не может...

— Дорогой Александр Григорьевич, у вас прекрасный вид! Свежий воздух явно идет вам на пользу.— Алексей Кузьмич вспорхнул над столом и приветливо затрепетал крылышками.

«Погоди ж ты, старый лицемер!» — подумал Второв и упрямо сжал губы.

— Не знаю, как вид, а вот сейчас наш институтский врач предлагал бюллетень.

— В чем дело, батенька? — всполошился директор.

— Да вы же знаете, кровь у меня неважная. Лейкоцитов не хватает.

— Ну,— улыбнулся Алексей Кузьмич,— только не слушайте никаких врачей. Они помешаны на профзаболеваниях. Чуть у кого на пару лейкоцитов меньше нормы — лейкоцитоз, выше — лейкоemia. Не слушайте, не поддавайтесь их внушениям. Залечат, запилят, а то еще облучать начнут. Не поддавайтесь им.

— Я и не поддаюсь, но все же, Алексей Кузьмич, я пришел к вам с твердым решением.

Зазвонил телефон. В дверь заглянула очаровательная Нина Петровна:

— Алексей Кузьмич, возьмите трубку, вам загородный.

— Простите.— Директор снял белую трубку. Его лицо расплылось в торжественной и хитрой улыбке: — Здравствуйте, Филипп Васильевич! Очень рад... Я надеюсь... Да, надеюсь. Вы меня не расслышали? Ага! Да. Он как раз здесь, передаю ему трубку.

Голос Филиппа был далекий и жалкий. Он слагался из бульканья, хрипов, вздохов и малопонятных слов.

«Черт побери, когда же подмосковные линии будут работать хорошо! Легче переговорить с Каиром, чем Малаховкой».

«Если можешь, приезжай сегодня,— просил Филипп.— Ради бога, приезжай, у нас тут несчастье». — «Какое несчастье?» — «Погибла Рита». — «Рита Самойловна?» — «Ну да, она самая, ты же ее знаешь, вернее, ты ее знал. Приезжай, здесь нужен крепкий человек». («Это я крепкий человек!») — «А от чего она погибла, почему?» — «Приезжай, все узнаешь, я тебя жду, мне одному не справиться».

ся... С оформлением? Ах, с твоим! Ну, это пустяки, приедешь, все сделаем».

Второв положил трубку и оглянулся. Директора в кабинете уже не было. Его кресло торжественно пустовало. Второв вышел в приемную и спросил секретаря:

— Нина Петровна, куда девался Алексей Кузьмич?

— Он пошел в обход института, по лабораториям, а потом в президиум. Сегодня его больше не будет.

Второв махнул рукой и пошел прочь из слишком гостеприимного кабинета директора.

— Знаешь, я уже совсем было хотел отказаться от лаборатории Кузовкина, но ты своим сообщением выбил меня из колен. В чем дело? Как погибла эта женщина?

Второв сидел в кабинете Филиппа. Тот крикнул секретарше:

— Никого не пускать! Телефон только с Москвой и с областным прокурором!

Так им удалось отгородиться от внешнего мира, но ограда оказалась ненадежной. Она, как тонкая пленка, пульсировала и прогибалась под тревожными толчками, исходившими извне. Филипп был бледен и деловит.

— Ты не представляешь, что творится. Охрана вызвала меня около половины двенадцатого. Я спал в кабинете на диване. Здесь уже орудовали медики и эксперты из милиции. Звонил ночью тебе, но ты не отвечал: то ли дома не было, то ли крепко спал.

Второв покраснел. Он думал, что звонит Вероника, и притворился спящим, сунув голову под стопку подушек.

— Так что же это было? — спросил он.

— Эксперты полагают несчастный случай... или самоубийство. Я не знаю, что и думать. Рита оказалась на высоковольтных контактах, по которым поступает питание на нашу кварк-нейтринную пушку.

— Там что, нет ограждения?

— Да боже мой, конечно, есть! Вертикальные сетки. Впечатление такое, будто она подпрыгнула и упала туда. Причем упала спиной. Эксперт говорит, что ее что-то отбросило и она перелетела через ограду.

Второв помолчал и спросил:

— У нее нет мужа?

— Нет... Она была очень способная. Я прямо теряюсь, с кем ты там теперь будешь работать.

— А Недельский?

— Э, классификатор! Да и характерец не дай бог.

— Она что, работала одна?

— Вот в том-то и беда, что одна. За это с меня сейчас шкуру снимают. У нас нельзя, чтобы вечером меньше двух человек оставалось. Но Рита работник опытный и проверенный. Сама инструкции по технике безопасности составляла. И вот надо же...— Филипп сокрушенно покачал головой.

Он прошелся по кабинету, выглянул в окно, словно там, в темном ароматном лесу, прятался ответ на мучившую его тревогу. Но лес только сочувственно прошумел, покивал ветвями и верхушками сосен и затих. Филипп отвернулся от окна, вздохнул.

— Ты понимаешь, Саша, не нравится мне это дело. И неважно, самоубийство здесь или действительно несчастный случай. Дело в другом, в обстановке. Сама атмосфера эта...— Он покрутил пальцами в воздухе, показывая, насколько ему не нравится атмосфера института.

Второв внимательно слушал. Филипп вызывал в нем сочувствие.

— Ты понимаешь, Саша, я плохо знаю наш институт. Я постоянно в командировках, на заводах, на селе. Мое дело — внедрение. Я и Кузовкина плохо знал, то есть, в общем-то, знал, но так же, как твоего Кузьмича. Когда Кузовкин погиб...

— Я знаю...

— Хорошо, но учти: он погиб в той же комнате, что и Рита. Причем она же тогда экспериментировала с ним. Чудом осталась жива. Взрыв был такой, что всю комнату разнесло, пожар — и от Кузовкина почти ничего не осталось, одна пыль. Это, между прочим, тоже очень подозрительно: от него — пыль, а она целехонька.

— Ночью тоже был взрыв?

— Нет, сейчас взрыва не было. Просто Рита попала под высокий вольтаж... обуглилась... страшная картина.

Второв с интересом взглянул на Филиппа.

«Детектив какой-то получается,— подумал он.— И зачем только я сюда ввязался!»

— Они ставили какие-то эксперименты?

— Да, конечно, — ответил Филипп.

— Наверное, опасные?

— А вот на это могут ответить только они сами.

— Но Рита после смерти Кузовкина давала показания? Или этим никто не интересовался?

— Конечно, давала! И неоднократно. Объяснение простое — взорвалась нейтринная пушка. Вернее, даже не вся пушка, а узел фокусировки. Ты знаешь, там развиваются высокие температуры, и его приходится охлаждать... Одним словом, установить точную причину не удалось. Риту оставили в покое. С тех пор ее считали слегка не в себе. То ли на почве контузии от взрыва, то ли она так была потрясена гибелью Кузовкина, что это вызвало, так сказать, тихое помешательство...

Филипп возбужденно прошелся по комнате.

— Ты пойми меня правильно, Саша. Я просто не могу заниматься всеми этими вопросами. Я чувствую — здесь какая-то тайна, может быть даже драма, но не могу же я заниматься всем на свете! Я определенно чувствую, я даже уверен, что Кузовкин ставил совместно с Ритой какие-то очень опасные опыты, за что и поплатился жизнью. Риту, очевидно, это страшно травмировало. Но что, как, почему — я не могу разобраться...

— Прости, я перебиваю. Что представлял собой Кузовкин как ученый?

Филипп задумался.

— Как тебе сказать... Бесспорно, человек талантливый. Академик как-никак! С оригинальным мышлением... Его научное кредо сводилось к прославлению эклектического метода в науке. Он считал, что время чистых наук кончилось, и даже... время наук, возникающих на стыке, всех этих биофизик, химических физик, биохимий и так далее, тоже кончилось. Он говорил, что природа эклектична по своей сути и подход к ее изучению должен быть эклектичным. Отсюда появление таких его работ, как «Симфонический принцип митоза¹», «Психология макромолекул живой ткани», «Революционное и эволюционное учение о генах»... Ну, да ты знаешь. Эти работы здорово нашумели. Сначала как анекдот, потом их стали цитировать.

¹ М и т о з — клеточное деление.

— Особой популярностью они, кажется, не пользовались, — вставил Второв. — Над ними посмеивались...

— По-разному бывало, — уклончиво сказал Филипп. — У Кузовкина было немало сторонников и даже последователей. Но... самое главное, что покойный академик не оставил цельного учения. Его блистательные идеи изложены в статьях, выступлениях, докладах. Но ни одного фундаментального труда. Поэтому учение Кузовкина часто воспринимается в юмористической форме. Особенно, говорят, академик чудил последнее время. Сам я в институте бывал редко, я уже говорил тебе, но мне рассказывали про старика потрясающие вещи. Однажды на защите какой-то диссертации он занялся проверкой цифрового материала, прологарифмировал около сотни пятизначных цифр и нашел ошибку. Причем логарифмы он брал по памяти и ни разу не ошибся. Представляешь?

— Чудовищно! Просто не верится. Феномен. — Второв опять вспомнил вдруг «Арлтон» и свое знакомство с Артуром. Тот тоже обладал великолепной, до патологии, памятью! Чертовщина какая-то! Получалось, что все в мире не просто взаимосвязано и взаимообусловлено.

Получалось, что мир похож на паутину, в которой бьется он, Второв. Вот как получалось. Потому и тут не стал он додумывать до конца, доискиваться до причинно-следственных звеньев, которые, возможно, тянутся туда, назад, в трюмы белого парохода. Просто выкинул все из головы. Когда приходит беда, тут уж не до умствований.

— Вот так. Потом оказалось, он помнит всю таблицу натуральных логарифмов. «Почитал ее как-то на ночь, — сказал он, — и запомнил, и теперь из головы нейдет, все помню». — Филипп включил вентилятор, чтобы разогнать табачный дым.

— Это уже не первая легенда о Кузовкине, которую я слышу, — сказал Второв, — но до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что подобное возможно. Тем более, что раньше за ним, кажется, ничего такого не замечали. Какой-то предсмертный взрыв гениальности. То, что ты рассказал, напоминает мне о людях, способных автоматически перемножать и делить огромные многозначные числа. В прошлом были, да и сейчас, говорят, есть такие мастаки. Но, как правило, они проявляли свои диковинные способности с малых лет. А у Кузовкина все наоборот — под

старость... Впрочем, я знаю один случай...— Опять перед его глазами встал Артур. Еще бы! Эта история с таблицей логарифмов очень уж напоминала случай с железнодорожным расписанием, которое намертво запомнил Артур.— Нет, я не совсем уверен, что там было такое же...

Филипп пожал плечами и промолчал.

— Однако сейчас речь не о Кузовкине,— сказал он.— Речь о его лаборатории и той работе, которую она должна выполнять. Я очень тебя прошу вплотную заняться этим. Не вникай ты, ради бога, во все их дразги. Нечего копаться в прошлом. В первую очередь нужно решить вопрос с космической темой, потому что нам за нее будет наибольший нагоняй. Затем нужно организовать коллектив на выполнение плана, они за эти полгода после смерти Кузовкина почти ничего не сделали, они большие должники перед институтом.

— Хорошо,— сказал Второв,— я согласен. Буду со-вместительствовать, буду тянуть лямку... пока. До первой подходящей кандидатуры. Как только кто-нибудь у вас появится, я сразу уйду.

— Есть! — У Филиппа крепкое, деловое, подбадривающее, руководящее рукопожатие.

«...Все же дни удивительно повторяются,— думал Второв, разглядывая лицо Недельского.— Вчера был такой же ритм, такой же темп в развитии событий и, кажется, такой же результат... хотя до ночи еще далеко. Вначале я помнил о письме, потом события совсем отшибли мне память. Сегодня с утра я еще помнил, что говорил с Верой по телефону, что она здесь, рядом, в Москве, что ее можно увидеть... А сейчас... смерть Риты... Что все это значит?»

— А значит это одно, товарищ Второв,— холодно говорил Недельский, устало щуря глаза,— поскольку я никакого отношения к работе товарища Манич...

— Это кто Манич?

— Рита, Рита Самойловна... Так вот, я продолжаю. Поскольку я никакого отношения к работам, проведенным Манич, а еще раньше академиком Кузовкиным совместно с Манич, не имел и не имею, я не смогу ответить на интересующие вас вопросы по теме номер семнадцать тысяч триста пятьдесят восемь.

— Поскольку я ваш новый заведующий...

— Исполняющий обязанности! — уточнил Недельский.

— Да, ваша осведомленность обескураживает. Так вот, я продолжаю. Поскольку я ваш начальник, постольку я буду просить вас собрать все имеющиеся в лаборатории материалы по теме номер семнадцать тысяч триста пятьдесят восемь.

— И это я не смогу выполнить, так как я не допущен к секретной работе, а указанная тема является секретной.

«Издевается, гад! За что он так невзлюбил меня? Или завидует? Сам хотел занять место Кузовкина, да Филипп не дал? А меня заставили... Господи, почему ты бодливым коровам рога не даешь? Дай, и они успокоятся... Успокоятся ли?»

— Хорошо, я займусь этим вопросом сам.— Второв пружинисто поднялся с места.— Вы свободны.

Лаборатория, где произошло несчастье, уже была проверена, осмотрена и обследована теми представителями власти, на обязанности которых лежал этот печальный долг.

«Зафиксировали несчастный случай. Очередная жертва науки. Отброшенная от аппарата Рита перелетела через ограду и попала на контакты. Директор, конечно, работает выговор. Инженер по технике безопасности — тоже. Ограждения должны быть сферическими». Второв внимательно осмотрел лабораторию. Большая, светлая, с окном, выходящим в лес. Посреди комнаты установлена нейтринная пушка, напоминающая обычную кобальтовую установку, широко применяемую в медицине. Под пушкой — операционный столик с подвижной кареткой. От сотрясения каретка сдвинулась. В одном углу письменный стол, накрытый плексигласом, в другом — большой железный сейф.

— Вот здесь и произошло, — рассказывал Сомов, которого Второв встретил в коридоре и попросил показать место гибели Риты.— Как ее от пушки отбросило, она перевернулась — и на шины.

Второв посмотрел. На толстых, с руку толщиной, медно-рыжих полосах темнели два черных пятна...

«Нехорошо все это. Темная история. Трудно поверить, что такой опытный человек, как Рита, мог быть так по-детски неосторожен. Ведь сама по себе нейтринная пушка — безопаснейшая вещь. Это не рентген, не гамма-

установка. Безобидные кварк-нейтрино, поток которых пронизывает Вселенную. Правда, здесь их концентрация высока, но она, как показали опыты, совершенно безопасна для человека. Нет, пожалуй, Филипп прав: все это напоминает самоубийство.— Второв вздохнул.— Ну ладно, посмотрим, что она тут писала».

Он присел к столу, начал перебирать бумаги. Ничего особенного там не было: протоколы профсоюзных собраний (Рита была профоргом), план лаборатории на следующий год, заметки, черновики переводной работы... Второв открыл стол и удивился. Все ящики стола пустовали, только в одном из них валялось несколько листиков чистой бумаги. Вот так научный работник! Неужели она все результаты опытов держала в голове? Где же ее записки по секретной тематике? В спецотделе в блокноте по теме № 17358 написано только, что от Госкомитета получен образец общим весом 5 г под индексом «А'». И больше ни слова. Эта запись сделана десять месяцев назад, за семь месяцев до гибели Кузовкина. Не могла же она держать секретные документы дома! А почему бы и нет? Все может быть...

Второв растерянно осмотрел стол. Там стояла маленькая колбочка, на дне которой лежала щепотка серебристого порошка. Может, это образцы?

Пока Второв рассматривал содержимое колбочки, Сомов с интересом следил за ним. Ему нравилось новое начальство. Спокойный, уважительный человек. Не повезло ему, с ходу попал в передрагу.

Второв вздохнул.

«Нет, пожалуй, это всего лишь алюминиевая краска. Ею окрашена металлическая станина кварк-нейтринной пушки».

— Сергей Федорович, откройте, пожалуйста, сейф, посмотрим, что там.

— А он уже открыт, Александр Григорыч, его оперативники еще с утра смотрели.

— То оперативники, а то мы с вами. У нас различные цели. Они искали причину несчастного случая, а мне нужны материалы по работе.

— Пожалуйста, я только говорю, что он уже открыт.— Сомов предупредительно раздвинул тяжелые железные дверцы сейфа.

Металлический шкаф состоял из двух половинок. На верхней полке лежали папки с бумагами и канцелярские книги, в которых научные работники обычно ведут записи опытов. Внизу стояли большие, литров на десять, сосуды Дьюара, закрытые войлочными крышками.

Второв снял несколько папок. Сразу же в глаза ему бросилась размашистая надпись, сделанная уверенной мужской рукой: «Тема № 17358, начата 10 августа...» Второв открыл папку и прочел: «Исходные данные, рентгеноструктурный анализ, физико-химические характеристики...»

— Она! Попалась, птичка! — Он захлопнул тетрадь. — Теперь все в порядке.

— Ну, вот и хорошо, — с удовлетворением сказал Сомов.

— Чей это почерк? — Второв указал на подпись на обложке.

— Это? Покойного академика.

— Кузовкина? — зачем-то переспросил Второв.

— Точно. Я его руку знаю, столько раз заявление об отпуске мне подписывал.

Второв внимательно посмотрел на механика. Что ж, это тоже источник информации, глас народа, так сказать. Может, он прольет свет на кое-какие неясные детали...

— Вы хорошо знали академика? — спросил он Сомова, открывая дьюар.

— Конечно, десять лет вместе работали. Первое время я у самого работал, а потом меня перевели в группу Недельского.

— Что это?

Сосуд доверху был заполнен серебристым порошком.

— Алюминиевая краска? Зачем же ее прятать в сейф? Разве это дефицит?

Сомов с недоумением посмотрел на порошок. Второв один за другим открывал дьюары. Все они были заполнены одним и тем же веществом, удивительно напоминающим алюминиевую пыль. По внешнему виду это был тот же порошок, который покоился на дне маленькой колбочки.

— Не знаю, — протянул Сомов, — здесь командовала Риточка, и сюда никого не допускали.

— Ладно,— бросил Второв,— сейчас разберемся в записях, тогда, может, станет ясно, что это такое. А вы с Ритой Самойловой работали?

— А как же! Она же первый помощник у Кузовкина была, так что я несколько лет у нее под началом ходил. Очень хорошая женщина. Здорово мы с ней работали. Обижаться не приходилось. И работала хорошо, и отдыхать умела — повеселиться, посмеяться. Славный человек! — твердо заключил Сомов.

— Что-то я не заметил в ней особого веселья,— сказал Второв, извлекая папки из сейфа и укладывая их на столе.— Даже наоборот. Она показалась мне вчера грустной и чем-то расстроенной.

— Эх, ну что же вы хотите... Это все после смерти Аполлоши. Простите, мы так покойника меж собой называли, очень уж имя-отчество у него закрученное. После смерти старика она совсем другим человеком стала. Сильно на нее его гибель подействовала. Куда там!

— Почему?

— Да как вам сказать...— Сомов замаялся.— Они же ведь родные были.

— Как так — родные?

— Любовь между ними была. Очень уж она его любила. Да и он тоже... Его смерть на нее подействовала. А потом, как хотите, своими глазами видеть, как человек погиб,— это хоть кого с ума стронет.

— И она тронулась?

— Не то чтоб совсем... Но появилось у ней такое, что раньше за ней не замечали. Молчаливая — это само собой, а все же нельзя здравый смысл совсем терять. Всем о смерти старика рассказывала. Поговаривать стали, что сидит по ночам она здесь, в институте, то плачет, то смеется. Недельский слышал...

— Спасибо вам, Сергей Федорович, за интересную беседу и помощь,— прервал его Второв.— Вы идите, а я здесь поработаю немного.

Когда механик ушел, Второв погрузился в чтение документов. Результатом лихорадочного перелистывания книг явился телефонный звонок директору.

— Филипп, ты можешь меня принять? Чем быстрее, тем лучше.

— Через полчаса, дорогой. А что, очень серьезно?

— Не знаю, очень ли. Но есть о чем поговорить.

— Хорошо, Саша, приходи.

«Ага! «Саша», «дорогой»... Подействовал отпор. Командуют только теми, кто ожидает команды».

Второв собрал свои записи, спрятал лабораторные журналы в сейф и вызвал Сомова. В его присутствии он насыпал из дьюара в колбочку серебристой пыли, закрыл ее пробкой и сказал:

— Поезжайте в Москву, в мой институт. Найдите там моего аспиранта Фролова и передайте ему вот это и записку.

Сомов с опаской взял колбочку.

— А оно... не радиоактивное?

Второв улыбнулся и указал на карандаш в карманчике пиджака:

— Это индикатор. Как видите, он безмолвствует. Значит, действуйте смело.

— Будет сделано.

— ...Многоуважаемый Филипп Васильевич,— торжественно говорил Второв, расхаживая по кабинету директора,— я потратил четыре рабочих часа из шести на изучение материалов Кузовкина и, кажется, кое-что понял. Здесь у меня все записано, но лучше я тебе изложу устно... Конечно, многое остается загадочным, но все же положение яснее, чем это было вчера или даже сегодня утром. Диковинные штуки происходят у тебя в институте товарищ директор, скажем прямо...

— Вера Ивановна, никого не пускать! Телефон только междугородный.— Филипп уселся поплотнее в своем кресле.— Давай выкладывай, Шерлок Холмс, свои соображения и идеи.

— Десять месяцев назад твой институт получил ампулу с веществом, обозначенным буквой «А¹». Что это за вещество? Из справки, приложенной комитетом, следует, что указанное вещество было извлечено из контейнера одной нашей межпланетной станции, которая была отправлена в космос несколько лет назад. На борту этой станции находился набор биологических объектов. Там были мыши, земноводные, насекомые, микробы, вирусы и различные биологически активные вещества: белки,

аминокислоты, ферменты, нуклеиновые кислоты,— одним словом, известный ряд живой материи и жизненно важных веществ. Во время старта ракетоноситель на последней ступени превысил вторую космическую скорость, и межпланетная станция, вместо того чтобы описать эллипс и возвратиться на Землю, ушла к Солнцу. Где она болталась эти годы, знать нам не дано. Только в прошлом году ее совершенно случайно засекали вблизи Луны. Лягушка-путешественница была изрядно потрепана; очевидно, в космических далях ее не раз бомбардировали метеоритные дожди.

— Я что-то не очень понимаю...

— Ты хочешь ясности? Наберись терпения и слушай... Итак, на этой станции целой и невредимой оказалась только эта ампула, о которой шла речь. Поскольку содержимое ее имеет некоторое отношение к биологии, ее направили Кузовкину на исследование. Академик заинтересовался объектом исследования. Вещества было мало, и он начал с физических методов исследования. Рентген, спектральный анализ, инфракрасная спектроскопия показали, что в руках у Кузовкина находятся молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. Кузовкин, не будь дурак, запросил материалы по этой межпланетной станции, и ему сообщили все константы нуклеиновых кислот, которые были сняты перед их отправкой в космос. Собственно, на этом можно было бы закончить: структура и свойства вещества «А» и «А'» были известны. ДНК вилочковой железы человека и обезьяны — вот и все. Но Кузовкин захотел проверить химические и биологические свойства препарата, и... Я сейчас процитирую тебе одно место... Вот что он пишет в лабораторном журнале незадолго до своей смерти: «Опыт 475 поставлен для обнаружения химической или биохимической активности препарата. Все наши усилия пока остаются бесплодными...»

О результатах опыта 475 больше нигде ни слова. Мне кажется, что смерть Риты связана с этим исследованием... Да, вот еще что,— продолжал Второв,— там же, в сейфе, я обнаружил серебристый порошок. Сначала я подумал, что это алюминиевая краска. Знаешь, такая блестящая, ею красят металлические поверхности. Потом я понял, что это вовсе не краска.

— ДНК?

— Что ты! У Кузовкина вначале было всего лишь пять граммов вещества. Под конец осталось что-то около грамма. В своих записях он и Манич все время пишут, что для такого-то анализа не хватает материала. А этого порошка там килограммов сорок. Нет, это не ДНК. Скорее всего, серебристый порошок является каким-то реагентом, с которым они экспериментировали последнее время. Я на всякий случай отправил его в свой институт на полный физико-химический анализ.

— Это ты правильно сделал,— одобрительно кивнул ему директор.— Но меня удивляет в этой ситуации роль Манич. Почему она молчала?

— О чем молчала?

— Об опытах с ДНК. Ведь прошло десять месяцев после смерти Кузовкина, а она ничего не сообщила. Работа, конечно, была секретной, но она должна была поделиться со старшими товарищами. Она молчала и ждала... Чего ждала? Запроса из комитета?

— И тогда покончила жизнь самоубийством?

Они посмотрели друг на друга.

— Нет, нет, тут какая-то неувязка, я уже думал об этом,— сказал Второв.— Если бы Кузовкин погиб в результате неосторожных экспериментов с космической ДНК, Манич раструбила бы по всему свету. Но здесь что-то произошло, что-то такое, почему она должна была молчать. Какое-то постороннее вмешательство или неожиданный поворот событий... А вернее, просто несчастный случай с кварк-нейтринной пушкой, взрыв системы охлаждения и гибель Кузовкина. Все это потрясло ее... Говорят же, что она помешалась.

— Может, они облучали нуклеиновую кислоту кварк-нейтринным потоком?

— Ну и что? — спросил Второв.

— Как — что? Мог произойти взрыв!

— Кварк-нейтрино ни с чем не взаимодействует. Еще не было такого случая, об этом пишет вся мировая научная литература. Да ведь ДНК — безобиднейшее вещество!

— Да, для обычных веществ это положение справедливо. Но в данном случае мы имеем дело с необыкновенными свойствами. Поэтому можно ожидать чего угодно.

— Сомнительно.— Второв покачал головой.— Если

эти молекулы не разбужены ударами гамма-лучей, вряд ли они проснутся от щекотания кварк-нейтрино.

— Какая досада, что погибла Манич! Она единственный человек, который знал так много! — воскликнул Филипп.

— Да, но что поделаешь... Остается только гадать. Может быть, эти анализы прольют какой-нибудь свет, только я очень сомневаюсь...

— Ты об этом порошке?

— Да.

— Он меня интригует. Мне все же кажется, что это ДНК.

— Образец примитивного мышления. В лаборатории, где содержатся сотни реактивов, происходит взрыв. Берут первый попавшийся образец и утверждают, что причина в нем. Ты неправ, Филипп. Он даже по цвету отличается от ДНК, не говоря уж о весе. Откуда же у них может взяться сорок килограммов из пяти граммов? Или из одного, потому что четыре они уже израсходовали.

— Ты говоришь, они отличаются по цвету. Разве ты видел эту ДНК? Ты что, нашел остатки? — спросил директор.

— Нет, конечно. Там есть фото. ДНК рассыпана на покровном стеклышке. Мелкие темно-серые зернышки. А мой порошок серебристый, блестящий.

— Да, пожалуй. Ну что ж, подождем анализа.

— Мне пришла идея, — медленно сказал Второв. — А что, если посмотреть еще... у Риты дома? Какие-нибудь записи, заметки... Как ты на это смотришь?

— Ты, я вижу, Саша, любишь доводить дело до конца, — устало сказал Филипп. — Наверное, ты поступаешь правильно. Только я тебе не попутчик. К Рите приехала мать, она сейчас дома. Плачет, убивается. Я не могу всего этого видеть. Сходи, если хочешь. Правда, обстановка там сейчас не дай бог. Меня успокаивает только одно: мы сможем написать по тем материалам, что ты нашел, довольно неплохой отчет для комитета, все константы получены...

— Черт с ним, с комитетом! — махнул рукой Второв. — Давай адрес, я все-таки схожу.

— Вера Ивановна тебе объяснит. Это недалеко, в поселке.

...Второв выехал из института, когда желтый язык заката начал жадно лизать окна. Поселок Завидное оказался чистеньким, аккуратным, с новенькими коттеджами. В них жили сотрудники института и работники местной ТЭЦ. Второв без труда разыскал дом, в котором жила Манич. Навстречу ему из открытых дверей квартиры вышли женщины в черных косынках (глаза у них были красны, они сморкались в беленькие платочки). Второв, как обычно в подобной ситуации, чувствовал себя неловко и напряженно. Он слишком плохо знал Риту, чтобы глубоко и искренне переживать, и в то же время обстановка требовала от него выражения неподдельного сочувствия.

В узком коридоре теснились несколько мужчин и женщин. Второв не знал их. В глубине комнаты, куда вели стеклянные двери, стоял гроб. Около него склонились, как-то обвисли, две пожилые женщины.

«Не ко времени я пришел, совсем не ко времени», — подумал Второв.

Мысль о документах, о каких-то бумажках выглядела в этой обстановке нелепой и даже оскорбительной.

«Надо бы уйти, — думал он. — Нехорошо получится. Вообще мне не надо было приходить сюда. Неловко, неудобно».

Но он остался стоять, его ноги словно приросли к полу. Постепенно он передвинулся к стеклянной двери, за которой темные женские фигуры совершали таинственный и скорбный обряд.

— Вы проститься? Проходите. — Старушечьи пальцы осторожно сжали его локоть.

Он прошел в комнату, где было очень душно, жарко и печально пахло цветами. Гроб утопал в цветах. Лицо Риты он так и не увидел. Оно было забинтовано. Второв поклонился и пошел к выходу. Та же старушка, взяв его под руку, провела на кухню.

— Вы сослуживец Риточкин?

— Да. А вы ее мать?

— Тетка. Это несчастье свалилось на нас так неожиданно... — Старушка заговорила деловито и озабоченно: — У Риточки пятеро сестер и один брат. Приехать на похороны смогли только мать и одна из сестер, старшая. Пришлось столько хлопотать, чтобы организовать при-

личные похороны. Соседи бестолковые. Хорошо, хоть из института помогают, там Риточку любили...

— Простите, я хотел узнать, когда бы я мог еще прийти...— начал Второв и извиняющимся тоном изложил свою просьбу.

Старуха думала несколько мгновений.

— Идемте,— решительно сказала она.— Я знаю, что такое работа. Если у Риточки остались какие-нибудь материалы, вы их сейчас заберете с собой.

Она провела Второва в маленькую, уютно обставленную комнату и оставила одного, бросив на прощание:

— Посмотрите в столе, я скоро вернусь,— и бесшумно исчезла.

Второв с благодарностью посмотрел ей вслед:

«Вот человек, который может служить образцом. Спокойная, ясная скорбь. Деловитость, простота, здравый смысл...»

Совсем поздно вечером, вымытый, выбритый, в черном костюме, Второв входил в ресторан гостиницы «Россия». Его шатало от усталости. Веронику он увидел сразу. Она показалась ему очень молодой и очень красивой. Он испугался, что она снова будет смеяться над его прической, и торопливо пригладил и без того уже набриолиненные волосы.

Жена улыбалась ему какой-то новой улыбкой. Или это голова кружилась и все вокруг казалось новым? Он присел к столику.

— Ну, здравствуй!

— Только без «ну»! Просто здравствуй!

— Здравствуй! — покорно повторил Второв и рассмеялся: — Дрессируешь?

— Нет, скорее наоборот. Ты меня дрессируешь. Особенно если учесть вчерашний разговор. Конечно, я заслуживаю самой суровой кары, но раньше ты был добрее.

— Возможно, я стал суше, черствее,— сказал Второв.— Возраст, сама понимаешь.

— Как живешь? — Она налила ему рюмку коньяку.

— Как сказать... А ты?

— Я? Ты же все знаешь. Езжу. Я писала тебе обо всем.

- Обо всем?
- Ну... в пределах безболезненной нормы.
- Ну, а я жил, как всегда. Работал...
- Ловил в пучинах науки золотую рыбку открытий?
- Я рад, что ты приехала, Вера. Сейчас особенно.

Просто хочется поговорить, понимаешь?

Второв как-то очень быстро охмелел. Пьянея, он стал словоохотливым, откровенным и добрым. Совершенно неожиданно для себя он увлекся и рассказал ей о событиях последних двух дней.

Смешно, странно и глупо рассказывать эту историю женщине, которая наверняка останется равнодушной к его переживаниям, но Второв не мог удержаться и говорил, говорил... Она молчала, курила. Было непонятно, слышит ли она его или просто так смотрит ему в глаза. Иногда она улыбалась невпопад, совсем не там, где следовало, но Второв не обижался, он чувствовал тепло и сочувствие, исходившие от этой женщины, и ему было легко говорить.

— ...Ничего интересного у нее я не нашел,— сказал Второв,— хотя вот обнаружил несколько отрывочных записей об опытах с собакой, по кличке «Седой», и с мышами да несколько заметок, где говорится, что «он сказал — надо изучить то и то». «Он» — это, очевидно, Кузовкин. Одна запись меня потрясла, она сделана в отдельном лабораторном журнале за несколько месяцев до гибели Аполлинария Аристарховича. Вот, смотри.

Второв сдвинул тарелки и рюмки к краю стола и на освободившееся место положил блокнот. Вероника полистала страницы.

— Он совершенно чистый! — воскликнула она.

— Да, за исключением первой страницы,— сказал Второв.

Там было написано: «Сегодня он решил попробовать «А¹» на себе. Его подгоняет смерть Седого, меня—любопытство и боязнь потерять друга». Дальше следовал большой пропуск, и внизу неровным почерком начертана фраза: «Боже мой, и я еще хотела что-то записывать!» Понимаешь, что за этим скрывается?

— Это все?

— Все.

— Из ученого ты становишься детективом,— снисхо-

дительно заметила Вероника, стряхивая пепел в недопитый чай.

— Каждый из нас немножко сыщик и охотник. Мы выслеживаем добычу, боремся за нее. Иногда побеждаем, чаще проигрываем.

— Ты впутался в интереснейшую, но, по-моему, слишком сложную историю. Эта пьеса уже сыграна, и все актеры погибли. Тебе не восстановить прошедшего. А что здесь можно извлечь для науки, я не совсем понимаю. Не запускать же снова межпланетную станцию?

— А почему бы и нет? Чтобы добыть ДНК с такими свойствами, о которых пишет Кузовкин? Можно!

— И снова ждать много лет?

— Погоди... Вот ты говоришь — восстановить, восстановить...— Второв задумался.— Это слово имеет для меня какое-то особое значение,— сказал он.— Меня мучает вопрос, почему Рита не уезжала. Она чего-то ждала, на что-то надеялась.

— В любом возрасте человек или надеется на будущее, или использует настоящее, или пытается восстановить прошлое.

— Рита, скорее всего, пыталась восстановить прошлое, особых надежд на будущее у нее не было.

— Странное совпадение,— усмехнулась Вероника.— Я тоже хочу восстановить прошлое.

— Прошрое?

— Я приехала к тебе, Саша. Совсем. Понимаешь? Совсем... Почему ты молчишь?

— Я? Что ж... Это несколько неожиданно... Сама понимаешь... Наверное, я просто не готов сейчас к такому разговору.

— Ты в своем репертуаре, Саша. Что меня всегда било в тебе, так это твое олимпийское спокойствие. Тебя ничего не волнует.

— Возможно. Но, по-моему, это спокойствие только кажущееся. Ты не замечала?

— Мне от этого не легче.

Они помолчали.

— Пойдем домой, Вера?

— Домой?

— Смешно тебе оставаться в гостинице. Места у меня много. Да и не в этом дело.

— Ну что ж, давай поедем. И поскорее. Я очень, очень устала,— сказала она.

...Рано утром дверь в комнату, где спал Второв, приоткрылась.

«Опять я не узнал насчет нового лекарства от подагры! Сколько уже собираюсь!» — с досадой подумал Второв, глядя на руки матери.

— К тебе можно?.. Сашенька, только что звонили из института, просили срочно приехать. У них какая-то авария.

— Авария? Из какого института? Подмосковного?

— Ну, где ты работаешь.

— Я теперь работаю в двух. Кто звонил? Филипп?

— Нет. Алексей Кузьмич.

Второв торопливо одевался.

— Плохой мне сон сегодня приснился,— сказала мать.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Корпус «В» рухнул под утро. Это случилось в тихий предрассветный час, когда улица крепко спала и на асфальте лежали влажные ночные тени. Где-то высоко вверху начинал розоветь синий воздух. Но теплый свет еще не достиг верхних этажей. Десятиэтажное здание главного корпуса Института новейшей бионики, выстроенное совсем недавно, слепо глядело на пустынную улицу. За ним, в глубине двора, под липами, ютились маленькие трехэтажные домики, отведенные для специальных исследований.

В ночь катастрофы в корпусе «В» дежурил старый вахтер. Он крепко спал в вестибюле на широкой дубовой скамейке, подложив под голову телогрейку. Спать, конечно, не полагалось, но начальство было далеко, и старик отводил душу. Он сладко похрапывал, приоткрыв рот. Под самое утро сладостные видения были нарушены странным шумом. Где-то плескалось море, катились большие медлительные валы, и галька, подхваченная волной, с хрустом терлась о песок. Вначале это было как сон, но затем шум стал неприлично громким для сна. Море исчезло, пропали волны. Вместо них в уши вахтера

проникло шипение и свист, словно в храм науки ворвались буйные ветры ревущих сороковых широт. Испуганный старик вскочил со своего неудобного ложа.

Сначала, как это всегда бывает, он ничего не мог сообразить. Первое, что его поразило, было странное движение на полу. Паркет вестибюля гнулся и корчился, словно в припадке буйной эпилепсии. Несколько половиц выскочило, обнажив засмоленное подполье. Стены вестибюля ходили ходуном и выгибались. Казалось, вот-вот помещение рухнет. Вахтер стрелой вылетел во двор.

— Ах, мать моя, кажись, светопреставление! — шептал он, путая это давно предсказанное отцами церкви событие с обыденным землетрясением.

Проковыляв несколько метров, он пугливо обернулся и с ужасом уставился на корпус. Удивительное зрелище возникло перед его маленькими голубыми глазками, подернутыми красной сеткой лопнувших капилляров.

Здание обнажилось. Под несмолкающий свист скользила вниз розовая штукатурка, вскрывая темно-красную кирпичную кладку, которая тоже осыпалась. Одна за другой рассыпались три колонны, украшавшие фасад здания. Затем шлепнулись в пыль барельефы и памятные доски, вздымая серые облачка. Шум усилился. Водосточная труба с грохотом ударилась о землю и разлетелась на несколько рукавов. Сквозь проломы в стене было видно, как рушатся перекрытия и летят вниз огромные металлические сейфы и громоздкие лабораторные установки. Постепенно здание заволочло клубами дыма. За дымовой завесой что-то шипело, свистело и ухало. Иногда раздавался резкий беспощадный треск, и тогда вахтер в ужасе накрывал руками давно освободившуюся от тяжести волос голову. Это благоуханное летнее утро казалось ему глубокой полярной ночью. Старика трясло...

Когда Второв подъехал к автомобильной стоянке, корпус «В» был окружен плотной толпой возбужденных людей. Толпа тревожно гудела. Голубой солнечный воздух дрожал и вибрировал, как взрывоопасная смесь. Второв, не заперев машины, бросился к месту катастрофы.

Люди узнали его и расступились. Ему послышалось злорадно-насмешливое: «Доигрался!» — и торопливое, испуганное: «Тише! Что вы?!»

Стараясь твердо ступать по асфальтовой дорожке, он прошел вперед. Люди, топтавшие на подстриженной траве газонов, молча смотрели на него. Он уже все увидел, но подходил все ближе и ближе, пока не уткнулся грудью в кольцо из пожарников. Внутри кольца бродило несколько человек. «Директор... Зам... Ученый секретарь... Остальные незнакомые», — отметил Второв.

Алексей Кузьмич часто задира голову кверху, указывая на небо пальцем, словно призывал в свидетели бога; его зам, Михайлов, что-то высматривал, пригнувшись к земле. Его длинный нос, казалось, превратился в щуп миноискателя. За их спинами лежала огромная гряда серебряного пепла. Из нее торчали черные металлические прутья, напоминая обожженные человеческие руки. Здание напоминало плетенку из проволоки. Письменные и лабораторные столы застряли между этажами в самых странных положениях. Запутавшись в паутине проводов, точно заколка в распущенных женских волосах, мерно раскачивалась на ветру новая установка парамагнитного резонанса. Второв узнал ее по полукругам мощных магнитов. Из оборудования аннигилярной остался только распределительный щит — самая никчемная деталь в лаборатории. На нем болтался смятый плакат, приказывающий бросить папиросу. Легкий ветер кружил пыль над грудой мусора и обломков.

Второв заметил, что Алексей Кузьмич делает ему знаки. Он протиснулся сквозь шеренгу, сдерживающую напор любопытных. Все стоявшие рядом с директором повернулись и смотрели, как он идет. Очень трудно было пройти эти несколько шагов по проволочно-жесткой траве.

— Что же у вас получается, батенька? — спросил Алексей Кузьмич, складывая губы сердечком. Морщинистая кожа на его лбу подобралась к седому ежику волос. Он рассматривал Второва с холодным удивлением, словно перед ним было редкостное, но неприятное насекомое.

— Не знаю. Ничего не понимаю, — отрывисто сказал Второв. Он с трудом различал лица. — Вчера все было в порядке, — добавил он.

Пока Второв что-то бессвязно говорил, в его мозгу зашевелилось смутное предчувствие. Он хотел было что-то сказать еще, но только спросил:

— Пострадавшие есть? — Голос его прозвучал неожиданно хрипло.

— Нет,— сказал Алексей Кузьмич,— нет. В корпусе был один вахтер, он отделался легким испугом. Его сейчас отпаивают чаем...

— С ромом,— добавил Михайлов.

— Это детали.

Они снова замолкли, уставившись на развалины корпуса. У Второва пересохло в горле, и он чмокнул.

«При чем здесь ром? — подумал он.— Чушь какая-то. Чушь и галиматья».

— Что? — спросил Алексей Кузьмич.

Все снова посмотрели на Второва.

— Я ничего не говорю,— хмуро буркнул Второв.— И ничего не могу сказать. Я сам ничего не понимаю.

— Во всяком случае, это не пожар,— сказал один из незнакомцев.

— И не взрыв. Ни в коем случае не взрыв! — вмешался Михайлов.

На институтском дворе корпус «В» был единственным пострадавшим зданием. В нем помещалась лаборатория вторичных структур, которой заведовал доктор химических наук Второв Александр Григорьевич. И поэтому все смотрели на А. Г. Второва, и он ощущал эти взгляды, как уколы сотен игл.

— Придется провести серьезное расследование,— сказал Михайлов, глядя куда-то вдаль.

«Что это такое? — Второв сделал несколько шагов вперед и погрузил пальцы в серебристый пепел.— Странно, очень странно...»

Внезапная дрожь пробежала по его телу, неприятная, тошнотворная слабость разлилась в мышцах. Второв узнал пепел. «Серебристый порошок из дюаров Кузовкина! Вчера, еще только вчера я передал с Сомовым на анализ колбочку таинственного вещества, а сегодня в этот порошок превращен трехэтажный корпус. Значит... значит...»

Мысли пронеслись в голове Второва с лихорадочной поспешностью. Они напоззали друг на друга, исчезали и вновь возникали, словно льдины в разгар ледохода.

«Значит, это очень страшное вещество. Может быть, передо мной та космическая ДНК, с которой работал Ку-

зовкин и которая его погубила? Наверное, Филипп прав. Но почему она начала действовать? Почему вдруг ожила? В течение года она пролежала в дьюарах без каких-либо изменений! Впрочем, так ли это? Нет, конечно. Только Рита могла бы объяснить все это... Но ее нет, и распутывать узел придется мне. Что же произошло сегодня ночью? Что?..»

Прикосновение чьих-то пальцев к плечу вывело Второва из оцепенения.

— Пойдемте с нами,— сказал незнакомец.

Второву показалось, что ему уже встречалось это безразличное лицо и этот спокойный, ожидающий взгляд, исполненный скрытой силы.

— Да, да, пойдемте,— заторопился Михайлов.

Алексей Кузьмич только головой тряхнул, как бы подтверждая слова Михайлова. Второв ощутил отчуждающую силу этого слова — «пойдемте».

Они пошли. Второва поразило, какими чужими и незнакомыми показались ему толпившиеся вокруг люди. Он работал с ними около десяти лет, знал всех очень хорошо, но сейчас как будто видел впервые...

В директорском кабинете, как всегда, было тихо и уютно.

Алексей Кузьмич не сел за свой стол, он просеменил к окну и, глядя во двор, с деланной шутливостью сказал:

— Давайте выкладывайте, Александр Григорьевич, что вы там накудесничали. Не томите нас, фокусник...

Остальные расселись куда попало. Ученый секретарь Григорович плюхнулся в кресло, трое незнакомых сели вместе на диван, Михайлов, поколебавшись, присел у края директорского стола и начал что-то записывать. Только Второв остался стоять.

— А что я могу сказать? — Он раздраженно развел руками.— Самому ничего не понятно.

— Простите, товарищ Второв,— сказал Михайлов, выпрямляясь.— Мне как замдиректора по научной части ваша позиция кажется более чем странной! Погибла ваша лаборатория, и не только ваша, там ведь этаж занят Тимофеем Трофимовичем, туда вложены десятки миллионов государственных рублей, уничтожено уникальное оборудование, хорошо, что обошлось без человеческих жертв, а вам нечего сказать! Вы обязаны — понимаете,

обязаны доложить нам обо всем, что могло стать источником этого несчастья. Вы должны помнить, сколько хлопот причинили многим уважаемым... да всем, пока государство, и, в частности, институт, не обеспечило работу по вашей поисковой теме. Мы вашими поисками во как сыты! — Михайлов рубанул себя по шее.

«Жаль, что твоя рука не гильотинный нож», — подумал Второв.

— Я действительно ничего не знаю, — сказал он. — Ведь вы хотите, чтобы я назвал причины катастрофы, не так ли? А я не могу этого сделать. Я просто ума не приложу, отчего все так... получилось. Я очень рад, что вахтер остался жив... Но отчего без дыма и огня сгорела лаборатория, я не знаю и не понимаю...

— Мне кажется, вы неправильно поняли Владислава Владиславовича, — вступился ученый секретарь института Григорович. Его лицо было рассечено вертикальными и горизонтальными морщинами на множество сложных геометрических фигур. Когда ученый секретарь говорил, кубики и ромбики приходили в движение, словно кто-то вращал калейдоскоп. — Владислав Владиславович говорил о том, что нужна информация о проводимых вами работах. Это, кстати, вероятно, интересует и... вот присутствующих здесь товарищей. Не правда ли? — Григорович повел рукой в сторону дивана.

— Мне очень трудно сейчас об этом говорить, — пробормотал Второв, — но, во всяком случае... техника безопасности у нас соблюдалась всегда очень тщательно и ничего такого не ожидалось... — Второв замолчал.

Прошло несколько тягостных минут.

— Это всегда происходит неожиданно, — внезапно сказал один из сидевших на диване. — Вы не волнуйтесь, а постарайтесь лучше припомнить...

В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет вбежал человек. Его крохотные темные глазки сверкали злыми угольками. Он обдал присутствующих волной ярости и ринулся к директору.

— Алексей Кузьмич, я решительно протестую! — завопил он.

Вошедший сделал шаг, полы его старомодного пиджака взлетели, и он, вытянув вперед руки и растопырив пальцы, согнулся в поясе, как будто собирался прыгнуть

в воду. Затем, словно получив невидимый мощный толчок, промчался в нелепом галопе через всю комнату и растянулся на ковре. Создалось впечатление, что при ударе голова его расплющилась.

— Знакомьтесь,— сказал Алексей Кузьмич,— Тимофей Трофимович Плещенко.

Все расхохотались. Второв впервые слышал, как от души смеется Алексей Кузьмич. У него оказался пронзительный дискант. Это было неприлично, но никто не мог сдержаться. Смеялись все. Даже Михайлов издал неопределенное «хехс»... Второв чувствовал, как вместе со смехом из души его уходят страх, растерянность и ощущение беды.

Плещенко резко вскочил, стряхивая дрожащими руками пылинки с брюк. Он повернул желчное, со впавшими щеками лицо к директору и сказал вздрагивающим от злости голосом:

— Это издевательство! Я буду жаловаться в партийный комитет! Безобразие нужно пресечь! Все знают, что вы специально разложили здесь этот клятый ковер, чтобы все за него цеплялись!

Алексей Кузьмич смотрел на него с мраморным хладнокровием.

— Простите, Тимофей Трофимович, о чем идет речь? При чем здесь ковер? Для вас все может стать препятствием или источником раздражения. За несколько минут перед вами сюда вошли шесть человек, и ни один из них — заметьте, ни один — даже не споткнулся.

Плещенко, казалось, взял себя в руки.

— Ладно,— сказал он,— я не об этом хотел с вами говорить...

— А ни о чем другом я с вами пока не смогу вести беседу,— перебил его директор.— У меня товарищи, с которыми я должен решить очень важные вопросы.

— Я по поводу этого безобразия с корпусом «В».

— Именно этим я и занимаюсь.

— Там погибло мое оборудование! Мало того, что вы в свое время отобрали у меня два этажа корпуса «В» и отдали его под безответственные эксперименты всяких демагогов-недоучек, но и...

— Вот и приходите после обеда, и я с удовольствием выслушаю ваши претензии.

Плещенко открыл рот, закрыл снова, открыл и снова захлопнул.

— Ну хорошо! — сказал он и, резко повернувшись, вышел.

Наступило молчание.

— Вы, кажется, не кончили, товарищ? — Алексей Кузьмич посмотрел на диван.

— Да, я хотел сказать, что нам нужно подробное объяснение руководителя лаборатории, желательно в письменной форме. А расследование причин разрушения корпуса мы проведем, ясное дело.

— Ну что ж, — сказал Алексей Кузьмич, — так и решим. Вы, Александр Григорьевич, напишите объяснение. Постарайтесь высказать собственное мнение, если такое обнаружится, насчет причин несчастья, постигшего наш институт.

— Можете расположиться в моем кабинете, — предложил Григорович.

Второв наклонил голову.

В кабинете Григоровича он распахнул окно, закурил и долго смотрел вниз, на зеленую лужайку.

Выбросив сигарету в окно, он резко повернулся, сел за стол и решительно написал: «Объяснительная записка». Загибающиеся книзу строчки торопливо покрывали бумагу...

Солнце доползло до своей наивысшей точки на небосклоне, сталевары выплавили несколько тысяч тонн стали, с конвейеров заводов сошло несколько тракторов, самолет и десяток автомашин, а Второв все писал. За этот бесконечно короткий и бесконечно длинный промежуток времени он сумел объединить на бумаге понятия и обозначения, которыми обычно пользовался редко.

«Приведенные ниже эксперименты преследовали цель...» И Второву представлялись лопухие эксперименты, несущиеся вдогонку за хрупкой, тонконогой целью с рожками на точеной головке.

«Имели место недочеты...» Толстые коротышки-недочеты, толкаясь, спешили куда-то, где они имели свое место. «Что касается...» было веселым и крючковатым, оно во все лезло, всего касалось.

Второв не слышал скрипа двери. В щель протиснулся стройный молодой человек в белой рубашке и идеально отутюженных брюках.

— Здесь!

Дверь широко распахнулась, и в кабинет ученого секретаря ворвались «второвцы», молодые сотрудники его лаборатории. На лицах вошедших Второв прочел одно и то же — сочувствие. Все молчали.

— Ну, вот что, братцы,— сказал Второв,— нечего глядеть на меня жалобными глазами. В работе образовался самопроизвольный перекур. Срок неопределенный. Можете строчить статьи, обобщать единичные опыты, писать мемуары, идти в отпуска...

Неодобрительное мычание наполнило кабинет.

— Однако,— поднял руку Второв,— заседание продолжается. Игра пока не кончена. Для оперативной работы и доставки передач в тюрьму мне нужно два человека. Я попрошу вас, Зоя Николаевна, и тебя, Виталий, самым срочным образом произвести дозиметрию и химический анализ того хлама, что остался от нашей лаборатории. А также допросите вы этого непьющего вахтера обо всем, что узрело его недреманное око. Всем остальным задача та же — постарайтесь собрать возможно больше подробностей о катастрофе. Когда, сколько, что. Важна динамика, понятно? И вот еще: я не вижу среди вас Фролова. Доставьте мне аспиранта в любом виде.

— Это совсем другое дело! Давно бы так! Все ясно! — на разные голоса и с различной силой убежденности откликнулись сотрудники.

Второв, улыбаясь, блестящими глазами смотрел им вслед. Это были настоящие, преданные друзья. И в горе и в радости.

В это время на институтском дворе молодой лаборант Юлька рассматривал развалины лаборатории Второва. От них только что откатил самосвал, груженный доверху мусором и зеленоватой пылью. Рабочие побросали совковые лопаты и, присев на корточки, курили.

На пятиметровой высоте по узенькому мостику из двутавровой балки ходил человек с черным ящиком на груди. В руках у него поблескивала продолговатая трубка. Он то и дело прикладывал ее к обломкам, застрявшим при падении в проводах и бетонной арматуре.

— Виталик! — раздалось снизу.

Человек оглянулся. Румяная девушка спортивного типа, сложив пухлые ручки рупором, смотрела вверх. Человек с ящиком сделал несколько акробатических прыжков и через минуту спустился на газон.

— В чем дело, Зоенька? — спросил он. — Чего шумишь?

— Как твои дела, Виталик?

— Да ничего, никаких отклонений от нормы. Излучение такое же, как везде. Ты сдала химикам пробы?

— Ага, они уже делают.

— Ну и ладно.

Зоя улыбнулась, но, сразу же посерьезнев, сказала:

— Слушай, Виталий. Только что ко мне подошел Вася и спрашивает, был ли сегодня Фролов в институте. Оказывается, он уехал в пять утра из общежития. Шеф тоже ищет его. Ты не видел Леню?

Виталий несколько секунд пристально смотрел на девушку. Зрачки его расширились, и светло-карие глаза стали черными и глубокими. Казалось, он напряженно вникал в суть вопроса.

— В пять утра? — переспросил он.

— Ну да. Вася живет в соседней комнате и часто к нему заходит, — с раздражением сказала девушка. — Он сказал, что Леня должен был с ним встретиться утром, но, когда он зашел к нему, Ленки уже не было. Он оставил записку, что поехал в институт делать какие-то срочные анализы. Вчера вечером он не успел их закончить. Теперь Вася его всюду разыскивает. Леня взял у него какую-то книгу. Может, он не в институт поехал, а еще куда-нибудь?

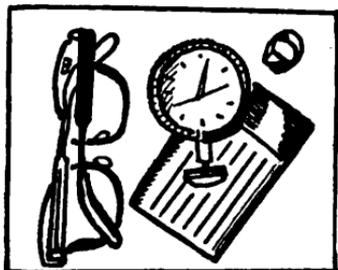
— Нет, нет... — торопливо и как-то очень тихо пробормотал Виталий. Лицо его застыло, затем начало бледнеть. Кровь отхлынула, резко обозначив темные впадины под глазами.

Виталий начал медленно рыться в карманах. Зоя испуганно наблюдала за ним. Она глядела только на его руку. Большая, крепкая, испачканная в пыли рука осторожно ощупала нагрудный карман комбинезона, скользнула на бок, в боковой карман, откуда торчали куски проволоки, рукоятка отвертки и пакля, потом вновь вернулась на грудь. Виталий словно вспоминал что-то. Не-

решительным движением он расстегнул клапан и начал доставать какие-то вещи. Он вынимал их правой рукой и осторожно клал на ладонь левой. Так появился дешевый портсигар, часы, кольцо с миниатюрным компасом вместо драгоценного камня и наконец металлическая оправа без стекол.

— Это оттуда,— сказал Виталий.— Понимаешь, я думал, что он их хранил в столе и они во время... выпали. Но ведь он с очками никогда не расстается. Он без них как без рук. Так ведь?

— Как без рук,— машинально повторила Зоя и, вдруг побледнев так же, как Виталий, воскликнула: — Ты что? Ты что? Нет, ты с ума сошел!



Она запнулась и замолкла. Они молча смотрели друг на друга, словно виделись впервые.

— Ты понимаешь, Зоенька,— очень медленно и безразлично сказал Виталий,— я нашел все это на месте бывшей аналитички, там у Ленки был свой стол, и я подумал...

Он замолчал.

— Но ведь с портсигаром он тоже никогда не расстается! — с отчаянием воскликнула девушка. На глазах у нее заблестели слезы.

Они снова замолчали. Потом, как по команде, повернулись и посмотрели на развалины. Рабочие, кончив курить, вытаскивали из-под обломков сохранившееся оборудование и приборы и складывали их на траве.

— Нужно сказать шефу,— негромко произнес Виталий.

— Я не смогу. Скажи сам.— Девушка резко отвернулась.

Юлька подумал, что надо бы уйти, но остался.

Он первый увидел фигуру, бегущую от главного корпуса. Юлька узнал Второва. Тот неуклюже скакал по асфальтовой дорожке. Пиджак его распахнулся, и длинный узкий галстук трепетал по ветру, как черный вымпел.

— Доза? — резко спросил Второв, запыхавшись.

— Доза в пределах нормы... — тихо сказал Виталий.

Они помолчали. Внезапно Второв повернулся к Зое:

— А где же Фролов? Почему же вы его не нашли до сих пор?

— Александр Григорьевич, — Зоя выпрямилась, ее голос звучал неестественно громко, — дело в том...

— Что случилось?

— Исчез Ленька.

— Фролов?

— Да.

Виталий вынул руки из-за спины и показал Второву портсигар, оправу очков, кольцо с компасом.

— Это я нашел на месте нашей аналитической.

Второв осторожно взял портсигар и, щелкнув, открыл его. В нем лежали четыре сигареты. Второв провел пальцем по мягкой бумаге.

— Вот оно что... — как-то очень безразлично сказал он. И повторил: — Вот оно что...

Зоя всхлинула. Второв кинул на нее удивленный взгляд и нахмурился. Как загипнотизированный, смотрел он на предметы, лежавшие на ладони Виталия.

«Фролов. Леонид Фролов. Какой же ты был, дай-ка я вспомню. Очень высокий, очень сутулый, шея длинная и тонкая. Обувь сорок пятого размера, всегда непричесанный. Смешной и насмешливый».

— Он не мог уйти и оставить здесь все это. Сколько я его помню, он всегда носил с собой портсигар, да и очки его всем известны, — сказал Виталий.

— Да, это правильно, — подтвердил Второв. — Он всегда носил свои железные очки. Знаменитые очки.

— Так что же с Фроловым? — нервно воскликнула Зоя.

Второв задумался.

— С Фроловым, ребята, плохо... Если все обстоит так, как я предполагаю, погиб наш Леня...

Юлька вздрогнул, а Зоя закричала, и Второв снова с удивлением посмотрел на нее.

— Не надо,— сказал он печально,— не надо кричать. Без паники. Еще есть надежда. Если он не был утром в корпусе...

— Это исключается,— сказал Виталий.

— Тогда да...

Они замолчали. Зоя плакала. Виталий с сочувствием смотрел на серое лицо Второва.

— Но почему?! — воскликнул Виталий.— Александр Григорьевич, почему это произошло?

— Почему? Почему?..— Второв с трудом шевелил помертвевшими губами.— Откуда я знаю, ребята... Если бы я знал... Что там было, в нашей аналитической? — обратился он к Виталию.

— Как — что? Известные вещи. Весы, муфеля, реактивы... стулья, вытяжные шкафы, лампочки, посуда — мало ли что там было!

— Да, все это не то,— задумчиво сказал Второв.— Все не то. Вот что, давайте сделаем так. Вы, Зоя Николаевна, идите и пишите докладную о возможном несчастье с Фроловым. Отпечатайте и принесите мне, я подпишу. А мы с вами, Виталий, займемся другим... Я сейчас скажу, чем мы займемся...

Зоя ушла, и они сели прямо на траву.

— Итак, сегодня в пять утра или в половине шестого в это здание приехал аспирант Фролов.— Второв словно размышлял вслух.— Он прошел мимо вахтера, который крепко спал. Утренний сон ведь так сладок... Поднялся на второй этаж и начал работу. Он должен был проанализировать вещество, которое ему передал по моему указанию некто Сомов.

К ним подошел курьер:

— Александр Григорьевич, вас вызывает директор!

— Директор подождет,— сказал Второв.— Итак, Фролов проводил безобидные манипуляции с серебряным порошком, и вдруг... произошла катастрофа. Порошок взорвался и сожрал все... Что же мог делать Фролов в аналитической комнате? Конечно, прежде всего он проверил растворимость в кислотах. Я так и писал ему: «Начни с растворимости». В воде оно не растворялось, я сам проверил...

Юлька и Виталий терпеливо слушали не очень понятный им монолог.

— Да, да,— взволнованно говорил Второв,— я был прав, а Филипп неправ. Неожиданным поворотом в работе Кузовкина оказалось какое-то простейшее химическое воздействие. Интересно... Нет, она не взрывается, она превращает все в пыль, крупнодисперсную серебристую пыль, похожую на алюминиевый порошок. Да, простейшее химическое воздействие вызывает удивительную цепную реакцию. И нечего сюда приплетать кварк-нейтрино! У нас ведь нет в аналитичке нейтринной пушки, Виталий?

— У нас вообще ее нет, Александр Григорьевич.

— Вот видишь! — торжествуя воскликнул Второв.— Она мне всю картину портила, и я никак не мог объяснить...

— Простите, Александр Григорьевич,— вмешался Юлька,— нейтринная пушка есть у Плещенко. Она установлена на третьем этаже, как раз над аналитической.

— Что? Что? Ты серьезно?

— Точно. Они недавно ее приобрели. Кварки — дело модное.

Второв облизнул пересохшие губы.

— Хорошо,— сказал он.— Ты, Виталий, походи в лабораторию Плещенко и узнай там, только остороженько, работала ли у них нейтринная пушка. Если да, то могла ли она работать сегодня утром. Как фокусировался поток нейтрино и какова была его плотность. Понял? Потом придишь к Большому Скану. А я наберу материал и попытаюсь посмотреть его.

— Можно, я буду вам помогать? — попросил Юлька.

— Ты? Давай помогай!

— Что такое Скан? — спросил Юлька, насыпая в носовой платок тяжелую, как ртуть, пыль.

— Не надо так много. Для Скана достаточно ста граммов. Это большой сканирующий микроскоп с телевизором. Увеличение в миллионы раз. Дает теневое изображение объектов размером в десять—пятнадцать ангстрем.

— Молекулярные размеры?

— Да. Ну, пошли. Не знаю только, разрешат ли мне, опальному, работать на этом аппарате.

Второв передвигался медленно и тяжело. Он словно постарел. Его ничего не значащие фразы скрывали скорбь.

...Большой Скан помещался в маленькой темной комнате. Три стены, потолок и пол в ней были бархатисто-черного цвета, четвертую стену занимал экран телевизора. В комнате стояло с десятков стульев. Вслед за Второвым и Юлькой сюда пришли другие сотрудники института. Среди них была и Зоя. Она подала Второву бумагу, тот прочел и подписал.

— Погодите, Зоенька, не уходите,— сказал Второв,— докладную отнесет кто-нибудь другой. А вы помогите нам прокрутить этот образец.

— Вы не боитесь, Александр Григорыч? — спросил Юлька.

— Чего? — резко повернулся Второв.

— Что получится, как с Фроловым?

— Нет,— ответил Второв.— До меня подобный образец на Большом Сконе исследовал академик Кузовкин. Но у него вначале было слишком мало материала, а потом... стало слишком много, к сожалению, академик уже не мог его изучать. Так что я только повторяю опыт. А... впрочем, я бы не отказался посмотреть, как это происходит. Начали!

Зоя подошла к ящику и нажала кнопку. Под потолком вспыхнула сигнальная лампочка.

«Внимание!» — послышался откуда-то густой баритон.

Свет погас. Фиолетовый экран медленно бледнел, по нему запрыгали искры.

«Эталон. Пенопласт с напыленными кристаллами сернистой меди»,— снова послышался откуда-то из-за экрана голос.

— Превосходный объект в качестве эталона,— сказал Второв на ухо Юльке.— Множество структур на разных уровнях. И прозрачен к тому же.

Он еще что-то такое говорил и объяснял, чувствуя, что стоит ему замолчать, с ним начнется истерика.

На экране появился эталон — кусочек крохотной, с трудом различимой пленочки.

«Один к одному»,— объяснил голос.

Пленка словно взорвалась и, разлетевшись в стороны, заняла весь экран.

«Сто»,— сказал голос.

Изображение задержалось, и Юлька увидел ноздреватую, напоминающую пемзу, поверхность пластмассы.

Здесь когда-то клокотала горячая лава, лопались большие блестящие пузыри, со свистом и ревом вырывался газ. Но сейчас перед Юлькиными глазами на экране расстилалась мертвая равнина, усеянная круглыми ячейками, стенки которых отливали жирным блеском. Огромные кристаллы сернокислой меди застыли в прозрачной массе, точно голубые льдинки.

«Тысяча». По экрану поплыли перекрывающие друг друга большие и малые пятна неправильной формы.

Наконец изображение замерло, и Юлька увидел множество маленьких темных и светлых точек.

«Микропористость».

— Микропористость,— повторил Второв и опять объяснил:— А это уровень коллоидной структуры. Видны мицеллы, даже самые маленькие.

Точки чуть-чуть увеличились, и Юльке показалось, что он видит тарелку с земляникой. Зернистые блестящие ягоды были плотно сжаты.

Голос опять что-то сказал, но Юлька не расслышал. Он был захвачен видением странного мира. Его потрясала неожиданная сложность, таинственность такой, казалось бы, очевидной и простой вещи, как тонкая пленочка полимера. Невообразимый и непередаваемый ландшафт разворачивался перед ним. Может быть, впервые за свою жизнь Юлька задумался, насколько удивителен мир, который его окружает, и как великолепен он сам, Юлька, могущий все это понять.

Ягоды в тарелке пришли в движение и упорхнули. После долгого мелькания световых пятен экран засветился ярким мерцающим светом. Внезапно кто-то выбросил большую гроздь бус, и она рассыпалась на голубом поле цветными горошинами. Изображение было нечетким, расплывчатым.

— Молекулярная структура,— пояснил Второв.

Юлька впился глазами в экран. Вот они, молекулы!

Вечные, таинственные, невидимые... Добрался-таки до вас человек.

— Они живые?! — прошептал Юлька.

Бусины и горошины там, впереди, находились в непрестанном движении: свивались в змеинные кольца, сплетались и разбегались, создавая сумасшедшую пляску опалесцирующих лучей.

— Как бы живые,— ответил Второв.— Тепловое движение. Да и Большой Скан разогревает препарат... Зоя Николаевна,— громко сказал Второв,— поставьте нашу пыль, только начнем сразу с молекулярной структуры. Скан сейчас на нее настроен.

Экран погас, включилась красная лампочка, и было видно, как огромная тень Зои, сломанная на потолке по полам, медленно поползла в угол.

— Образец взят на месте бывшей аналитической комнаты,— глухо сказал Второв.— Радиоактивность нормальная, химанализ пока неизвестен.

Большой Скан, казалось, долго не мог настроиться на новый материал. Он несколько раз включался и гас. Присутствующие терпеливо ждали.

Вдруг аппарат весело загудел, и, прежде чем Юлька успел что-либо рассмотреть, раздался взволнованный голос Второва:

— Это ДНК! Классическая ДНК!

Теперь Юлька различал извилистые темные очертания неведомых молекул. Трудно различимая спираль, напоминавшая узор на змеиной коже, вилась по экрану. Несколько минут все молча смотрели. Вдох прокатился по залу.

— Невероятно... Просто не верится! — сказал кто-то.

— Хватит! — крикнул Второв.— Зоя Николаевна, отключайте аппарат, все понятно.

В зале зажегся свет. Люди расходились, возбужденно переговариваясь: «Потрясающе!.. Невозможно, трудно представить!..»

— Извините меня, Александр Григорьевич,— сказал Юлька,— я понимаю, что задавать вопросы глупо... но, может, вы хоть в двух словах объясните, что все...

— Александр Григорьевич! — В комнату вбежал Виталий.— Я все узнал! Пушка работала всю ночь и утром тоже!

— Спокойнее, спокойнее, Витя,— сказал Второв.— Почему она работала, на какой мощности?

— Они облучали свои горшки, то есть растения. Проверка действия кварк-нейтринных частиц на рост конопли.

— Остроумно. Ну и что?

— Горшки у них на полу, так что весь поток кварк-нейтрино шел сверху вниз и пронизывал нашу аналитическую, где в это время был Леня. Мощность низкая, на три порядка выше естественного потока. Облучение производилось автоматически и в ночное время. Они с вечера включали и уходили.

— Так! — сказал Второв.

«Следовательно, я неправ, а прав Филипп. К обоим катастрофам причастно кварк-нейтрино. Ну что ж...» — подумал он и оглядел аудиторию.

— В свете последних данных события выглядят... Хотя погодите, наверное, я не имею права делиться подробностями этого дела.

— Вас к директору, Александр Григорыч!

В этот день Второв возвратился домой поздней ночью. Вероника сидела за его письменным столом и работала. В комнате висел табачный туман.

Второв молча повалился на диван.

— Сашенька, покушай чего-нибудь. Там на кухне еда.— Мать осторожно вошла в комнату и с осуждением потянула носом.

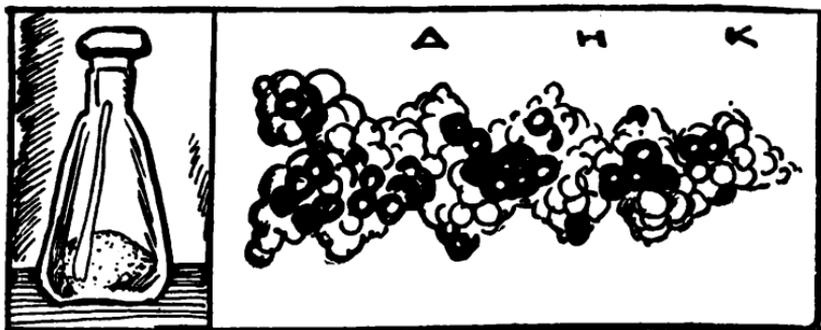
— Пойду чего-нибудь выпью, в горле пересохло.— Он встал с дивана.

Обе женщины пошли за ним на кухню и молча смотрели, как он налил себе рюмку коньяку, выпил ее залпом и съел яблоко.

Вероника понимающе улыбалась.

— Плохи мои дела, дорогие! Твой сын, мамочка, отстранен от руководства лабораторией до выяснения всех обстоятельств катастрофы с корпусом «В» и гибели Фролова.

— Сядь. Не мечись. Выпей еще рюмку и рассказывай,— сказала Вероника. Она стала серьезной и внимательной.



— Пока они выяснят, Михайлов мой штат поодиночке растащит. А я людей годами воспитывал...

— Расскажи по порядку.

Второв выпил еще рюмку.

— Какой порядок? Разве это порядок? Институтский юрист сказал, что в моем деле очень легко подходит статья о халатности по служебной линии с отягчающими... а впрочем, в их формулировках сам черт ногу сломит. Одним словом, что-то весьма неприятное...

— Сашенька, сыночек мой родной, объясни же наконец, что случилось?

— Да, пожалуйста, ясней,— сказала Вероника,— ведь мы же не знаем всех подробностей. Это связано с исследованиями Кузовкина?

— С ними. Именно Кузовкин задал мне эту проблему. Покойный академик был слишком умный. А с умными людьми всегда трудно. Впрочем, сейчас я уже не знаю, был ли покойник, вернее, имела ли место обычная смерть... Голова идет кругом... Раз это ДНК...

— Какая ДНК? Что это?

— Ах, Вероника! Кто теперь не знает, что такое ДНК! Такая длинная-предлинная цепочка, на которую нанизано множество разных химических групп. Она в растениях, в животных, в человеке. В каждой клетке человека в ядре располагаются молекулы нуклеиновых кислот. Этому соединению ученые присвоили звание материального носителя наследственности, в котором записаны все наши наследственные признаки. До полета первого человека в космос для исследования запускали раз-

ные биообъекты, в том числе и молекулы ДНК. Случайно одна исследовательская ракета улетела чуть ли не за пределы Солнечной системы и только сейчас вернулась. Находящаяся в контейнере ДНК претерпела странные превращения — вероятно, она попала под неизвестный нам, людям, вид облучения. Ее направили к Кузовкину, и тот долго изучал ее, пока не догадался облучить нейтринным потоком. Произошло несчастье — ДНК словно с цепи сорвалась! Она с космической скоростью стала распространяться, расти. Рите, его помощнице, чудом удалось прекратить реакцию. Иначе бы их башня лежала во прахе, так же как и моя лаборатория. Но, очевидно, Рита знала или, может, случайно нащупала тайну поведения ДНК, потому что у нее в лаборатории хранилось большое количество этого вещества. Затем на сцене появляется ваш покорный слуга. Дурачок, который сидит перед вами. По записям я знаю, что у Кузовкина было очень мало вещества, что-то около пяти граммов, поэтому серебристый порошок в дьюарах я принял за какой-то реагент и отправил его Фролову на безобиднейший химанализ. Фролов рано утречком принялся за анализы с серебристым порошком, и надо же, чтобы в это же время этажом выше работала точно такая кварк-нейтринная установка. Плещенко облучал свои горшки. Катастрофа повторилась, Фролов погиб. Жалко парня! Такая глупая смерть.

— Его нашли?

— Что можно найти! Металлические предметы, которые почему-то уцелели... Эта ДНК обладает страшной разрушительной силой.— Второв сморщился и сжал кулаками виски.

— Голова болит? Хочешь чаю горячего? — спросила мать.

— Хорошо... О чем это я? Да... Вообще я решил изучить структуру этой пыли на нашем телемикроскопе. Оказалось, что пыль целиком состоит из молекул ДНК. Нуклеиновая кислота съела корпус «В»! Молекулы бетона, известки, дерева и полимеров она превратила в длинные спиралевидные цепочки. Уму непостижимо! Это невероятно! Это невозможно! Но это произошло. Я видел собственными глазами. Я написал объяснительную записку еще до того, как узнал об исчезновении Фролова, а

затем сообщил об этом в докладной. Но тайна остается тайной, я об этом все время помню... Да, простите, я опять отвлекся. В общем, после разговора со следователем я сажусь в машину и еду за город, к Филиппу, в злополучный Институт биохимии. Филипп принялся было меня успокаивать. Поезжай домой, отдохни, на тебе лица нет, и прочее. Я ему говорю, что мышление не зависит от цвета лица и выражения глаз. Ну, стали мы с ним ломать голову вместе, но так ничего и не придумали. Да, совсем забыл: перед отъездом мы с Филиппом позвонили вдове Кузовкина. Филипп сказал, что следует посмотреть его домашние записи и документы. Может быть, там найдется указание на интересующие нас обстоятельства. Позвонили. Вдова разговаривала с нами очень нелюбезно и сказала, что к ней полгода назад обращалась с подобной просьбой некая Манич. Она ей отказала, а все служебные материалы передала в президиум, в личный архив академика. И тогда мы с Филиппом решили покопаться в личном архиве.

— Он вел дневник? — резко спросила Вероника и потянулась за новой сигаретой.

— Нет, он был слишком занят, чтобы тратить время на такие пустяки. Официальные бумаги, разные статьи, доклады, сообщения, выступления тоже не принесли желаемого результата. Во-первых, они не имели никакого отношения к интересовавшей нас теме, а во-вторых, в них почти ничего нельзя было понять. Эклектический бред. Тем более, что за последний год старик не написал ни одной статьи. Но зато в архив академика попал его настольный календарь, переданный, очевидно, вдовой. Почему календарь, непонятно, но тем не менее календарь оказался в архиве. На листках календаря Кузовкин подводил итоги дня и намечал дела на завтра. Иногда философствовал, иногда писал стихи или анекдоты. Там было все: формулы, рисунки, таблицы, отдельные цифры, планы. Очевидно, вдова по чисто формальным внешним признакам приняла этот календарь за очень важный рабочий документ. И он действительно оказался важным. Мы с Филиппом внимательно просмотрели его и заметили одну интересную особенность в записях.

Начиная с некоторого времени записи академика становятся совершенно невразумительными. С точки зрения

здорового, нормального человека, это невероятный сумбур, разобраться в котором нет никакой возможности. Например, на календарном листке за семнадцатое января дается подробное описание пропуска на завод бытовых автоматов. Запись такая: «...Вчера в течение тридцати—сорока секунд видел пропуск в руках гражданина, ехавшего со мной от Вори до первого Зеленого кольца. Пропуск в темно-зеленой пластмассовой, истертой на сгибе обложке, на левой стороне, вверху, жирным шрифтом напечатано: «Завод бытовых автоматов»; ниже — пропуск номер 1345/31; Фамилия — Потапов; Имя и отчество — Геннадий Николаевич; еще ниже — действительно с 4.1 по 31.12. Графа «продлен с... по...» не заполнена. Слева фотография и круглая чернильная печать на ней, надпись на печати разглядеть не удалось. Совсем внизу напечатано слово «регистратор» и подпись в виде двух заглавных букв: ЛЕ. Под чертой: Тираж 50 000. Московская типография № 50 Главполиграфпрома, ул. Маркса—Энгельса, 1/4. Нет, каков я!»

— Это ты о себе? — спросила Вероника.

— Нет, это он о себе. Он был явно доволен собой. Затем несколько страниц календаря исписаны цифрами и подпись — «Анна Каренина», часть I, глава I, стр. 20—23». Оказывается, Кузовкин решил закодировать в двоичной системе отрывок из романа. И опять приписка: «Каков я молодец!» Потом идет подробнейшее описание билета на вертолет, с указанием цвета, помятости, номера, тиража, типографии, и рядом — детальная схема летающей модели самолета. Все размеры и материалы указаны с умопомрачительной дотошностью. Филипп посмотрел и сказал, что сейчас таких моделей уже не выпускают, их делали много лет назад. И так далее.

Второв помолчал.

— Записи академика Кузовкина оставили у меня впечатление наползающих друг на друга ледяных глыб. Что-то с треском крошится, что-то рвется, ломается, летят осколки льда и водяные брызги. Грохот, шум, ничего не разберешь... Но вот одна фраза, которая подняла занавес над тайной, не до конца, конечно, но все же... Послушай, что он пишет: «Нам очень повезло, что Р...» Это Рита, очевидно. «... испугалась, когда ампула с препаратом и подставка под ней стали рассыпаться. Уже образо-

валось изрядное количество этого серебристого порошка, как Р. вскрикнула от страха и дернула рубильник в другую сторону, включив установку на полную мощность, и процесс прекратился... Значит, реакция идет в направлении синтеза только до 70 000 единиц! Пою тебе, бог случая». И еще что-то не совсем понятное: «Нужна была гибель Седого, чтобы Р. наконец согласилась. Скоро начнем, и пусть меня не осудят — все это, наконец, касается только нас двоих».

Второв умолк и посмотрел на Веронику:

— Что ты обо всем этом скажешь?

— А ты?

— Я только и делаю, что говорю.

Нервными, порывистыми движениями он собрал документы и сложил их в папку.

— «Дело Кузовкина — Манич — Второва, — горько ухмыльнулся он, — материалы и наблюдения...»

— Саша, — она подошла к нему сзади и положила руки на его плечи, — как ты думаешь, Рита очень любила своего академика?

— Думаю, что да. — Он осторожно, словно случайно, чтобы не обидеть ее, высвободился. — Она преклонялась перед его талантом и... любила, одним словом.

— Ты знаешь, мне пришла в голову одна мысль... Ты мне разрешишь познакомиться с бумагами Риты?

— Пожалуйста, я же тебе все рассказал. А что ты хочешь сделать?

— Видишь ли... — Она замялась. — Конечно, данных мало, но у меня появилась идея. Что, если попытаться воссоздать образ этой женщины. Чисто художественно, конечно. И настроение у меня сейчас самое подходящее.

— А, вот оно что... — сказал Второв. — Ну, давай, действуй. Но, боюсь, фактов маловато и все так запутано.

— А я без фактов. Мне хочется передать настроение...

— Ну разве что. Настроение — вещь важная. Правда, настроение не доказательство, его в дело не подошьешь, а впрочем, почему бы и нет? Пиши, а я лягу спать, у меня что-то голова разболелась...

Ему казалось, что он уснет, как только коснется подушки. На самом деле он проворочался еще часа два



на твердой и тяжелой, словно вылепленной из влажной глины постели. Один раз, выходя курить, он увидел, что она еще работает в его кабинете. Оранжевые клубы табачного дыма плавали вокруг люстры. В кухне тихо позвякивала посуда. Мать, наверное, не ложится из-за Вероники.

И опять из сумрачной глубины выплыло тревожное воспоминание. Опять перед внутренним взором встал Артур. Даже запахло наркотическим дымом его табака. Кроуфорд рассказывал, что он выделил свою загадочную неорганическую ДНК из углистого хондрита. Но и теперь Второв не додумал до конца. Уснул тревож-

ным и неглубоким сном. Мысли потонули в забвении, а беспокойство осталось. И мучило во сне.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

Утром Вероника протянула ему несколько исписанных листков бумаги. Второв стал читать:

«Рассказ о седом псе.

Это единственное воспоминание о нем, которое мне захотелось занести на бумагу. Были и другие, оставившие более сильное и яркое впечатление, но моему сердцу дорого именно это. Может, потому, что все произошло до катастрофы? Не знаю, но, когда я думаю о Дигляре (так потом прозвали седого пса), у меня вновь возникает ощущение тревоги и ожидание несчастья, такое же, как и тогда, перед взрывом. Это неприятное, тяжкое чувство де-

лаёт воспоминание ярким и достоверным, хотя мне сейчас грех жаловаться на плохую память.

Догорал пронзительный мартовский вечер. Бывают такие тревожные и утомительные вечера в самом начале весны, когда небо становится многоцветным и ярким. Дул сырой морозный ветер, и мы порядком замерзли. Он ужасно упрям. Сколько я его ни убеждала, ни за что не хотел садиться в машину.

Он проводит меня пешком, ничего ему не сделается, или я его совсем стариком считаю?

Разговор принимал тот неприятный оборот, которого я всегда стремилась избежать. В последнее время он все чаще возвращается к этой теме. Я поняла, что мысль о старости становится манией, идефикс, и всегда старательно избегала этой темы.

Иногда он так устало и тоскливо смотрел на меня или вздыхал, думая, что я не слышу его, а я все-таки слышала, видела, и сердце мое сжималось от боли. Плакать я не смела. Он терпеть не мог слез и становился злым и жестким, как хирург в операционной. Ведь все равно с этим ничего нельзя поделать. Оставалось молчать.

Мы шли по направлению к моему поселку. Ветер дул сбоку. А он все говорил о своих предчувствиях. Он почти никогда не делал логических выводов, не выдвигал точных, строго обоснованных предположений. Он говорил только о чувствах. Он все ощущал как часть удивительного ансамбля жизни. Я всегда останусь благодарной ему за эту потрясающую способность чувствовать, которая была сущностью его гениальности.

Дорога тянулась и тянулась, ветер то ослабевал, то вдруг нарастал, небо над нами горело, мерцало и переливалось, снег в полях за черными обочинами темнел и темнел. Он говорил, какая нам привалила удача. Необыкновенная, потрясающая удача. Вещество обладало чудесными свойствами. В нем таилась грозная разрушающая сила. В нем было еще что-то, о чем мы могли только догадываться.

«Нужно пробовать,— говорил он,— нужно смелее пробовать. Мы должны стать эмпириками, слепыми эмпириками, которые владеют единственным орудием исследования — методом тыка».

Ветер развеивал его шарф, от холодного воздуха порозовели щеки, взгляд сделался острым и чистым. Я любовалась им, его задором и энергией, он казался мне юношей, совсем-совсем молодым.

И вот здесь, в эту минуту, мы увидели седого пса. С трудом различимый живой комочек полз по темному снегу. Никто не крикнул нам — уйди, никто не предупредил, что с этой минуты для нас начнется другая, сложная и запутанная жизнь.

Мы остановились. Пес прополз несколько метров, приподнял голову и слабо заскулил. Возможно, у него была парализована нижняя часть тела или он просто очень сильно ослабел от голода и холода. Мы спрыгнули в кювет и взобрались на снеговое поле. Какой это был жалкий зверь! Это был неповторимо жалкий зверь! Глаза его гноились, шерсть местами облезла, обнажив кровоточащие язвы. Эта невыносимая грязно-белая шерсть вызывала тошноту. Когда мы подошли, он уже не мог поднять голову, упавшую на передние лапы. Только изредка взмахивал похожим на мокрую мочалку хвостом. Мне сразу захотелось уйти.

«Он больной», — сказала я и отступила. «Нет, он не болен. Это старость. Смотри и запоминай. Это я, это я сейчас так ползу по жизни».

Я возмутилась. Не помню точно, что я ему сказала, но там были слова: «ханжество», «лицемерие» и еще что-то довольно обидное.

«Вы посмотрите на себя», — говорила я. — Прекрасно одетый, упитанный, розовый, с молодыми глазами человек оплакивает свою горькую судьбину. Смешно!»

«Не смешно, а грустно», — сказал он. — Я чувствую себя именно таким вот несчастным псом. А как я выгляжу, это совсем другой вопрос».

Затем он наклонился и поднял собаку. Мы повернули назад, к институту. Он нес пса на руках, крепко прижимая его к груди.

В лаборатории он сам вымыл и вытер его, обработал язвы заживляющим раствором Флемминга. Я только ассистировала. Когда пес был накормлен и устроен в лучшей камере вивария, ему была сделана инъекция слабого раствора нашего препарата.

«Я сам буду делать уколы», — сказал он. — Опыты с

этой собакой я проведу своими руками. Я чувствую, что она не даром попала на моем пути».

Он, как всегда, оказался прав, хотя сначала я думала, что пес подойдет. Когда я пришла на другой день в виварий, Седой пластом лежал в своей клетке. Он не отзывался на оклики, не реагировал на еду и питье. Уколы тем не менее продолжались.

А уже через неделю Седой приветствовал нас веселым лаем, бросался на грудь и норовил лизнуть прямо в лицо. Это было поразительное превращение! К собаке вернулись здоровье, и сила, и веселость. Мой друг был счастлив, его переполняла сдержанная гордость, тихое торжество.

Конечно, многое в этом успехе зависело от Случая, обязано Случаю, рождено Случаем. Но ведь и Случай дается только тем, кто его заслуживает...

Особенно поразительной была полнота выздоровления Седого. У него даже восстановились какие-то старые, угасшие рефлексы. Например, стоило включить электрический свет, как пес бросался к миске с едой. Эта реакция появилась только на десятый день лечения препаратом «А¹», и шеф сказал, что легко может объяснить поведение пса. По его мнению, пес когда-то жил в темной комнате или передней, где свет включали только перед его кормлением.

Затем Седой начал проявлять особый интерес к детям. Малыши редко появлялись на территории нашего института, но все же иногда родители приводили ребятшек посмотреть мышей, крыс, обезьян. Заодно дети демонстрировали сотрудникам института свои таланты. Декламировали стихи, отвечали, уцепившись за юбку матери или брюки отца. Последнее было наиболее распространенной формой их публичных выступлений. Чаще же всего они возились с Седым. Пес в это время уже получил полную свободу и с независимым видом разгуливал по двору.

Однажды, наблюдая возню детей и собаки, мой друг сказал, что Седой ведет себя как щенок. Это замечание поразило меня. Действительно, ведь Седому было не меньше семи-восьми лет, а прыгал и тявкал он, как семи-месячный. Очевидно, там, где он вырос, было много детей, он к ним привык и любил их.

«Он впадает в детство»,— заметил мой друг, и я сказала, что я тоже хотела бы впасть в детство. Помню, что он посмотрел на меня внимательно и долго и ничего не отвечал.

Всем нашим подопытным объектам мы вводили препарат «А¹». Я сейчас не могу без содрогания вспомнить всех этих подыхающих от старости, болезней и увечий крыс, мышей, свинок.

«Все,— сказал однажды мой друг,— кончаем... Все ясно»,— добавил он. А что, собственно, было ясно? Препарат восстанавливал здоровье? На этот вопрос трудно было ответить определенно. Статистика показывала, что только пятьдесят процентов животных возвращались в норму. А остальные погибали.

Но что-то с ними все же происходило. Но это что-то было таким очевидным и одновременно неуловимым... Мы долго ломали голову, как определить состояние, в котором оказывались наши животные после лечения препаратом «А¹».

«Они молодеют»,— говорила я, а шеф, ядовито улыбаясь, указывал мне на седину нашего пса и склеротические прожилки в глазах. «Они глупеют»,— утверждала я, и мой друг неодобрительно качал головой. Это была явная клевета на наших веселых и сообразительных животных.

«У них восстанавливается память»,— говорил он, и это было похоже на истину. По всем признакам сильнее всего и резче всего наш препарат влиял на восстановление памяти, на воскрешение забытых рефлексов молодости.

Затем случилось несчастье. Погиб Седой, погиб в отчаянной, мужественной схватке, спасая жизнь нашему сотруднику. У нас в виварии расположен большой обезьянник, в котором среди множества макак, мандрилов и прочей обезьяньей мелочи содержался огромный яванский орангутанг. У него было отдельное помещение, снабженное надежными запорами. И все же, несмотря на сторожей и замки, а может быть, именно благодаря им обезьяна сбежала. Все были слишком уверены в принятых мерах безопасности. А оранг удрал и скрылся в заповеднике, благо до леса рукой подать. Изредка зверь возвращался в виварий, оставляя после себя растерзан-

ные тушки кроликов и перья птиц. Не знаю, что его тянуло обратно, но перепуганные сторожа потребовали либо выловить обезьяну из заповедника, либо снабдить их огнестрельным оружием. В тот же день, когда были выданы винтовки, оранг напал на одного из сторожей, и плохо пришлось бы старику, не оказавшись рядом Седой. Пес бросился на спину обезьяне и отвлек ее от человека. Помятый, ошалевший от страха сторож вскочил на ноги и стал стрелять в катавшийся по земле клубок тел. Так погибли и вольнолюбивый оранг, и наш Седой.

К моему удивлению, гибель Седого сильно поразила шефа. Узнав о ней, он долго молчал и затем сказал, что хочет попробовать препарат на себе.

По его тону и взгляду я поняла, что это решение окончательное, что сопротивляться и уговаривать бесполезно. Это был приказ, обсуждению не подлежащий.

И тогда я сказала, что тоже хочу попробовать препарат на себе. Мне показалось, что он обрадовался принятому мной решению, хотя и стал спустя несколько минут отговаривать меня и даже погрозил кулаком...

Могла ли я подумать, что его руки, сильные руки его попадут под кварк-нейтринный поток и на моих глазах превратятся в серебристую пыль? Как нам страшно не повезло!..»

— Ну и что? — спросил Второв, отложив в сторону последний лист.

— Как — что?

— Что случилось после того, как они ввели себе препарат?

— Это неважно! Я не собиралась разгадывать тайну, просто мне хотелось нарисовать образ и высказать кое-какие свои идеи...

— Скажу тебе прямо. Это ничего общего с Ритой не имеет. Ты не обижайся, но это так.

— А по-моему, все верно. Рита — добрый, интеллигентный человек, научный работник... Высший стиль мыслей, чувств и слов.

— Рита — это битое стекло в тесте. Голыми руками мять не рекомендуется, — резко сказал Второв. — И, уж конечно, она не будет называть его «мой друг» или «он».

— А как она его называла?

— Не знаю. Но это неважно. Про пса хорошо, про старость хорошо. По-видимому, такой стимул в деяниях Кузовкина существовал. И еще кое-что есть... Так что спасибо, в общем.

— Куда же ты забираешь рассказ?

— Хочу еще раз прочесть.

— Значит, тебе все же понравилось?

Второв неопределенно хмыкнул и, сунув рукопись в портфель, пошел к двери. Он был раздражен ее самоуверенностью. Но — и он понял это сразу — ее работа была первой попыткой нарисовать законченную картину того, что когда-то разыгралось между двумя ушедшими из жизни людьми. Он не поверил ни одному слову, но ясно почувствовал, что в его руках был метод. И еще он понял, что ему не хватает фантазии, всегда не хватало фантазии. Это ему, ему следовало положить в основу всего тот предположительный факт, что Кузовкин попробовал «А¹» на себе. С этого следовало начать! Мог ведь Кузовкин так поступить? Артур же попробовал... Артур! Артур! Артур!!! Вот недостающее звено! Вот центр кристаллизации!

...Войдя в свой кабинет, Второв подмигнул портрету Опарина, но тот остался безучастным и равнодушно смотрел, как Второв запирает двери и на цыпочках пробирается к письменному столу.

Второв выдернул телефонную вилку из гнезда, открыл форточку, закурил.

«С этим псом у Веры, кажется, получилось неплохо. Сам не пойму, в чем там дело... Нет, конечно, все это сюсюканье никакого отношения к Кузовкину не имеет. Понятное дело, что все там было иначе. Но сам метод! Метод, пожалуй, хорош... Нужно и мне попытаться рассказать все с самого начала. Рассказать самому себе. Одеть фантастический костюм плотью фактов...»

Он сбросил со стола книги и папки прямо на пол. Достал из ящика чистый лист бумаги и написал крупными буквами:

ДНК ИЗ КОСМОСА

А строчкой ниже и мелкими буквами добавил:

«В: Неорганический нуклеотид, извлеченный Артуром из углистого хондрита».

«И все же, что там могло произойти? Излучение, взрыв, особые частицы?.. Пожалуй, не стоит хитрить перед самим собой. Все равно хочется поставить этот вопрос. Нет! Нет! Так нельзя. Я растекаюсь мыслью по древу. Все догадки и предположения должны быть отброшены! Факты и обстоятельства, обстоятельства и факты, и все, что с необходимой логикой вытекает из этих фактов. Никаких фантазий...»

Факт № 1. ДНК побывала в космосе и возвратилась на Землю.

«Как далеко занесло в космос эту станцию? К сожалению, в сопроводительной записке комитета ничего об этом не сказано. Да и неважно это. Они сами, наверное, не знают. Где летала, как летала нуклеиновая кислота,— никому не станет легче от знания этих деталей. Главное, что побывала в космосе, в не освоенной человеком части пространства, и там... Снова лезут в голову эти братья по разуму. Долой их! Значит, ДНК там подверглась каким-то воздействиям. Каким? Неизвестно. С чьей стороны — тоже неизвестно. Одним словом, подверглась и вернулась на Землю. Следующий этап...»

Факт № 1а. ДНК (выделенная Артуром) из ньюфаундлендского метеорита несомненно космического происхождения. Источник ее, возможно, тот же, что и в случае № 1.

Факт № 2. Исследования космической ДНК производились академиком Кузовкиным совместно с Манич.

«Попробуем еще раз представить себе обстоятельства, связанные с этой историей. Ну, исследовали. А дальше что? Прежде всего, конечно, повторили известное. Оказалось, что у них в руках типичная ДНК, которая была отправлена много лет назад в космическое пространство. Ученые любят повторяться. Вся наука зиждется на повторях. Впрочем, подобные соображения к делу не относятся. Их в протокол не впишешь».

Факт № 2а. Вероятно, они шли тем же роковым путем, что и Артур, уверенный, что открыл внеземную жизнь.

Факт № 3. Кузовкин и Манич подтверждают, что по всем физико-химическим показателям они имеют дело с типичной дезоксирибонуклеиновой кислотой, извлеченной из вилочковой железы человека.

«Затем неугомонный старик, перебрав все физические и химические методы испытаний, решает поместить препарат в нейтринный поток. Происходит удивительное — ДНК разрушает материалы, воссоздавая самое себя из атомов и молекул любого рода. Кроме металлов, конечно. Металлы почему-то устояли. Случайно... Ах, случайно? Уж эти мне случайности! Ими полна литература, но не жизнь. Так или иначе, Рита дергает рубильник не туда, куда надо, мощность установки увеличивается на несколько порядков, и реакция останавливается».

Факт № 3а. Артур, очевидно, экспериментов с кварк-нейтрино не проводил.

Факт № 4. Космическая ДНК в потоке кварк-нейтрино обладает сокрушительной, разрушающей силой; реакцию, впрочем, может прекратить тот же нейтринный поток, но повышенной мощности.

«Кажется, достаточно? Обнаружено поистине замечательное свойство, можно говорить о нем повсюду, подавать заявку на патент, выступить с сообщениями, и так далее. Однако Кузовкин не торопился, он продолжает опыты, он ждет... Что ищет академик? Если поверить тому, что написала Вера, старика больше всего интересуют биологические аспекты применения таинственной ДНК. Биологические и медицинские... Геронтология прежде всего. Почему? Разве не достаточно тех диковинных физических свойств, обнаруженных в нейтринном потоке? Очевидно, для Кузовкина этого мало. А почему, этого мы, наверное, никогда не узнаем... Может, действительно старость... Что мы о ней знаем? Кузовкин стареет, но он ученый, активный ученый, который борется с природой, а не только изучает ее. Опыт с псом, с мышами и морскими свинками подает надежду... А вдруг? И Кузовкин очертя голову бросается в пучины неизведанного эксперимента... Туда же вовлекается Рита...»

Факт № 4а. Почти аналогичная картина. Артур получает на крысах и мышах интересные результаты (гениальные мыши в подводном лабиринте).

Факт № 5. Кузовкин проводит новую серию экспериментов с космической ДНК для того, чтобы изучить ее биохимическое и биологическое действия. Обнаружив положительный эффект, ставит опыты на себе. Он и Р. Манич вводят себе какую-то дозу препарата.

«Впрочем, это еще надо проверить... Ну да ладно. Допустим. Артур же попробовал на себе. Что же произошло после этого? Риточка сделала всего лишь одну запись. «Боже мой, и я еще хотела что-то записывать!» Что значит эта фраза? Ужас, безнадежность или, наоборот, такая простая, очевидная ситуация, что и записывать нечего? Опять странное совпадение: Рита, как и Артур, обрела трагическое отношение к миру. А Кузовкин, напротив, стал силачом и оптимистом. Когда Рита ввела себе ДНК — одновременно с ним или после? Почему все же такие различия? В чем тут суть: в дозах, различиях в темпераменте, особенностях организма?»

Факт № 5а. Зато нет никаких сомнений, что Артур поставил на себе опыт.

Факт № 6. Сопоставление дат показывает, что после введения ДНК у Кузовкина начался период обостренного чудачества. Со слов очевидцев следует, что поступки Кузовкина в этот период обнаруживали в нем либо гения, либо сумасшедшего, либо гибрид сумасшедшего и гения. Необычайная острота восприятия, потрясающая зрительная и ассоциативная память, сила, энергия — все это не могло не вызвать удивленного внимания со стороны окружающих.

«А что же в это время происходило с Ритой? Она отсутствовала? Все говорят только о Кузовкине, а она что? Ведь она тоже согласилась быть подопытным кроликом. Почему же гениальность пришла только к Кузовкину? Или... может быть, вот как: они решили сдвинуть опыт по времени! Очевидно, они договорились: сначала он, потом она...»

Факт № 6а. Совершенно аналогично начал вести себя и Артур. Та же невероятная память и симптомы тяжелой нервной болезни. И, хотя нет сведений о необычайной физической силе, зато есть указания на другие необычные свойства. Но реакция Артура на препарат скорее сближает его с Ритой, чем с Кузовкиным.

Факт № 7. Кузовкин гибнет в результате взрыва узла фокусировки кварк-нейтринной пушки.

«Так ли это? Вернее, совсем ли точно эта фраза отражает действительность? Если судить по записям Риты... Не оставляет чувство, мучительное чувство недоговоренности... Даже просто непонятности. Сначала ведь

он начал рассыпаться, а затем уже произошел взрыв. А точнее — неполадки в узлах фокусировки заставили Кузовкина резко повернуться, руки его попали в нейтринный поток и... Теперь я знаю, как это происходит. Достаточно небольшого количества космической нуклеиновой кислоты поместить в концентрированный кварк-нейтринный луч, и начнется цепная реакция. Реакция разрушения, реакция деградации... Впрочем, с точки зрения ДНК — это реакция синтеза и воспроизводства. Но разве у ДНК существует «точка зрения»? Что это я, право... Не надо отвлекаться! В организме Кузовкина находилась космическая ДНК, он вводил ее регулярно малыми дозами. Бомбардировка нейтринными частицами вызвала распад тела. Рита видела своими глазами, как рассыпались его руки. Затем только произошел взрыв. Вот почему от Кузовкина ничего не осталось. И как это подобное соображение не пришло в голову раньше кому-нибудь из следователей? Ведь совершенно невероятно, чтобы один человек, Рита, остался цел и невредим, а другого разнесло в пух и прах. Причем оба находились в одной комнате! Бессмыслица... Хотя, впрочем, как говорят, Рита была тоже сильно помята, затем пожар мог уничтожить следы... Все это так просто. Да и следователей интересовало другое. Не было ли здесь злого умысла с чьей-нибудь стороны — вот что их интересовало. Очевидно, не было... На то он и Случай, да еще и несчастный, чтобы вобрать в себя достаточное число невероятных, причинно-следственных связей. Да, пожалуй, так и было... Именно так, не иначе. Но почему Рита буквально сошла с ума после этого случая? Конечно, все причины, о которых я знаю, могут считаться достаточными. Гибель любимого человека? Возможно, чувство собственной вины? И это возможно. Судя по ее запискам, она что-то не подготовила перед опытом, поэтому, может, и закипела вода в холодильнике, поэтому Кузовкин бросился к установке, поэтому руки его попали в нейтринный поток... Что ж, вполне возможно. Но вот вопрос: когда Рита ввела себе ДНК? Перед взрывом или после? После — отпадает, потому что смерть Кузовкина настолько потрясла ее, что ей было не до опытов. Определенно она сделала это перед смертью Кузовкина, может быть совсем незадолго перед катастрофой. Если ДНК повлияла на нее так

же, как на академика, а у нас нет оснований предполагать что-либо иное, она находилась в состоянии особого обостренного восприятия действительности. Сцена гибели Кузовкина застыла в ее глазах, как неподвижное, статичное изображение, от которого она уже не могла избавиться. Она, как призрак, днем и ночью преследовала бедную женщину! Недаром же Рита рассказывала всем только об этом, только об этом... Даже мне, новому, незнакомому человеку, она три раза пыталась рассказать о том, как погиб Кузовкин. Причем одними и теми же словами! Как вызубренную роль... Да, пожалуй, так и было. Очевидно, в этом состоянии крайнего напряжения всего человеческого существа такие сцены подобны смертельному ранению. Да, да, это так, это только так! Если Кузовкин мог запомнить номер автобусного билета, тираж, типографию, цвет, линию обрыва, то какие подробности должна была помнить Рита! Она помнила все, все ужасные детали с исчезающей четкостью, со сводящей с ума ясностью... Какое счастье, что природа дала нам возможность забывать!»

Факт № 7а. Можно предположить, что и Артур не в силах забыть о чем-то ужасном. Очевидно, это как-то связано с его рассказом о человеке с золотыми зубами. Правда, доказательств, что все обстоит именно так, нет никаких. Но его поведение так напоминает поведение Риты, что я уверен в своем предположении. Для меня это факт.

Факт № 8. Р. Манич присутствовала при гибели Кузовкина, находясь под влиянием препарата «А¹». Все ужасы этой сцены отпечатались в ее памяти с фотографической точностью. Не в силах преодолеть, забыть эту сцену, Р. Манич решила уйти из жизни.

Факт № 8а. См. № 7а.

«Итак, с гипотезами, касающимися дела Манич — Кузовкина, покончено. Возможно, намеченный ход событий будет корректироваться со временем, по мере поступления новых фактов, но пока предложенная линия довольно логично и обстоятельно связывает между собой наибольшее число фактов и вероятных обстоятельств».

Второв сел на стул верхом, уперся подбородком в спинку и принялся раскачиваться.

«Как действует космическая ДНК на человеческий

организм? Почему так различно поведение Кузовкина и Риты? Чем объяснить эту разницу? Он стар, она молодая? Он мужчина, она женщина? Что общего и что различного в действиях их препарата и препарата Артура на биосистемы? Артур скорее постарел, чем помолодел? Вроде бы Кроуфорд упоминал об этом. Или не упоминал?»

Второв вновь принимается рисовать на бумаге большими буквами вопросы и рядом — маленькими буквами ответы.

КУЗОВКИН

- 1) ДНК? Стал запоминать (логарифмы, билеты, энциклопедия);
- 2) ДНК? Обрел большую силу (перевернул автотележку с кормом);
- 3) ДНК? Помолодел. Здоровый оптимизм.

«Последний, третий пункт под вопросом. Мне никто не говорил, что он помолодел. Глаза молодые, блестящие... Тьфу, пропасть, это же из домыслов Вероники! Нет, пожалуй, третий пункт придется зачеркнуть, да и второй... Хотя для второго есть подкрепляющий, довольно убедительный факт. Старик переворачивает тележку. Все это так, но старик-то и раньше не жаловался на слабосилие. Но, пожалуй, самым бесспорным остается первый пункт. Укрепление и восстановление памяти, эрудиции, интеллектуальной восприимчивости».

РИТА

- 1) ДНК? Все время помнила о сцене гибели Кузовкина, никак не могла забыть об этой страшной минуте.
- 2) ДНК? Сильно сдала. Трагическое отношение к жизни.

«Но это, пожалуй, и все. А может, появились бы и другие свойства, если бы не гибель старика, которая вышибла ее из колеи. Так в чем же сущность действия ДНК на организм?»

АРТУР

- 1) ДНК. Стал запоминать (железнодорожное расписание и т. п.);
- 2) ДНК. Обрел ряд необычных свойств (недо-
стоверно), в том числе способность сверхпро-
ницаия.
- 3) ДНК. Постарел. Трагическое отношение к
жизни.
- 4) ДНК. Бредовый комплекс.
- 5) Разрушение зубов.

«И здесь третий пункт под вопросом. Но первый не вызывает сомнений, как и в случае Кузовкина...»

Второв задумался, потом снял трубку и позвонил в зубную поликлинику Академии наук. Там он узнал, что **Манич последнее время жаловалась на то, что у нее стали крошиться зубы.** У Кузовкина же просто были искусственные челюсти уже давно.

«Итак, еще одно свидетельство, что и у Кузовкина, и у Артура вещества были сходные...»

Открытие

Космическая ДНК возвращает человеку полную вещественную память, накопленную в течение его жизни.

«Да, это так. Человек может вспомнить, что он прочел, увидел, переувствовал. Так академик Кузовкин превратился в юного гения в том возрасте, когда некоторые начинают впадать в старческий маразм. Но, очевидно, все же память восстанавливается не сразу, а по принципу: главное — сначала, ярче, убедительнее; второстепенное — потом, не так остро, не столь явственно. Иначе человек захлебнулся бы в потоке воспоминаний. Но Рита, Рита... Ей, конечно, лучше было бы восстановить память в целом или еще лучше не восстанавливать ее совсем, чем носить перед своим мысленным взором этот ужасающий миг. Она погибла из-за препарата, который сделал Кузовкина гением.

В ее дневнике есть фраза: «Боже мой, и я еще хотела что-то записывать!» В ней умещается все необычайное и ужасное в этой странной истории. И все недосказанное об Артуре умещается в ней...»

Добро или зло?

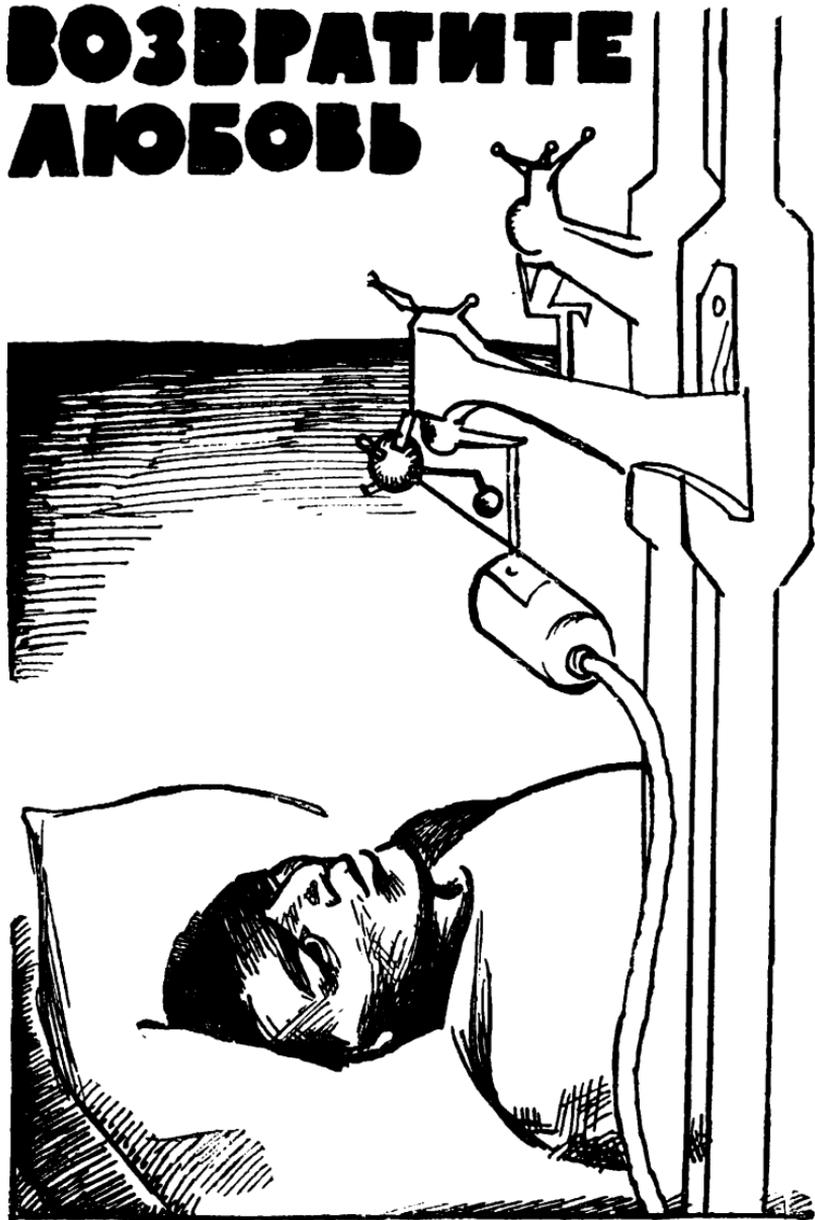
«Закрепление химической памяти... Возможность быстро усваивать и запоминать намертво! Шутка ли... Это позволит сократить обучение, резко ускорит общечеловеческий прогресс. Революционизирует методы хранения и распространения знаний. Избавит человечество от всяких информационных катастроф... Но смогут ли люди жить, ничего не забывая? Вот, допустим, я и Вера. Нам нужно очень многое забыть, иначе... Что иначе? И зачем нам нужно хоть что-то забывать? — Второв с удивлением ощутил в себе непривычную ясность. Он избавился от какой-то смутной тоски в груди. Все было просто в его отношении к Веронике. Теперь он *знал* то, что чувствовал всегда. Они были и остались чужими друг другу людьми. Оставалось только повторить это ей, повторить то, что было сказано много лет назад с надрывом, болью и обидой. Повторить спокойно и просто, осторожно, бережно, чтобы не причинить лишней боли. Нет, ничего не надо было забывать! И он вновь стал думать о Рите. — Рита, которая не сумела забыть! Артур? Здесь все не просто, все двойко. И кто возьмет на себя ответственность за выбор, за синтез *рго* и *сопга*? И про катастрофы нельзя забывать, про цепную реакцию в кварк-нейтринном потоке... Но это же управляемая реакция! Все дело только в режиме. Год работы, и вопрос будет решен. Так и напрашивается мысль, что это чья-то подсказка! Память — это власть над временем... Здесь стоит подумать. Крепко подумать... И, собственно, даже неправомерно ставить такую альтернативу: добро или зло. Нужно, чтоб было добро! И это зависит от нас, людей. Как мы захотим, так и будет. Природе ведь чужды такие понятия, как зло и добро. Все только в руках человеческих. И в моих руках тоже. Но не слишком ли я самонадеян? Умещается ли в мою жесткую схему вся противоречивая эволюция его гениальной идеи? Продолжатели будут отталкиваться уже от моих выводов. Они не вернуться к запутанной трагедии Кузовкина. Может, не торопиться, еще подумать? А подумать есть о чем! Здесь ведь не только проблемы информации. Но (предположительно, правда) и раскрытие необычайных возможностей человеческого

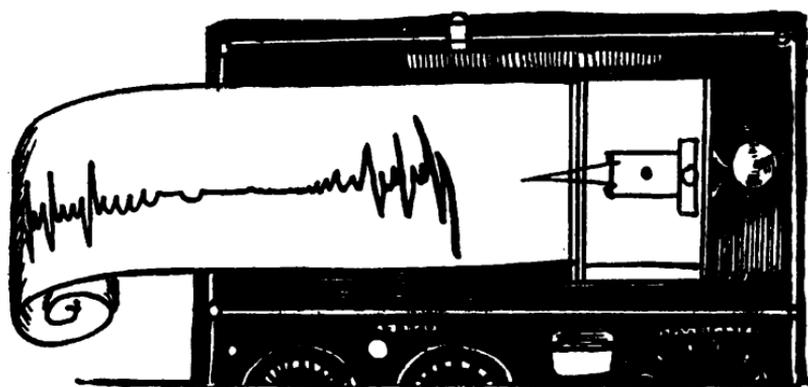
организма. И, не исключено, новых тайн материи! Да, есть о чем подумать...»

Второв почувствовал, что, подобно набирающему высоту самолету, выходит на новый круг. Все, что обступало его, тревожило, показалось далеким и вместе с тем удивительно ясным. Четким и просветленным. Безумная ярмарка теней, не затихавшая в его мозгу даже ночью, внезапно кончилась. Стало совсем светло.

Он взял телефонную трубку и, дождавшись гудка, набрал номер Падре.

ВОЗВРАТИТЕ ЛЮБОВЬ





Весь офицерский, сержантский и рядовой состав получают эрзац-копии своих возлюбленных. Они их больше не увидят. По соответствующим каналам эрзац-образцы эти могут быть возвращены.

Хемингуэй

Алые звездочки — на свежую стружку. Кап-кап-кап... Бартон нагнулся, чтобы не испачкаться. Теплые струйки побежали веселее. Наступило какое-то сладковатое изнеможение. В голове застучал дизель, к горлу подступила тошнота.

Он опустил на колени и осторожно прилег. Перевернулся на спину и уперся подбородком в небо. Как можно выше, чтобы остановить кровь. Во рту сразу же стало терпко и солоно. Голубой мир тихо закружился и поплыл. Он еще чувствовал, засыпая, пыльную колючую травку, и острые стружки под руками, и подсыхающую кровь на верхней губе. Но сирены уже не услышал.

Подкатила санитарная машина. Его осторожно положили на носилки и повезли. Еще в пути сделали анализ крови, измерили температуру, подсчитали слабые подрагивания пульса.

Когда через четыре часа Аллан Бартон очнулся в

нежно-зеленой палате военного госпиталя, диагноз был таким же определенным, как и постоянная Больцмана: «острый лучевой синдром». Впрочем, чаще это называли просто лучевой болезнью или белой смертью, как выражались солдаты охраны.

В палате стояла пахнущая дезинфекцией тишина. Изредка пощелкивали реле регулировки температуры и влажности и сонно жужжал ионоозонатор.

— Он не мог облучиться. Ручаюсь головой.— Эти слова майор медицинской службы Таволски повторял как заклинание.— Последние испытания на полигоне были четыре дня назад. Я сам проводил контроль людей после. У Бартона, да и у остальных тоже, разумеется, все оказалось в порядке. Вот в этом блокноте у меня все записано. Здесь и Бартон... Двадцать шестого июля, одиннадцать часов... показания индикатора — норма. А после ничего не было.

— А он не ходил на полигон потом? — спросил главный врач.

— Это был бы законченный идиотизм!

— Вы полагаете, что именно эту причину мне следует назвать генералу? — Главврач иронически поднял бровь.

— А ведь нас с вами это не касается. Пусть сам доискивается.

— Я уверен, что в этот момент он уже создает следственную комиссию.

— Совершенно согласен, коллега. Скажу вам даже больше: именно в этот момент он включает в комиссию вас.

Таволски достал сигареты, и главврач тотчас же нажал кнопку вентилятора.

— Что вы уже предприняли? — спросил главврач, устало вытягивая вперед большие, с набухшими венами руки.

— Ввел двести тысяч единиц кипарина... Ну, температура, пульс, кровяное давление...

— Нужно будет сделать пункцию и взять срез эпидермы.

— Разумеется. Я уже распорядился. Если бы знать, что у него поражено! Можно было бы попытаться приостановить циркуляцию разрушенных клеток.

Главврач молча кивал. Казалось, он засыпает. Тяже-

лые веки бессильно падали вниз и медленно приподнимались.

— Когда вы сможете определить полученную дозу? — Вопрос прозвучал сухо и резко.

— Через несколько дней. Когда станет ясна кинетика падения белых кровяных телец.

— Это не лучший метод.

— А что вы можете предложить?

Главврач дернул плечом и еще сильнее выпятил губу.

— Надо бы приставить к нему специального гематолога. А?

— Разве что Коуэна?

— Да, да. Позвоните ему. Попросите от моего имени приехать. Скажите, что это ненадолго. Не очень долго.

— То есть... вы думаете?..— тихо спросил Таволски.

— Такое у меня предчувствие. Я на своем веку насмотрелся. Плохо все началось. Очень плохо.

— Но ведь это только на пятый день!

— Тоже ничего хорошего.— Главврач покачал головой.— Какая у него сейчас температура?

— Тридцать семь ровно.

— Наверное, начнет медленно повышаться... Ну да ладно, там увидим.— С видимым усилием он встал из-за стола и потянулся.— А Коуэну вы позвоните. Сегодня же. А теперь пойдете к нему. Хочу его еще раз посмотреть.

*1 августа 19** года. Утро. Температура 37,1. Пульс 78. Кровяное давление 135/80*

Бартон проснулся уже давно. Но лежал с закрытыми глазами. Он уже все знал и все понимал. Еще вчера к нему в палату поставили батарею гемоцитометрических камер. Если дошло до экспресс-анализов, то дело плохо. Кровь брали три раза в день. Лаборанты изредка роняли малопонятные фразы: «Агглютинирующих сгустков нет», «Показались метамиелоциты».

Во всем этом был какой-то грозный смысл.

Бартон почувствовал, как Таволски взял его руку. Подержал и положил назад на одеяло.

— Ну, и что вы нащупали, Эйб?

— Вы не спите, Аллан? Наполнение хорошее. Как вы себя чувствуете?

— Престранно, майор. Престранно.

— Что вы имеете в виду?

— Не знаю, как вам объяснить... Понимаете, такое ощущение, будто все это сон, наваждение. Я смотрю на свои руки, ощупываю тело — ведь ничего не изменилось, нет никаких видимых повреждений. Да и чувствую себя я вполне сносно. Только легкая слабость, но это же пустяки. Чашечка кофе или немного сухого джина с мартини — и все как рукой снимет. Так в чем же дело? Почему я не могу подняться? Кто сказал, что мое здоровое тело прошито миллиардами невидимых пуль? Кто это знает? Почему я должен в это верить? Я больше верю своему телу. Оно такое здоровое с виду. Разве не так? И тогда я приподымаюсь, сажусь на постель, подкладываю под себя подушку. И медленно приливает к щекам жар, затрудненным становится дыхание, холодный пот выступает на лбу, горячий пот заливает горло. Мне делается так плохо, так плохо... И я падаю обратно на постель и долго-долго не могу прийти в себя. Все изменяет мне, все лжет. Мое тело, память, логика, глаза. Вот как я чувствую себя, Эйб. Престранно чувствую. Теперь вам понятно, что значит престранно?

— Я все понимаю, док. Но вы не должны так больше делать.

— Не должен? Что не должен? Чувствовать себя престранно не должен?

— Я не о том. Вам нельзя подыматься. Нужно только лежать.

— Зачем?

— Вы же умный человек, док. Гениальный физик! Мне ли объяснять вам, зачем нужно лежать?

— Да. Объясните, пожалуйста, зачем. Мне непонятно. Я обречен, а мне нужно лежать. Какой смысл? Впрочем, к чему этот спор, я все равно не могу подняться. Какая престранная штука, эта невидимая смерти! Ты ничего не чувствуешь, ничего не знаешь, но ты уже обречен. Часы заведены, и мина все равно взорвется. Будешь ты слушать врачей или нет, мина все равно взорвется. Так-то вот, Эйб... Расскажите лучше, что там нового на базе.

— Господи, что там может быть нового! Все ужасно обеспокоены, очень сочувствуют вам. Хотят вас видеть.

— Не надо. Я не хочу никого видеть.

— Понимаю. Но вы напрасно себя отпеваеете. Вот увидите, все окажется не таким уж страшным. Мы вас подыдем... Прежнего здоровья у вас уже, конечно, не будет, но мы вас подыдем. Ничего угрожающего пока нет.

— Скажите честно, Эйб, сколько я схватил?

— Не знаю, Аллан. Не знаю! Мы ведь понятия не имеем, где и как это произошло. Откуда же тут знать дозу?.. Погодите немножко, все скоро прояснится.

— Ну примерно, Эйб, примерно! Больше или меньше шестисот?

— Ничего не могу вам сказать. И притом, откуда вы знаете, что шестьсот рентген — смертельная доза?

— Читал.

— Ерунда это. Все зависит от вида излучения и от того, какие органы поражены. Я знал одного. Он поймал тысячу двести... Выкарабкался. А другой, у него всего... В общем, не забивайте себе голову дурацкими мыслями. Может быть, вы бы хотели увидеть кого-нибудь из близких? Скажите. Я сообщу.

— Нет, Эйб. Спасибо. У меня нет близких, с которыми мне бы хотелось повидаться... теперь. Потом — не знаю, а сейчас — нет, не надо.

— Принести вам что-нибудь почитать? Это развлечет вас. Я назначил вам капельное вливание глюкозы на физиологическом растворе. Довольно утомительная процедура. В это время лучше всего читать. Хотите какой-нибудь детектив?

— Спасибо, Эйб. Принесите лучше фантастику. Она не только отвлекает от болезни, но и от работы тоже. Создает эффект присутствия. Точно ты все еще всемогущий теург-исследователь, а не полутруп. Нам, физикам, все время надо подсовывать какую-нибудь работу. Простой для нас опасен. Фантастика очень удачный эрзац. Достаньте мне фантастику, Эйб.

*2 августа 19** года. Ночь. Температура 37,2. Пульс 78. Кровяное давление 137/80*

У меня нет близких, которых бы я хотел увидеть здесь? У меня нет близких?! А Дениз? Отчего так кружится голова? Пространство свертывается в трубу и вытягивается в конус. Как гулко и звонко здесь эхо! Скорее

в этот тоннель из световых колец. Скорее назад. И я увижу Дениз.

Сверкает ночь. Горят, переливаются, мигают газосветные трубки реклам. Многоэтажные отели залиты светом. Они кажутся прозрачными, как желтые, чуть затуманенные кристаллы. Безлюдно шоссе. Пустынен и темен пляж. Сказочный лес из поникших конусов. Это спущены разноцветные тенты. Где-то играет музыка. И в такт ей бухает гулкий прибор. Слева от нас казино и ночные бары. Ветер приносит запах духов и гниющих фруктов. Справа — черный провал океана и пляж, который кажется затонувшим. Еле видны огоньки судов на внешнем рейде. Моргает белый циклопий глаз маяка. А мы идем по затененной листвою дороге. Мимо разноцветных огней и освещенных витрин, вдоль призрачного пляжа.

Но вот дорога раздваивается. Освещенный рукав сворачивает к океану. Это путь на пирс. И, влекомые властной традицией, мы идем в черноту, чтобы целоваться под фонарем, угасающим в мутно-зеленом островке светлой воды. Мы одни на дороге, но там мы не будем наедине. И все же идем, словно притянутые магнитом.

На пирсе старик рыболов. Он ведет над бездной длинное удище. Стайка узких темных рыб приплыла на огонь. Они качаются в молочно-зеленом прибое, потом исчезают в черной, как нефть, воде и вновь возвращаются, пересекая рожденную раскачивающимся фонарем границу. А старик суетится. Мечется по пирсу, перевешивается через перила. Он без усталости водит удищем, но рыба клюет так редко. Он ловит на живых креветок. Я бы сам поймался на такую наживку, а глупая рыба не хочет. Вся стая качается на волнах, ослепленная, замороженная. Исчезает под пирсом и опять появляется. У старика на животе противогазная сумка. В ней еще трепыхаются пять рыбок. Он показал нам их, и глубокие морщины на его лице разгладились от детского счастья. Он доволен, полночный рыбак.

Океан разбивается о сваи в мелкие брызги. Соль и свежесть тают на наших губах. Скамейки и шезлонги залиты водой. Головы неподвижно застывших парочек тоже сверкают влажным блеском.

Мы уходим назад, в темноту. И я вижу в конце аллеи яркую малиновую точку. Мы почти бежим, чтобы, зады-



хаясь от смеха, увидеть еще одного ночного сумасшедшего — продавца жареных орехов, раздувающего угли в дырявой железной жаровне.

Потом, держа в руках горячие, благоухающие дымом пакеты, опять спешим в темноту, чтобы броситься на еще не остывший песок. Я вырываю ямку и осторожно опускаю туда горящую зажигалку. Вот наш крохотный островок среди ночи, в которой утопает мир. Красноватые отблески ложатся

на лицо Дениз. А тени под глазами становятся еще чернее и глубже. Три черных провала: глаза и рот. Мы плывем через вечность — два маленьких теплых комочка, вдруг поверивших в сказку. Нам кажется, что мы приблизились к великому таинству и тоже будем вечны и наша любовь останется вечной.

Я сказал ей потом: «Три года». — «Целых три года!» — сказала она. «Всего три года», — поправил я. Подумать только, через одиннадцать месяцев истекает срок моего контракта... Не истекает—истекал. Теперь время остановилось, и контракт пролонгирован до Страшного суда.

Я нигде не писал о Дениз. Ни в одной из анкет. Для

военного ведомства у меня нет невесты. Иначе бы с нее сняли молекулярную карту. Теперь, даже если захочу, мы никогда не увидимся с ней. Юридически она посторонний человек. А посторонним лицам нечего делать на секретной базе. Ее даже не пустят в зону, если она каким-то чудом узнает обо мне и захочет приехать. Но она не узнает. Писать отсюда можно только близким родственникам, а Дениз — постороннее лицо. Ее адреса нет в спецреестре на пункте связи. Если я напишу ей письмо, его все равно задержат. Вот какой ценой приходится расплачиваться за отказ от молекулярной карты. Даже о том, что меня не стало, она узнает только год спустя. Но все правильно. Иначе уже завтра утром я бы увидел у своей кровати молекулярную копию. Куклу, которая может ласкать и лить слезы. У нее тугая теплая кожа, тот же голос и смех, та же привычка натягивать чулок, выбросив вперед ногу. А ты ведь так одинок здесь, так истосковался. И ты не заметишь подмены. Ты не успеешь за две недели короткого счастья заметить обман. И кукла простится с тобой, и ты поцелуешь ее холодную, мокрую щеку. Прощай, прощай! Прощай, уникальный дорогостоящий автомат, ты никогда не разгласишь стратегических секретов!

К нам на далекий полигон, где беззвучно и невидимо взрываются нейтронные бомбы и гамма-люстры, иногда приезжают женщины. Раз в год на две недели. Мне кажется, что все они куклы. Иначе почему же потом мужчины так горько и тупо пьют в одиночку? Напиваются вдрызг, разливая, как воду, «красную лошадь»? Отводят глаза, презирая самих себя, люто и остро тоскуют?

А быть может, все это не так и к ним приезжают настоящие женщины, из плоти и крови? Молекулярные копии производят лишь в самых экстренных случаях. Интересно, то, что случилось со мной,— это экстренный случай?

И все же, наверное, это нужно испытать самому, прежде чем пытаться понять тех, других. Я не верю, что можно повторить и Дениз. Нельзя же вернуть ушедшие мгновения, и ту ночь на пляже тоже нельзя вернуть. Как бы ни была совершенна новая форма, она всегда нова. Нова во времени. У нее нет прошлого, а только чужая память. Память Дениз о той ночи, но не Дениз, прошедшая через ночь.

Я слышал историю одного летчика. Он служил в наших войсках, действующих в джунглях. Маленькая локальная война. Но на таких войнах тоже убивают. Их базу атаковали ночью.

Нападающие появились точно гномы из-под земли. Они пустили на проволоку каток для укладки асфальта. В жутких искрах, с шипением и треском он врезался в электрическое ограждение и смял бетонный столб. Потом застыл — дымящийся, весь в черных пропалинах от крошечных молний. Они бросились в эту узкую брешь с винтовками на груди и фанерными листами над головой. По фанерным мосткам, по узким, изолированным одеялами лазам хлынула живая бурная река. Завыли сирены. С вышек ударили снопы света. В лучах прожекторов плясали струи дождя и дымились туманные клочья (был период муссонов). Нападающие пустили ручные реактивные снаряды, и прожекторы потухли в нестерпимых магниевых вспышках. Наши ввели в бой огнеметы. Раскаленные клубы напалма, оттененные угольными струями, зажгли землю перед первой линией окопов. Маленькие худые люди с автоматами Доуса и кривыми мечами падали в светящееся облако, прижимая руки к глазам. И все же их было слишком много. Они всё лезли и лезли сквозь проволоку. По ограждению ударили пулеметы. Трассирующие пули перечеркивали темные фигурки. Но на месте упавшего оказывался новый. В окопы полетели гранаты и фосфорные бомбы. В разных концах базы раздалась взрывы. Рвались неведомо кем подложенные пластиковые заряды. В окнах офицерской столовой полетели все стекла. Загорелся гараж. Из шести вертолетов уцелел всего один.

Наши зарядили автоматы специальными дисками. Пуля с белым пояском превращала человека в пыль. С истерическим воем ночь и туман прошили желтые нити. Казалось, наступление захлебнулось. Еще секунда такого огня, и противник не выдержит. Но откуда-то из римбы¹ по базе ударили реактивные минометы. Наступающие усилили напор. От взрыва бензиновой бомбы загорелся штаб. Телефонная связь прервалась. Очаги обороны оказались отрезанными друг от друга. Партизаны

¹ Римба — лес в тропической Азии.

сумели закрепиться в районе теннисных кортов и обрушили на наши позиции огонь тяжелых пулеметов. Наши не могли даже высунуться из окопов. Кое-где бой кипел уже в ходах сообщения. Нападавшие мастерски орудовали своими короткими мечами и лучше ориентировались в темноте. Тогда полковник бросил в бой особый отряд разведчиков. В маскировочных балахонах, с респираторами на лице, они, как дьяволы, скользнули в темноту. Почти неслышно лопнули гранаты с усыпляющим газом. Разведчики работали бесшумно и в одиночку. Они прекрасно знали свое дело. Через несколько минут ходы сообщения были очищены, а вскоре замолчали и пулеметы на теннисном корте. Опять судьба боя повисла на волоске. Чаши весов заколебались и пришли в подвижное равновесие.

И опять база вздрогнула под серией взрывов. Легкие танки, прямой наводкой обстреливающие заграждения, вышли из строя. Загорелась библиотека. И вдруг стало светло как днем. С воем устремился в небо сноп огня. Что-то несколько раз хлопнуло, и над землей повисли клубы света и копоти. Удушающе и сладко запахло горящим бензином. Склад горюче-смазочных материалов перестал существовать. Взрывная волна снесла ангар с инженерными машинами. Из выбитых окон штаба, кружась и планируя, вылетали бумажки. Полковник отдал приказ применить молекулярный дезинтегратор. Но тут же выяснилось, что похищены ультразвуковые борройны. Это было начало конца.

Все дымилось: земля, небо, струящаяся с неба вода. В раскаленном тумане металась темные призраки людей. Разведчиков перебили поодиночке. Бронеавтомобили прикрыли бреши в проволоке. Но вновь заработали спаренные пулеметы на корте. Стало ясно, что основные силы партизан, прорвавшихся на территорию базы, сосредоточились в северо-западном углу, в районе стрельбища. От окопов первой линии их отделял только широкий бассейн с двумя вышками для прыжков. На этих-то вышках они и устанавливали сейчас пулеметы. Загипнотизированные светом, темные фигурки людей застыли, как в остановленном кадре. С ними было покончено в несколько секунд. Потом ударили наши огнеметы. Напалм пошел по воде. Но засевшие на другом берегу бассейна

партизаны успели вовремя отступить. И все же это им дорого обошлось. Автоматы били почти в упор по отлично видимым целям.

Закрепляя мгновенный успех, полковник атаковал противника газом. Однако партизаны, неведомыми путями просочившиеся в тыл, сумели подорвать высоковольтную подстанцию, и плазменные шары лопнули в воздухе, полыхнув невероятным фиолетовым светом.

Ракетчики в джунглях тут же усилили огонь. Гранатами и зажигательными бомбами были выведены из строя броневые автомобили, защищавшие заграждение. Большая группа партизан прорвалась на территорию и, неся огромные потери, обошла передовую линию обороны. Стрельба теперь доносилась со всех концов базы. Связи между отдельными районами больше не существовало. Рукопашные схватки в окопах завязывались все чаще. База еще ожесточенно сопротивлялась, но судьба ее была решена. В ничем не защищенные бреши вливались все новые и новые отряды нападающих.

В небо поднялся единственный из уцелевших вертолет. С высоты двухсот футов он расстреливал атакующие группы, перелетая с одного конца базы в другой.

С вышек, которые к тому времени уже были заняты партизанами, открыли огонь. Пришлось подняться. В исходе боя не могло быть сомнений. Внезапно пилот заметил мечущуюся среди дыма и пламени женскую фигурку. На базе была только одна женщина — жена полковника, приехавшая к нему на две недели.

Вертолет пошел на снижение. Над самой землей, не переставая вести огонь, стрелок раскрыл дверцу и выбросил лесенку. Женщина вцепилась в нее и замерла. Пилот начал поднимать машину. Тогда женщина зашевелилась и быстро-быстро стала карабкаться по раскачивающейся лесенке. Стрелок высунулся, подхватил ее и втащил в кабину. И, медленно и тяжело накренившись, полетел вниз, прощитый автоматной очередью. Пилот захлопнул дверцу и взмыл вверх.

Сделав над пылающей базой круг, вертолет полетел к океану, где у самого берега стоял атомный авианосец с эскортом судов охранения.

С базой к этому моменту все было кончено. Партизаны добивали последних ее защитников. Часто оборачива-

ясь назад, пилот и женщина еще долго видели пылающее во мраке малиновое кольцо.

Но вертолет не дотянул до океана. Из-за нехватки горючего летчик совершил вынужденную посадку в заболоченной римбе. Огромный двадцатипятилетний детина и маленькая женщина, на глазах которой обезглавили ее мужа, оказались заброшенными в душной и смрадной мангрове среди причудливых сплетений воздушных корней. Женщина поминутно вскрикивала — ей повсюду мерещились змеи. Холодные скользкие грибы, источенные слизняками, то и дело касались ее, и она опять вскрикивала, гадливо поеживаясь. А через несколько часов место, которого коснулся гриб, опухало, и она принималась плакать, горько жалуясь на судьбу. Словом, она вела себя, как всякая цивилизованная женщина, очутившаяся вдруг в джунглях. Но пилота не оставляло подозрение. Он-то знал, кто может приехать на стратегическую базу на две недели. И он следил за ней денно и ночью, точно старался уличить ее в каком-то страшном поступке.

Его подозрительность росла с каждым днем. Кое-какие основания для этого были. Женщина стала вести себя с ним так, словно это не она совсем недавно, спрятавшись среди бочек, видела, как пронесли на бамбуковой палке голову ее мужа. Впрочем, и на него временами накатывала волна какого-то помутнения. Он и сам забывал тогда, что у нее был муж — его хороший приятель, и ему начинало казаться, будто она всю жизнь провела с ним и к нему приехала на эти две недели.

Но потом на него находило. Изводил ее дикими распросами, порой жестоко бил, чтобы через минуту молить о прощении, осторожно снимая губами слезинки с ресниц. Горькие, соленые слезинки. Как-то он разбил ей губы в кровь и с напряженным любопытством следил за тем, как тонкая алая струйка сбегает по подбородку и расплывается на сэйлоновой блузе ржавым пятном.

На другой день он нежно целовал коричневую корочку на ее распухшей губе, но через час спрашивал, всегда ли так быстро свертывается у нее кровь.

Они пробирались сквозь джунгли по компасу, сгибаясь под тяжестью рюкзаков. Покидая вертолет, они забрали с собой всю провизию. Но с каждым днем рюкзаки становились легче, а конца мучительному пути все не

было. Она кротко и безропотно сносила самые страшные оскорбления. И это еще больше настораживало и раздражало его.

Припадки буйства овладевали им все чаще. То мольбами, то побоями он во что бы то ни стало хотел вырвать у нее признание. «Кто же ты?» — кричал он. И столько было тоски в этом нечеловеческом вое, что где-то в джунглях отзывались на него звери и долго-долго не могли потом успокоиться.

А она, казалось, не понимала, чего он от нее хочет. Легко переходила от слез к смеху, преданно следила за ним большими фиалковыми глазами.

И как-то ночью, когда вокруг, точно глаза хищников, светились грибы и звери неведомыми тропами шли на водопой, он совсем обезумел. «Я должен знать, кто ты, — хрипло сказал он. — Я больше не могу так. Скажи мне, кто ты... Признайся! Прошу тебя...»

Он разбудил ее. Но она по-прежнему не понимала, чего он от нее хочет, или делала вид, что не понимает. Тогда он задушил ее, с ужасом сознавая, что делает нечто страшное и непоправимое, но не мог остановиться. Когда она затихла в его руках, он закричал, рванулся, запутался в парашютном шелке. Наконец как-то выбрался и побежал, продираясь сквозь влажные колючки. Он бежал и все пытался рассмотреть свои руки. Но было темно, и он ничего не видел, а все бежал, бежал. Так он и не понял, что все же произошло, не разрешил ничего, не избавился. Бежал и все звал ее, пытаясь разглядеть свои руки. Но только летучие собаки бесшумно пронеслись над ним.

Из леса он вышел заросшим и грязным, с дикими, блуждающими глазами, обведенными землистыми кругами, ясно видимыми на нездорово зеленой коже. Говорят, он напоминал сумасшедшего лемура, если только лемуры могут сойти с ума.

Его поместили в психиатрическую больницу. С помощью хемотерапии кое-как вправили мозги. Но, по-моему, он так и остался свихнувшимся. Недаром некоторые принимают его рассказ за маниакальный бред. Ведь он один уцелел из всего гарнизона и долго шатался в римбе. Но кто может знать... Он же один уцелел из всего гарнизона.

Я почему-то поверил в эту историю. И сразу же пред-

ставил себе нас с Дениз. Мне сделалось страшно. Будто все это произошло со мной и это я бреду сквозь мокрый туманный лес, а Дениз навсегда осталась там... во мраке. Белые люминесцентные пятна грибов перед глазами и касание мокрой паутины к лицу, а руки нельзя разглядеть. Что-то невидимое то закрывает грибок, то открывает. Это и есть рука. Больше ничего не видно.

Тогда-то я и поклялся себе, что ни за что не разрешу снять с Дениз молекулярную карту. Ни за что! И хорошо, что так оно и случилось. Я запомню ее такой, как тогда на пляже. Она стояла на коленях перед ямкой, в которой горел огонек, будто молилась неведомому богу. Длинная черная тень ее тянулась по тронутому багровыми отблесками песку к кромешному океану.

Вот такой я и запомню ее... Большого и не нужно. Все равно уже ничем и ничему не поможешь. Почему это должно было произойти именно со мной? Я так был уверен, что меня минуют все беды и несчастья. Как оно случилось, когда, где? Знать или не знать — не все ли равно, если ничего нельзя изменить? Сколько мне осталось? Нельзя же так лежать и думать, думать. Слишком мучительно. Надо бы как-то иначе... Но почему я так уверен, что обязательно умру, почему я это так твердо знаю? Бывают же случаи... Вдруг у меня легкая форма?.. Но не надо, не надо! Ничто так больно не точит сердце, как надежда.

3 августа. Ординаторская

— Как вы его сегодня находите? — Главврач выглядел помолодевшим. Пепельно-серые волосы его были коротко и аккуратно подстрижены. Тщательно выбритые щеки даже слегка порозовели.

— До вас ему, во всяком случае, еще далеко, — усмехнулся Таволски, помогая шефу надеть халат.

— Да что вы, коллега! Есть какие-нибудь сдвиги к лучшему?

— Радиоактивность сывороточного натрия оказалась ниже, чем это можно было предполагать.

— Не очень-то надейтесь на это. — Главврач махнул рукой и, как всегда, брюзгливо выпятил губу. — Не обольщайтесь. Это еще ничего не доказывает. Ровно ничего... Как сегодня кровь?

Таволски протянул ему сиреневый бланк.

— Так-с... Лимфоциты, нейтрофилы...— Голос его постепенно затихал, и к концу он уже едва слышно бубнил под нос и раскачивался, как на молитве.— Моноциты, тромбоциты, красные кровяные тельца...— Вдруг внезапно вскинул голову и резко сказал: — Отклонения от нормы не очень существенны. Белых телец свыше двадцати пяти тысяч! Но и это ничего не доказывает. Своего рода релаксация. К сожалению, картина скоро изменится... Вы замеряете время свертывания крови?

Таволски кивнул.

— Хорошо. Продолжайте. А как спинной мозг?

— Пункцию, как вы знаете, сделали позавчера... Картина довольно неопределенная. Вероятно, и здесь требуется известное время...

— Да, да, конечно. Как только количество белых телец станет падать, начинайте обменное переливание. Введите в кровь двадцать миллиграммов тиаминхлорида и пятьсот тысяч единиц кипарина. И нужно принять все меры против возможной инфекции.

— Как вы смотрите на пересадку костного мозга?

— Пока повремените. Нужно выявить очаги поражения... Мы ведь все еще не знаем даже приблизительного количества рентгенных эквивалентов. По-видимому, желудочно-кишечная стадия болезни вступает в острую фазу. Надо быть начеку. Интересно все же, затронут ли у него живот...

— Коуэн приедет послезавтра.

— Да, да, превосходно... Все же постарайтесь в первую очередь установить, затронут ли живот. И вообще следите за его желудком.

Таволски пожал плечами.

— Скоро десять. Пора на обход,— сказал он, направляясь к умывальнику.

*3 августа 19** года. Утро. Температура 37,2. Пульс 76. Кровяное давление 130/80*

— Доброе утро, Аллан. Как провели ночь?

— Спасибо. Долго не мог заснуть. Всякие мысли... А спал хорошо.

— Вам нужно побольше спать. Снотворное на ночь,— сказал Таволски, обернувшись к сестре.— Я принес вам

обещанную фантастику. Сборник коротких рассказов. А сейчас давайте осмотрим вас.

Сестра осторожно приподняла пододеяльник. Бартон чуть поежился и отвернулся к окну.

Таволски внимательно оглядел его живот, осторожно касаясь кожи холодными длинными пальцами. Они были желтыми от никотина, так как доктор курил сигареты без фильтра и докуривал их почти до конца. Он долго присматривался к бледно-розовому пятну там, где кончается линия загара. Потом обвел это пятно ногтем и спросил:

— Здесь болит?

— Нет,— ответил Бартон. Ему стало чуть холодно. Кожа покрылась крохотными пупырышками. Он старался не глядеть на сестру.

Таволски коснулся пятна каким-то блестящим инструментом. Прикосновение холодного металла вызвало легкую дрожь.

— Так. Все в полном порядке. Я доволен вами, Аллан. Читайте вашу фантастику. Я ее терпеть не могу. Мы скоро увидимся опять.

Сестра закрыла Бартона. Но он еще долго не мог согреться и прогнать внутреннюю дрожь...

Он взял книгу.

«— А-а! Добро пожаловать, добро пожаловать!— сказал Дэвис, завидев Питера Бэйкера, и что-то шепнул бритому.— Чем могу служить властелину моей драгоценной сестрицы?— Он поднялся со старенького, полинявшего от непогоды шезлонга и пожал пухлую, влажную ладонь Питера.

— Эллен просила у тебя порошок, ты же сам обещал,— торопливо произнес Бэйкер, точно боялся встретить отказ.

Шурин всплеснул руками.

— Вот,— сказал он, обращаясь к бритому,— типичный представитель микрокосма. Он вторгается в макро-систему и требует свое. Ему наплевать на великое, свершающееся на его глазах.

Бритый смущенно улыбнулся, закашлялся и еле заметно кивнул.

Питер почувствовал тоску. Микрокосм, система... Он хотел сказать, что ему вовсе не наплевать на великое. Но

он не понимал, о каком великом шла речь, и, может, на такое великое и стоило плюнуть.

— Не сердись, родственничек, я шучу,— сказал Дэвис,— но тебе придется подождать. Естественно, это немного оттягивает час гибели ваших клопов, но, в конце концов, в этом мире кто-нибудь всегда остается в проигрыше.

Питер кивнул головой и присел на складной стульчик. Он втянул свежий воздух и, сладко щурясь, посмотрел на небо. Оно было бездонным и удивительным. Мелкие нежные облачка догоняли друг дружку, старательно обходя стороной сверкающий солнечный глаз.

— ...солнца,— донесся до Питера прыгающий голос шурина.— Таким образом, это, пожалуй, самая идеальная модель процесса, которая была сделана человеком.— Дэвис ткнул пальцем в ночник, стоявший на колченогом дачном столике.— Самое интересное, что совершенная... Вы понимаете, что я обозначаю этим словом?.. Так вот, совершенная модель обладает свойством жесткой связи с моделируемой системой. Поняли?

Бритый поднял брови и меланхолично сказал:

— Вот это-то меня и потрясает.

— И тем не менее это так,— твердо сказал Дэвис. Он, улыбаясь, посмотрел на собеседника.— Здесь заключено солнце, самое настоящее светило, работающее поденщиком у Авроры. Естественно, уменьшенное в некоторое число раз... А все остальное — норма, включая и температуру.

Дэвис ласково пощелкал по полупрозрачному цилиндру.

— И самое главное — жесткая связь с исходным объемом,— повторил он.

— Да-а,— протянул бритоголовый статист.

Они помолчали.

— Ну хорошо,— спохватился шурина.— Вернемся в микромир. Я пойду поищу порошок. Если хотите меня сопровождать... я еще кое-что расскажу...»

Бартон заложил книжку пальцем и закрыл глаза. Он медленно вдохнул и еще медленнее выдохнул — на три счета. И так несколько раз. Потом запел, не разжимая

губ. Так он боролся с тошнотой. Когда стало немного легче, опять принялся за чтение.

«Шурин и бритый ушли. Питер остался один. Он поправил шляпу и с интересом посмотрел на сосуд, стоявший на столе. Кусок трубы из неизвестного пластика, снизу и сверху венчаный темными крышками со множеством разноцветных лакированных проводков. В его матовой глубине Питер разглядел искорку величиной с булавочную головку.

«Это и есть модель солнца?» — подумал он, подсаживаясь ближе.

Он несколько минут разглядывал невзрачное сияние, исходившее от искры, и думал: «Хорошенькое солнце, нечего сказать! Ну и нахал этот Дэвис!»

Внезапно ему что-то почудилось. Какое-то чуть уловимое движение внутри цилиндра, словно искра вспыхнула ярче. Питер внимательно присмотрелся, и ему показалось, что искорка начала пухнуть и увеличиваться. Сначала как дробь, потом — горошина, дальше — цент... Она росла, как выдуваемый пузырь.

Перепуганный Питер Бэйкер схватил свою шляпу и накрыл цилиндр.

Сначала он даже не понял, что произошло. Потом содрогнулся. На землю хлынула тьма. Тяжелый чернильно-густой мрак залил парк. На темном небе проступили яркие звезды. Дом, трава, деревья, порхающие бабочки — все растворилось в волнах внезапно наступившей ночи.

Питер оцепенел от ужаса. Он сидел затаив дыхание и не мог пошевелиться.

Какой-то частичкой сознания, не поддавшейся смятению, он старательно и холодно фиксировал особенности разразившейся катастрофы. Его поразило, что наступившая ночь была по-особенному непроглядной. То черное, вязкое, что угадывалось, а не виделось вокруг него, имело странный зеленый оттенок. В воздухе разливался таинственный зеленоватый свет, как будто в аквариуме зажгли слабую лампочку...

— О идиот, о идиот! — Питер услышал голос шурина и шум его торопливых шагов.

Что-то упало к его ногам, и страшное ослепительное сияние, похожее на взрыв, ударило в глаза. Земле воз-

вратили день. Дрожащими руками Питер Бэйкер поднял свою зеленую шляпу...»

*4 августа 19** года. Ночь. Температура 37,5. Пульс 90. Кровяное давление 140/85*

Не могу понять, нравится мне рассказ или нет. Скорее он беспокоит, тревожит меня. Мысль о единстве доведена здесь до абсурда. Но впервые она получила конкретное, обывательское воплощение. Это уже не мистический бред египетского жреца или средневекового алхимика и не абстрактные математические выкладки какого-нибудь дремучего теоретика из Беркли. Я помню одно место у Рамакришны:

«Вселенная померкла. Исчезло само пространство. Вначале мысли-тени колыхались на темных волнах сознания. Только слабое сознание моего «я» повторялось с монотонным однообразием... Вскоре и это прекратилось. Осталось одно лишь существование. Всякая двойственность исчезла. Пространство конечное и пространство бесконечное слились в одно». Вот оно! «Пространство конечное и пространство бесконечное слились в одно». Полубезумный-полупророческий лепет, косноязычное бормотание, пронизанный внезапной молнией бред оракула. Идея такого единства, надежда на такое слияние никогда не покидали человечество.

Змея, пожирающая собственный хвост,— мудрейший из алхимических символов. Где-то замыкаются бесконечности, где-то большое переходит в малое и безумие превращается в здравый смысл.

Меня эта мысль преследовала, как навязчивый, но почти позабытый мотив. Триумф науки я воспринимал как личное поражение. Теоретики рассчитали диаметр фридмановской закрытой модели Вселенной. Совместные усилия Беркли, Церна, Дубны и Кембриджа привели к экспериментальному обнаружению первичных кварков вещества. Бесконечности были обрублены с обоих концов. Мир по-прежнему оставался неисчерпаемым, но конечным. И я понял, что рожден замкнуть его.

Степень доктора философии я получил в Колумбийском университете, потом работал в Кавендишской лаборатории, в Геттингене, Копенгагене. Я исходил из весьма

спорной космогонической гипотезы Леметра-Зельдовича о протовселенной¹, сжатой в один чудовищный атом. Нигде ничего, только странный сгусток материи. И вот он взрывается в некий условный нуль времени. Появляется вещество, формируется пространство, начинает течь время. Тук-тук... Тук-тук... Тук-тук... — отсчитывает метроном. Пространство распрямляется, чудовищное тяготение постепенно ослабевает, со скоростью света увеличивается диаметр новорожденной Вселенной. Тук-тук... Вот уже можно различить элементарные частицы, которые ассоциируются в первые неустойчивые атомы легких элементов. Черный провал — бесконечность. Галактики, звезды, планеты... Тук-тук...

Где-то на периферии зауряднейшей спиральной галактики, в системе тривиальной желтой звезды, на обычной планете зарождается жизнь. Эволюция слизи, растворенной в H_2O , порождает гениальный мозг Эйнштейна. Так природа осознает самое себя и с удивлением открывает, что разлетающиеся галактики — это все еще длящееся следствие первоначального взрыва. Но не этим замыкается логический круг. Парадоксальность ситуации в другом. Мы свидетели крушения того единства, о котором грезили еще в колыбели цивилизации. Конечное и бесконечное были сжаты в том единственном первозданном сгустке. Он был атом и Вселенная одновременно, элементарная частица и бесконечная масса, чудовищное тяготение которой остановило время.

Но мир взорвался, распрямился и стал двойственным: бесконечно большим и бесконечно малым, конечным и необъятным. Вещество отделилось от поля, пространство — от времени. Точнее, такое разделение совершил наш разум. Он разъял неразъединимое, проанализировал и вновь соединил путем блистательного математического синтеза.

Мне говорят, что есть граница,
Но до нее не дотянуться,
Она от нас куда-то мчится,
Как тень летающего блюда.

¹ Протовселенная — гипотетическое состояние материи, предшествовавшее образованию звезд и планет.

Я пытался написать поэму «Грезы об утраченном единстве». Но где бессильны интегралы, там беспомощен и анапест¹. Впрочем, столь же тривиально и инвариантно звучит и другой постулат: «У меня нет таланта».

В поэме мыслилась глава: «Памятники единства». Это сверхплотные нейтронные и гиперонные звезды. По сути, это упрощенные модели протовселенной. Нейтронная звезда с не меньшим основанием может быть названа гигантским атомом. Частицы там сближены на такое же расстояние, как нуклоны в ядре. Можно и иначе. Звезда в гравитационном коллапсе²—своего рода кварк, составленный из частиц, сближенных на расстоянии меньше, чем их собственные диаметры. Так большое замыкается в малом, а малое чревато бесконечным.

И кто знает, не встретим ли мы чудовищный лик бесконечности в нашей погоне за ультрамалым? Где-то должны исчезнуть критерии «больше» или «меньше». Природа их не знает. Солнце больше электрона. Галактика больше Солнца. Эти истины абсолютны. Но вдруг мы не сумеем сказать, что больше: метagalaktika или кварк? Вдруг сближение частиц на сверхмощных встречных пучках в ускорителе отразится на всей Вселенной? Не закроем ли мы шляпой Солнце? Если так, то природа безжалостно отомстит нам...

Будь я писателем, то написал бы такой рассказ. Физик сблизил на ускорителе частицы на расстояние элементарного кванта длины (по Гейзенбергу), и вдруг — бах! — взрыв гиперзвезды. Впрочем, кто знает, может, этот чудовищный и необъяснимый феномен, который мы зовем квасаром³, и есть лишь следствие экспериментов ядерщиков с Андромеды или Лебеда. А? Впрочем, сюжет можно повернуть и так. Какая-то ракета достигает световой скорости — бах! — Вселенная сжимается в элементарную частицу.

Господи! О чем только может думать человек! Я оперирую бесконечностями, углубляюсь на расстояния в миллиарды световых лет, а жить мне осталось считан-

¹ Анапест — стихотворный размер, стопы которого состоят из трех слогов с ударением на последнем слоге.

² Коллапс — сжатие материи под действием сил гравитации.

³ Квасар — сверхзвезда.

ные дни... Интересно, куда бы я мог улететь за это время, если бы полетел со скоростью света?

Допустим, я проживу еще дней десять. Это 864 000 секунд. Помножить на 300 000... Это будет примерно 250 миллиардов километров. Как мало! Как мало мне осталось жить! Только теперь я это понял со всей ясностью. Едва-едва оторвусь от Солнечной системы. Лишь на шаг улитки приближусь к звездам...

А если смерть тоже звездный полет со скоростью света? При такой скорости время останавливается, и, когда умирают, оно останавливается тоже. Как мы, люди, умеем утешать и успокаивать себя! Вся наша низость и все беды мира проистекают от этого. Истину должно принимать бесстрастно.

Эмоции — избыточная реакция на истину, которая порождает самообман. В юности я увлекался индуизмом и хотел сделаться йогом. Моими любимыми героями были Рамакришна и Вивекананда.

Иллюзия бессмертия — самая древняя и самая неистребимая из всех иллюзий. На ней держатся все мировые религии. Вот почему только тот, кто бескомпромиссно знает, что смертен, по-настоящему велик. Он достоин большего почитания, чем любой бог. Но ему не нужно почитаний. Он просто человек, который смертен, но, несмотря на это или поэтому, все же работает на будущее. Лучшие люди земли работали на наше время, зная, что не сумеют дожить до него.

Как же могло случиться, что я оказался здесь? Я, который все знаю и все могу постичь, вдруг стал работать на смерть? Когда это случилось? Где тот не замеченный мной дорожный знак, который в последний раз предупредил об опасности?

Вот и расплата — белая кровь.... И все же это только случайность. Белая кровь не расплата. Тяжелые, жгучие мысли последних дней... Я бы мог думать лишь о Вселенной, о чистых и вечных глубинах, где застыло заледеневшее время. Моя мысль точна и обострена сейчас, как никогда. Я бы мог додумать, поймать неуловимую точку кольца, где сливаются прошлое и будущее, конец и начало. Но вместо этого я приговорен искать объяснение собственного падения. Вот мой ад на земле. Он открылся передо мной, прежде чем я предстану перед Озирисом,

который взвешивает на аптекарских весах все наши грехи с точностью до десятого знака после запятой.

Когда-то так вот умирал Луис Слотин, молодой и красивый гений, который своими руками собрал в Лос-Алмосе первую бомбу. Шестьдесят три раза он благополучно сводил и разводил урановые куски, определяя критическую массу. В шестьдесят четвертый началась цепная реакция. Он разбросал блоки и прервал процесс. Все были спасены, а он умер. Даже его золотой зуб стал источником наведенной радиации, и на губе возник ожог...

Он умирал трудно и мужественно. Хотел бы я знать, о чем передумал он, человек, собравший первую бомбу. Как они торопились тогда, как спешили обогнать нацистов! Но бомбой распорядились за них. Так о чем же он думал в последние минуты? О чем?

Мне кажется, я бы сумел понять это, если бы восстановил неуловимую цепь компромиссов и таких внутренних сделок, которые привели меня сюда. Он был героем, Слотин, а кто я?

Кто я? Кто мы? Откуда? Куда идем?

Дениз тоже продала меня и себя. Когда я заключил контракт, она не спросила, куда и зачем я уезжаю. Не спросила, потому что знала, догадывалась, предчувствовала. Но смерть, как и война, списывает все грехи. За той обитой черным дерматином дверью нет уже ни подлости, ни предательства, ни преступления. Всеобщая нивелировка¹, разъятие макротел на первозданные элементы. Стопятидесятичетырехчасовая неделя без праздничных и выходных дней. Поточное производство. Правление фирмы рекламаций не принимает. И никаких сношений с внешним миром, хуже, чем в зоне.

Почему же так тоскливо и беспокойно? Почему? А Дениз даже не знает, как мне здесь плохо...

Тихо подошел доктор. Думает, что я сплю. Осторожно нащупал пульс. Еле слышно шепчет: «Раз, два, три, четыре, пять...»

Раз, два, три, четыре, пять... Считаю падающие звезды. Августовский звездопад. Огненные штришки в ночном небе.

¹ Нивелировка — приведение к одному уровню, сглаживание различий.

«Загадай скорее желание, Аллан! Ну загадай же!»

Ах, какая чудесная девочка сидит рядом со мной на крыше! Сколько кружев и лент! Сколько белого и голубого! Переплет чердачного окна. Синий отблеск на пыльном стекле. Черные горбатые силуэты кошек. И звезды, и звезды...

А я смотрю на самую большую, на самую яркую звезду. Она висит над трубой дома Смайлсов. Я гипнотизирую ее. Кажется, она пылает ярче и ярче, разжигаемая моим ожиданием. Ну же! Ну! Я жду, когда она упадет. Просто интересно посмотреть, как будет падать такая большая звезда. О, уж она-то покажет себя! Она не чета этим крохотным звездочкам, которые исчезают, как мыльные пузыри. Это будет грандиозное падение. Может быть, почище фейерверка в ночь карнавала.

«Вот сейчас она упадет»,— говорю я сквозь стиснутые зубы, не отводя от звезды глаз. «Вот эта, большая? — удивляется девочка.— Разве такие тоже падают?» — «Еще как! Она обязательно упадет. Я сброшу ее психической силой. Действие творит судьбу!»

И девочка плачет. Она умоляет меня пощадить звезду:

«Там ведь тоже живут мамы с детками. Пусть падают маленькие звездочки, где нет никого. А эта должна светить. Мне очень жалко деток и мам, и бабушек и нянь жалко. Ну что тебе стоит? Не смотри на нее так! Подумай, вдруг там кто-то сейчас смотрит на нас. Вот так же, как мы с тобой. Пожалей хоть их. Как же тебе не стыдно!» Я уже не смотрю на звезду. Но Дениз об этом не знает и все просит меня, все просит...

Прости мне те твои слезы, Дениз! Прости... Ведь на другое утро ты уже обо всем позабыла и на уроке весело рисовала человечков. А я, я не забыл тот звездопад.

Так живо я помню холодок того детского любопытства! Нет, Дениз, я не хотел плохого мамам и деткам с далекой звезды. Просто мне было интересно, как она будет падать и что станет, когда она упадет. Чистое детское любопытство. Говорят, гениальные исследователи сохраняют его на всю жизнь. Такие, как Эйнштейн или Бор, при этом задумываются и о мамах, и о детках, а некоторым это просто не приходит на ум.

Я и многие из моих коллег относимся к последним.

Право, все мы неплохие люди. Просто мы как-то не задумываемся о многом. Что-то важное ускользает от нас. Торжество всякого нового научного открытия — это почти всегда насилие, ломка привычных взглядов — интеллектуальный деспотизм чистой воды. А вот безответственным быть он не должен. Всегда надо думать о мальчиках и девочках с далекой звезды. Особенно в те дни, когда звезды падают на крыши. Сколько их, Дениз?

«Девяносто, девяносто один, девяносто два...» — Доктор отпустил мою руку.

Девяносто два. Наверное, немного повысилась температура. Почему всегда так тяжелы ночи? Утро приносит прохладу и успокоение, ровным светом озаряет все тупики, развязывает запутанные узлы. Скорей бы утро. Я всегда хорошо засыпаю под утро. И сплю спокойно и глубоко.

*5 августа 19** года. Утро. Температура 37,3. Пульс 84. Кровяное давление 130/85*

Какую власть имеют над нами сны! Мне приснилась Дениз, и впечатление осталось мучительное, острое, более сильное, чем это бывает в действительности. Когда-то давно мне снились голубые женщины, и я долго потом не мог забыть о них.

Снам свойственна известная условность, как и всякому настоящему искусству. Каждый человек становится во сне не только зрителем, не только участником, но неведомо для себя и сценаристом, и режиссером, и оператором. Иные сны запоминаешь на всю жизнь, точно хорошие фильмы. Рожденное внутри нас живет потом самостоятельной жизнью. Здесь та же свойственная нам инстинктивная тяга к единству, точнее — к целенаправленной гармонии. Гармоничное единство формы и содержания — солнце на горизонте искусства. Всю свою недолгую жизнь я искал гармонию физического мира. В хаосе распадов и взаимодействий, в звездах аннигиляций и в трансмутационных¹ парадоксах грезилась мне законченные и строгие формы теории, способной объяснить все.

¹ Трансмутация — превращение (в данном случае речь идет о превращениях элементарных частиц),

Помню, еще в университете кто-то предложил нам забавную анкету. Нужно было против названия каждой элементарной частицы написать цвет, в котором она видится в воображении. И это предстояло сделать нам, лучше всех на свете знающим, что частицы не могут иметь цвета, как не имеют формы и траектории. Все же вот поистине достойная загадка для психологов — семьдесят процентов участников написали рядом с протоном «красный». Я тоже написал «красный». До сих пор не понимаю почему.

Это был мой мир, и любого обитателя я знал здесь в лицо. Теперь я умираю, прошитый ливнем частиц, каждая из которых была в моем воображении окрашена в свой цвет.

Как же случилось, что, пытаясь объяснить все причинности микромира, я проглядел самую простую причинно-следственную связь? Я сеял зубы дракона, не задумываясь о всходах. Это трудно объяснить, но знаток индийской мистики, знакомый, естественно, с учением о Карме, ни на минуту не задумывался о возможных последствиях собственных поступков. Кому и как я продал душу?

Почему, подписывая контракт, не вспомнил хотя бы историю сумасшедшего летчика?

В том-то все дело, что узловых пунктов, которые можно было бы назвать предательством во всей этой истории, нет. Просто тихая эволюция самоуспокоения и неприятия «близко к сердцу». Мало, зная о молекулярных копиях, не дать снять с невесты карту. Нужно кричать об этом на всех углах или хвататься за автомат со спецдисками. Мало не предавать. Мало быть просто непричастным, надо еще и сопротивляться. Тот, кто сопротивляется, даже при желании не сможет попасть в зону. Слишком плохая у него для этого репутация. А я на хорошем счету...

По сути, я просто продал себя за известную сумму. Не только себя, но и три года жизни с Дениз. Все мои мысли, все раскаяния — просто жалоба неудачливого игрока. Я поставил на зеленое поле жизнь. Шарик остановился на нуле, и крупье забрал все. Вот и прощай рулетка, чем-то напоминающая циклотрон. Прощай и циклотрон с мишенями из золотой фольги. Теперь я сам

сделался мишенью, затормозившей ливень частиц весьма высоких энергий. С точки зрения химика — это всего лишь радиолиз коллоидного раствора белка в воде. Радиолиз поражает лишь одну из десяти тысяч молекул, но и этого оказалось вполне достаточно. Есть что-то символическое в том, что я умираю накануне юбилея первого атомного испытания. Впрочем, любую случайность можно связать с чем угодно.

Открывается дверь, начинается обход. Надо порадовать Таволски хорошим настроением и оптимистичным взглядом на жизнь.

6 августа. Ординаторская

Главврач, бегло проглядев заключение дерматолога, сунул бумажку в жилетный карман. Морщась точно от боли, снял очки, осторожно протер их кусочком замши и принялся массировать красные вмятины на переносице.

— Вы уверены, что это эритема?¹ — спросил он у Таволски.

— Конечно, — кивнул тот. — Дерматолог тоже так думает. Он считает, что кожа будет мокнуть.

— Плохо.

Таволски, неопределенно хмыкнув, пожал плечами.

— Возьмите костный мозг из грудины и постепенно начинайте готовиться к пересадке. Надеяться больше не на что. Приятных сюрпризов не будет... Как кровь?

— Началось ухудшение.

Главврач закивал, точно его чрезвычайно радовало все то, что говорил ему Таволски.

— Моноциты и ретикулоциты падают. Увеличились распухшие бледные клетки...

— Возможна токсическая грануляция нейтрофилов, — перебил его главврач.

— Да. Мы уже готовимся к этому.

— Белые кровяные тельца?

— Падают. Но значительно медленнее, чем можно было ожидать при такой ситуации. Коуэн советует до пересадки сделать полное переливание.

¹ Эритема — покраснение отдельных участков кожи, вызванное увеличенным притоком крови.

— Ну что ж!.. Ему виднее. А что он думает по поводу замедленного падения белых телец?

— Говорит, что само по себе это не так уж плохо, но никаких оснований для оптимизма не дает,— усмехнулся Таволски.

— Это мы и без него знаем,— раздраженно махнул рукой главврач.— Что он еще говорит?

Таволски опять пожал плечами и, стрельнув крошечным окурком сигареты в умывальник, принялся обсасывать обожженный палец.

*7 августа 19** года. Ночь. Температура 37. Пульс 88. Кровяное давление 120/75. Примечание: количество белых телец упало до 800 мм²*

Чтобы не заснуть, сестра Беата Траватти прошлась по коридору. Стекланные двери палат казались черными провалами. Беата достала баночку растворимого кофе и зажгла спиртовку. В бестеневом свете крошечный сиреневый язычок был едва заметен. Зеленый халат с эмблемой медперсонала показался ей скорее голубоватым. Она достала зеркальце, но темные, почти черные губы и бесцветные щеки вызвали лишь недовольную гримасу. Бестеневой свет раздражал. Он глушил все веселые краски и явно старил ее. Беата нажала кнопку, и холодное пламя под потолком, конвульсивно вздрогнув, погасло. Черные провалы дверей сделались сероватыми. Сквозь тонкие эйрлоновые занавески обозначались окна. Начинало светать. Беата отвела занавеску и прижалась к холодному стеклу. Но то, что она увидела в предрассветном сумраке, заставило ее тихо вскрикнуть и метнуться к палате Бартона.

7 августа. Ордinatorская

Телефонный звонок Таволски разбудил дежурного врача. Тот сразу не сумел прийти в себя и одурело заметался по комнате. Сердце стучало, как плохо пригнанный клапан в моторе. Наконец он нашарил трубку и, облизывая пересохшие губы, что-то прошептал в трубку.

Таволски. Алло! В чем дело? Это вы, Тонни?

Дежурный врач. Эйб? Вы что, рехнулись? Звонить в такую рань...

Таволски. А вы разве спите?

Дежурный врач. Я? Нет, конечно... Но почему вы не спите, вы же не на дежурстве?

Таволски. Так, не спится что-то. Как его состояние, Тонни? Сегодня же операция...

Дежурный врач. Вот и выспались бы перед операцией... Все без перемен. Спит. Температура больше не подымается. Думаю, ближе к утру немного спадет. Идите спать, Эйб!

Дежурный врач собрался положить трубку, как вдруг распахнулась дверь, и в комнату ворвалась сестра Беата. Трубка полетела на рычаг. Дежурный врач вскочил, опрокинув настольную лампу. Не было произнесено ни единого слова, как в немом фильме. Они выскочили в коридор. В противоположном конце его показалась белая фигура. Шагов не было слышно, точно на них надвигалось привидение. Когда глаза чуть-чуть привыкли к полумраку, дежурный врач разглядел, что по коридору уверенно и неторопливо идет Аллан Бартон. Глаза его были широко открыты и поблескивали в пламени спиртовки. Бартон осторожно открыл дверь своей палаты, и коридор опустел.

7 августа. Через час. Ордinatorская

Таволски прибежал в домашних туфлях. Сейчас он выглядел в офицерском френче еще более нелепо, чем обычно. Он часто поживался и, согнувшись, ожесточенно тер ладони. Казалось, ему страшно холодно. Главврач, не снимая наброшенной на плечи шинели, широкими шагами вымерял комнату.

Дежурного врача сразу же выставили в коридор. Стараясь сохранить независимый вид, он барабанил пальцами по стеклу и пытался что-то насвистывать. Сестра Беата беззвучно плакала, уткнувшись в промокшую зеленую салфетку.

— Все же объясните мне, майор Таволски, как вы, лечащий врач, не удосужились внимательно прочитать анамнез?!¹

Таволски молчал. Когда главврач начинал говорить

¹ Анамнез — история болезни, описание условий, предшествующих заболеванию.

таким тоном, отвечать не полагалось. Он все равно не слушал никаких оправданий и объяснений. И что тут вообще можно было ответить?

— Конечно, я понимаю, рентгеновская иррадиация — особый случай, она никак не обусловлена первоначальным состоянием больного. Но такой же особый случай перелом ноги, вывих, воспаление аппендикса, наконец. Однако во всех подобных случаях, за исключением особо спешных, мы все же не приступаем к терапии, не ознакомившись с анамнезом. Так? Почему же вы, старый, опытный врач, не удосужились просмотреть историю болезни, где черным по белому написано, что Аллан Бартон с детства страдает лунатизмом? Почему? Отвечайте, майор, почему?

Таволски молчал.

Главврач сбросил шинель на пол. Сел в кресло, но тут же поднялся и вновь заходил по комнате.

— Эта прогулка его убьет, вы понимаете? И, главное, накануне операции, когда появились определенные шансы на успех!

Он неожиданно замолчал. Но продолжал, как ягуар в клетке, метаться из угла в угол. Настольная лампа все еще валялась на полу. Чахлый, болезненный рассвет просачивался в темную комнату, где почти неподвижно висели синеватые пленки табачного дыма. Тяжелая тишина больно давила на барабанные перепонки.

Наконец главврач сел. Раздраженно поднял лампу и зажег свет. Таволски зажмурился, но тотчас же открыл глаза.

— Немедленно установите, куда он ходил, — сухо и спокойно приказал главврач. — До этого ничего предпринимать не будем. Вам понятно?

— Да... Только... как узнать? Лунатики же ничего потом обычно не помнят.

— Обычно? А это необычный лунатик. Это радиоактивный лунатик, который повсюду оставляет след... Вам все ясно?

Таволски тоскливо сознавал, что главврач издевается над ним, что нельзя позволять говорить с собой в таком тоне. Но шеф был прав, во всем прав, и Таволски молчал.

— Позвоните на пост, чтоб немедленно прислали сол-

дата со счетчиком Гейгера. Проследите весь путь... Потом доложите.

Таволски потянулся к телефону, но главврач пренебрежительным жестом остановил его:

— Позвоните из коридора. Мне нужно кое с кем переговорить.

Таволски торопливо поднялся и, чуть сгорбившись, зашаркал к двери.

Главврач увидел эту согнутую спину, красноречивую спину усталого пожилого человека, и жалость остро полоснула по сердцу.

— Выпейте что-нибудь успокоительное, Эйб, и... отправляйтесь домой. С дозиметристом пусть пойдет доктор Вайс.

*7 августа 19** года. Капитан медицинской службы Тонни Вайс*

Дозиметрист сразу же нащупал след, и мы довольно уверенно двинулись вперед. Бартон все время петлял, словно огибал невидимые препятствия. Подсознание у лунатиков никогда не спит. Поэтому и реакции организма на внешнюю среду у них гораздо четче и быстрее, чем в обычных условиях. Только так можно объяснить, каким образом Бартону удалось незамеченным пересечь туда и обратно всю зону.

Он прошел мимо площадки для гольфа, поднялся на бетонный мостик через бассейн и резко свернул к розарию. Не доходя до четвертого сектора, опять свернул и направился к противоположному ангару. Перелез через забор и вскарабкался по шести на крышу. Таким сложным и запутанным путем добрался до автострады седьмого сектора. На дорогу он попал, спустившись с дерева. Мимо казино прошел к радарным вышкам и, проникнув на территорию радиостанции, самым коротким путем вышел к перепаханной полосе вокруг сектора нуль. Проволочное ограждение преодолел в непосредственной близости от второй вышки. Часовой, очевидно, его не заметил.

В связи с тем, что на полигон пускали лишь по специальным удостоверениям, мы вынуждены были возвратиться в седьмой сектор. Оттуда я позвонил генералу. Разрешение сразу же было дано. Мы надели защитные костюмы и прошли на полигон. Довольно быстро нащу-



пали след Бартона, который вел в биологическую зону. Фон все время возрастал и примерно через сто пятьдесят — двести метров совершенно перекрыл сигналы следа. Пришлось опять вернуться и попросить у начальника охраны собаку. Начальник охраны решительно воспротивился. Он сказал, что никогда не согласится послать животное на верную смерть. Я опять позвонил генералу, и он распорядился немедленно предоставить нам собаку. Начальник охраны молча повесил трубку, но сразу же вызвал проводника. Тот быстро надел костюм и собрался уже идти с нами, но чувствительный офицер велел принести защитный комплект для собаки. В этом не было ни грана здравого смысла. Все равно голову пришлось оставить открытой, иначе собака не смогла бы взять след.

Первое время пес вел нас довольно уверенно, но, когда мы вошли в зону, где испытывалась «Бережливая Бесс», он забеспокоился и начал скулить. Видимо, почувал что-то неладное. Трава там совершенно уничтожена. Только местами виднелись высыхающие кустики чертополоха. Пес сел и, подняв голову к начинающему розоветь небу, тоскливо завыл. Он так был в этот миг похож на человека, что мне сделалось страшно. Усилия проводника сдвинуть собаку с места ни к чему не привели. Она упиралась всеми четырьмя лапами и не переставала выть. Пришлось пристрелить беднягу. Все равно животное было обречено. И зачем только начальник охраны велел на-

деть защитный комплект? Наверное, какой-нибудь провинциальный президент общества охраны четвероногих братьев.

Я взял бинокль и тотчас понял, куда ходил Бартон. До самого горизонта только гниющая степь. Одиноким атомный танк сразу же бросается в глаза. Он мог пойти только к танку — больше некуда.

Фон достиг максимума и больше уже не изменялся. Только внутри танка излучение резко подскочило вверх. Сказывалась наведенная в массе металла радиация.

Бартон имел отношение к проекту «Бережливая Бесс», поэтому он мог знать, что в танке в момент испытания находились овцы. Подсознательный импульс и привел его сюда во время вчерашнего лунатического транса. Вполне вероятно, что и первичное облучение Бартон получил во время подобного же ночного визита, о котором, естественно, проснувшись утром, ровно ничего не знал. Тщательное обследование показало, что внутри танка и на внешней его броне, в местах, подвергнутых воздействию элементоорганической смазки, всюду виднеются отпечатки незащищенных пальцев. Поскольку никто, кроме Бартона, за период, прошедший после испытаний, не пострадал, остается предположить, что все следы оставлены именно им. Поэтому отпадает надобность в дактилоскопической экспертизе. Характер отпечатков, насколько я, как специалист в области военной и криминальной медицины, могу судить, свидетельствует о том, что они либо оставлены совсем недавно, либо несколько дней назад. Это достаточно убедительно говорит в пользу выдвинутого предположения о причине первичной иррадиации доктора Бартона.

На этом я счел свою миссию законченной. Оставаться далее в танке было незачем. Да и останки овец являли собой ужасающую картину. Свалывшаяся шерсть, зубы и кости плавали в какой-то отвратительной беловатой плазме. Я на миг представил себе город с совершенно нетронутыми зданиями и людей, которых невидимый и неощутимый нейтронный ливень застал за самыми обычными будничными делами...

Господи! Не дай, чтобы это совершилось! Мы вылезли из танка и отправились в обратный путь. Постояли немного возле несчастного пса. Бедное животное и не по-

дозревало, что его жизнь так вот оборвется. Бартон подписал приговор овчарке. Эти физики сами не ведают, что творят. Придумали атомную бомбу, потом водородную, потом «Бесс»...

Наверное, их сильно беспокоит совесть. Потому и бродят по ночам. И как у него сил-то хватило? Умиравший ведь человек... Я не физик, не придумывал все эти ужасы, но тоже не смогу, наверное, заснуть спокойно после того, что увидел в танке.

Хорошо все-таки, что я не физик и не военный. Меня это не касается. Моя задача — избавлять людей от страданий.

8 августа. Ординаторская

Главврач вышел, как всегда широко шагая. Снял плащ, отряхнул его. В комнате сразу запахло дождем.

— Странно! — сказал он, кивая Таволски.— Странно! Чего это вдруг так испортилась погода? Прямо ни с того ни с сего... Ну, как дела?

— Я отменил операцию.

— Правильно сделали. Теперь он абсолютно безнадежен. С завтрашнего дня я разрешаю наркотики. Как он сейчас?

— Все время бредил. Звал какую-то женщину. Кричал, что она живет в Медане.

— Температура?

— Все та же — тридцать семь и шесть. Давление тоже не подскочило. Кровь — это, я думаю, скажется не сразу.

— Конечно. Но у него и без этого скверно. Хуже некуда... Вот уж действительно от судьбы не уйдешь. Кто бы мог подумать... Бедный парень!.. Да, Эйб, я утром несколько погорячился, не обращайтесь внимания. И вот еще что... Генерал просил держать этот случай в тайне. Вы меня поняли?

Таволски кивнул.

— Ну и отлично. А с сестрой я сам переговорю. Знает, договорились: никакого повторного облечения не было. Сколько у него теперь?

— Четыреста.

Главврач покачал головой:

— Дело идет к концу. Что Коуэн?

— Он ничего пока не знает.

— И не надо. Отправьте его под каким-нибудь благовидным предлогом... Впрочем, погодите, лучше я сам.

— Он ожидает, что слезет кожа и выпадут волосы. Надо хоть как-то сохранить водный баланс тканей. И еще. Я хочу все-таки сделать полное переливание.

Главврач пожал плечами и отошел к окну.

Таволски читал мысли шефа, как открытую книгу.

«Зачем? Он же все равно обречен. Вы только продлите его мучения. Несчастный юноша, за что ему такое испытание! Дайте ему хоть умереть спокойно».

— Если вы настаиваете,— главврач сделал ударение на слове «настаиваете»,— я не возражаю против этих... мероприятий.

— Да,— тихо сказал Таволски.— Мы сделаем переливание и попробуем гипотермию¹.

Главврач ничего не ответил и занялся своими бумагами. Потом резким движением снял очки.

— Делайте, как считаете нужным. Но запомните две вещи... Первое,— он загнул палец,— не превращайте ваше сострадание в крестную ношу для себя и для него тоже. Второе,— он загнул еще один палец,— я официально разрешаю вам наркотики, то есть поступаю недозволенно, но он заслужил хотя бы спокойный конец. Постарайтесь это понять. Речь идет прежде всего о нем, а не о вас или обо мне. О нем! Или вы считаете, что есть хоть один шанс на тысячи? Тогда скажите, и я сделаю все, чтобы этот шанс победил... Вы считаете, что есть?

— Нет... не считаю. Еще несколько часов назад... А теперь... нет. Теперь никто не сможет ему помочь. И все же я не знаю, как объяснить вам... Просто за эти дни я научился разбираться в Аллане. Это такой мозг... Для всех нас будет лучше, если он просуществует на земле лишний час, пусть даже никто никогда не узнает, о чем он думал все это время... Вы понимаете?

— Нет. Но я уже сказал, что предоставляю вам свободу действий. В конце концов, это дело вашей совести. Приказать вам я не могу.

¹ Гипотермия — искусственное понижение температуры человека или теплокровного животного за ее физиологические границы (переохлаждение).

— Спасибо.— Таволски медленно поднялся. Инстинктивно попытался расправить складки на спине и, зажав в руке отлетевшую пуговицу, вышел.

Главврач старался не смотреть на его сгорбленную спину. Но все же не удержался и отвернулся от окна. Таволски уже не было. Только медленно сужалась черная щель между дверью и косяком.

Это что-то напомнило главврачу. Вызвало в груди какое-то тоскливое томление, непонятную тяжесть. Он почему-то подумал, что видит его в последний раз. Но рой привычных забот сразу же отвлек его.

*8 августа 19** года. Утро. Температура 38,1. Пульс 96. Кровяное давление 150/110*

«...девица Р. очень удивилась, увидев брата сидящим у ее постели. «Как же так? — подумала она.— Ведь он живет за океаном и никоим образом не может очутиться здесь». Она попробовала заговорить с ним, но голос ей не повиновался. Когда же она наконец овладела собой и смогла произнести несколько слов, он вдруг поднялся, прошел к электрическому камину и растаял, как бесплотный дух. Утром девица Р. рассказала домашним обо всем, что произошло, когда она неожиданно проснулась ночью. Она выглядела очень взволнованной и несколько раз повторила, что ее очень тревожит здоровье брата. Все принялись утешать молодую женщину, уверяя, что это ей просто приснилось.

Однако через два дня пришла телеграмма, в которой сообщалось, что брат девицы Р. умер в тот день и час, когда она видела его сидящим возле ее постели».

Книжка выпала из рук Бартона, и ему не хотелось позвать сестру.

Тривиальная история. Сколько раз приходилось читать подобные сообщения в книгах, газетах, научных отчетах по парапсихологии. Девица Р., наверное, редкая дура. Этакая добродетельная мешаночка с налетом истеричности. В тридцатых годах поднялся шум вокруг некробиотических лучей. Потом все улеглось, а загадка осталась. Пожалуй, нет оснований сомневаться в том, что близкие люди могут как-то чувствовать друг друга на расстоянии. Но как быть тем миллионам, которые лише-

ны этого дара? Или проклятия? Как быть мне, когда я не чувствую Дениз? Как быть Дениз, когда она даже не догадывается, что я умираю? Легко и очень соблазнительно отмахнуться от этого. Не существует, и всё. А коли существует? Если у меня есть сейчас реальная возможность послать Дениз последнее прости?

Какое же коварное и вкрадчивое существо Надежда! Любыми путями в любом обличье пытается она пролезть к нам в душу. Не надо самоутешения, не надо сладкого наркотика. Ничего из этого не выйдет. Отнимет время и силы, а их так мало.

Но если все же эффект «пси» существует? Хорошо, пусть существует. Но не будем думать, как использовать его в конце пути. Не будем. Лучше предпримем логический тренинг. Итак, на восьмое августа сего года нас не интересует, как можно использовать постулируемый эффект, но крайне необходимо исследовать возможные физические формы распространения пси-сигнала.

Будем отталкиваться от парадоксов. Сигнал не рассеивается с расстоянием и не подчиняется законам причинности. Короче, в ряде спорных случаев следствие предшествует причине. Возможно ли это? В принципе возможно. Нейтрино, к примеру, настолько слабо взаимодействуют с веществом, что практически не тормозятся даже в толще из миллионов солнц. Если телепатическая информация передается с помощью нейтрино или других подобных частиц, то она, конечно, не будет рассеиваться в биосфере Земли. Одним словом, первый парадокс легко объясним. Труднее с другим. Для его объяснения придется отказаться от канонических понятий времени и пространства.

Какая спасительная штука — работа мысли! Я мыслю, следовательно, я существую... Нет! Я существую, поскольку мыслю. Мысль гаснет сразу, как захлопываются шторы в объективе. Ты уносишься далеко от земли. И это уже не ты, а нечто, точнее — ничто. Все остается, только ты невозвратно уходишь, рассыпаешься, теряешь накопленную память. Смерть — это утрата памяти. Пусть даже тело живет по-прежнему, но, если утрачена память, утрачено все. Смерть — это когда нельзя осознать, что ты умер. Сначала позабудут голос, потом... Голос?

— Сестра! Я хочу попросить вас о небольшой услуге. Раздобудьте мне диктофон. Надо же хоть что-то делать, а писать я не могу... Раздобудьте...

Если верить результатам телепатических экспериментов, то приходится констатировать по крайней мере три парадокса:

1. Телепатическая связь не зависит от расстояния. Так, в частности, телепатема передавалась на две тысячи километров с таким же успехом, как и на несколько метров.

2. Осуществляется телепатическая связь помимо известных органов чувств и не связана с распространением электромагнитных волн мозга. Более того, материальным носителем телепатической информации не может быть электромагнитное поле вообще, что как будто бы подтверждается рядом экспериментов, проведенных в непроходимой для радиоволн металлической кабине.

3. Наконец, некоторые случаи спонтанной телепатии и ясновидения вступают в противоречие с законом причинности.

Не буду защищать или, напротив, опровергать истинность этих парадоксов, для этого у меня нет ни эмпирических данных, ни догматических принципов, которые надо отстаивать от любых посягательств природы. Более важно и интересно проследить, насколько вышеприведенные парадоксы отвечают или противоречат фундаментальным законам современного естествознания.

Итак, парадокс № 1. Он возможен: а) если материальный носитель эффекта представляет собой вид энергии, которая почти не рассеивается в пространстве; б) если все люди связаны между собой особым «телепатическим» полем. В первом случае таким предположительным материальным носителем может служить нейтрино, которое почти не поглощается веществом. Во всяком случае, в условиях биосферы Земли такое поглощение пренебрежимо мало. Во втором случае можно предположить, что в передаче телепатемы участвуют не только индуктор и перцепиент, но и совершенно неведомо для себя энное количество других людей. При этом сигнал может даже усиливаться, как, например, в фотоумножителе.

Первое объяснение, естественно, проще. Хотя бы по-

тому, что не вводит новых неизвестных компонентов в физический мир и описывает явление с помощью реально существующих объектов.

Парадокс № 2. По сути, он снимается объяснением парадокса № 1. В этой связи можно даже предложить идею эксперимента по проверке такого объяснения. Если действительно материальным носителем телепатического эффекта является нейтрино, то величина нейтринного фона может повлиять на интенсивность эффекта. Короче, опыты, подобные тем, которые были проведены в металлической кабине, можно провести вблизи атомного реактора, где в процессе бета-распада выделяется значительное количество нейтрино.

В нейтринной гипотезе есть, однако, свои трудности. Прежде всего неясно, какой из четырех типов нейтрино несет ответственность за передачу телепатических сигналов. Впрочем, принципиального значения это не имеет, а лишь усложняет эксперимент.

Наконец, заканчивая с парадоксами № 1 и № 2, можно выдвинуть смешанную гипотезу и предположить, что все люди связаны между собой именно нейтринным полем. Необходимости в этой гипотезе, очевидно, нет, но, чтобы не нарушить законов логики, привести ее следовало.

Парадокс № 3. Самый коварный и, естественно, наиболее легкоуязвимый для противников телепатии. Объяснение его требует либо ломки фундаментальных представлений о структуре времени и пространства, либо по меньшей мере привлечения наиболее оригинальных и смелых идей, выдвигаемых в настоящее время физиками. Первое увлекает на сомнительный путь туманных гипотез о существовании измерений больших, чем три, о некоем «необычном» пространстве и тому подобное. Что же касается оригинальных идей, выдвигаемых сейчас теоретиками, то и они большей частью не отличаются достаточной убедительностью. Тем не менее придется оперировать и такими идеями тоже.

Одна из них — это идея «замкнутого времени». С ее помощью такие понятия, как прошлое и будущее, становятся релятивными¹ даже вне рамок специальной тео-

¹ Р е л я т и в н ы й — относительный.

рии относительности. Приняв ее на вооружение, естественно предположить, что человеческий мозг может каким-то образом «лоцировать» с помощью нейтрино будущее. Впрочем, можно обойтись и без привлечения идеи «замкнутого времени». Некоторые теоретики выдвигают представления, конечно, вне всякой связи с телепатией, что особенности поведения нейтрино вызваны тем, что эта частица двигается не из прошлого в будущее, как все привычные нам тела, а из будущего в прошлое. Такое представление, кстати, получило изящное математическое подкрепление. Для нас оно интересно тем, что вполне объясняет парадокс № 3.

Можно воспользоваться и более формальным методом. Он базируется на законе сохранения комбинированной четности, из которого следует, что все взаимодействия инвариантны к инверсии времени, то есть описание взаимодействия не зависит от замены «будущего» на «прошедшее».

— *Выключите диктофон, сестра. Мне он больше не нужен.*

Странное ощущение. У меня еще никогда не было столько свободного времени, как теперь. Любую мысль я могу додумать до конца. Проследить ее от туманных извилистых истоков до шумных водопадов, когда она обрушивается в пропасти памяти или умирает в шипении магнитной ленты.

Но срывается с потока какой-нибудь световой блик и западает в сердце. Сам по себе он ничто, но есть в нем нечто пробуждающее ассоциации.

Человека лоцирует будущее... Не какой-нибудь там ясновидец с выпученными глазами, хрипящий прорицатель или медиум. Просто в самой современной лаборатории — допустим, это происходит в Принстонском институте высших исследований — сидит молодой симпатичный доктор. Он трогает ручки на пульте и в отраженном нейтринном луче видит себя через несколько лет. Это не галлюцинация, а десятки раз поставленный и выверенный эксперимент. Сомнений быть не может. Но если он видит себя, то... Он готов пожертвовать собой ради науки. Раз он уже существует в будущем, то, очевидно, не может умереть сейчас.

Физик достает из ящика стола пистолет, тщательно

проверяет обойму. Прикладывает к виску. Зажмуривается и нажимает курок... Осечка. Еще раз! Опять осечка.

Будь я писателем, я бы делал именно такие рассказы.

Дениз! Помнишь зеленое пятно света, и удары прибой, и невидимый черный берег, и качающихся рыб? Я, как очарованная рыба, вздымаюсь и падаю с пробежавшей волной. Помнишь ту ночь на пирсе, Дениз? Последний свет, последняя свежесть, а дальше погружение в холодную тьму. Приснись мне, Дениз! Хоть один раз приснись мне на прощанье... Как будто это было только вчера. Сверкающая ночь и удары прибоя.

Скользит над водой пыльный голубоватый луч. Где-то полночь отбивают склянки. Фосфорические креветки выползают на берег и устраивают заговор против своего морского президента. А в небе кружится голубоватая пыль Млечного Пути и фосфорические звезды осыпаются вниз. Я пощажу большую звезду. Помнишь ту ночь на крыше, Дениз? Куда это все исчезло, в какую бездонную бочку упало? Неужели прошлое просто проваливается в пустоту, в холодное крошечное небытие? Но ведь время едино и вечно. Иначе какое же это время? Может, прошлое, настоящее и будущее—лишь эфемерные трансмутации единой сущности, троеликого непостижимого единства? Вот сейчас здесь во мне одновременно существуют и прошлое, и настоящее, и будущее. Они едины в некоем настоящем второго порядка. Мы просто не можем охватить его целиком, как метagalaktiku. Человеку не дано познать сущность сразу. Он познает ее постепенно через явления. Анализ и синтез, анализ и синтез. Одна сторона и другая. Одно явление и другое. Прошлое, настоящее и будущее! Различные явления единой сущности, имя которой Время. Бесплодно смыкается круг. Разум тонет в черных водах без надежды, без проблеска. Возможно, время неподвижно и лишь наше сознание движется вдоль него, обтекает, скользит.

А что, если где-то в подсознании мы уже знаем это? Возможно, придет день, когда самые сокровенные тайны мироздания, и единая систематика частиц в том числе, откроются нам в процессах, протекающих в темных глубинах мозга. Именно там в окончательной форме регистрируются процессы, протекающие в космосе и микромире.

Мозг создан по тем же законам, что и Вселенная, и он может постигнуть ее как угодно полно. Так приближается к единице, никогда не достигая ее, ряд $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$ Возможно, наш мозг уже постиг мир, но только не знает пока об этом. Это не моя мысль. Ее высказал кто-то из французских физиков. Но я тоже думал примерно так же. Только не довел мысль до конца. Разбудите свой мозг, люди! Физики будущего, углубитесь в себя! Ваш мозг — ваша лаборатория.

Аналитический путь добычи истины почти исчерпал себя. С каждым днем мы находим все больше, но еще больше мы теряем с каждым днем. Мы движемся вперед путем выбора по лестнице альтернатив¹. Из многоликой сущности исследователь выдергивает аксиому и передает ее дальше, как эстафету. Так из противоречивого диалектического двуединства на миг возникает некая цельность. Потом и она расслаивается на противоположности и начинает соблазнять другого исследователя выбором, оставляя за собой кладбища разрушенных противоречий. А кто будет рыться в отвалах, где лежат не замеченные предками гениальные идеи, где сами собой сформировались неведомые нам науки, где похоронены целые области навеки утраченного знания? Я бы хотел найти такую науку, построенную из отброшенных отрицаний.

Как хорошо было бы спуститься к истокам! Проследить основные вехи, переоценить выбор, соединить звенья отвергнутых истин...

Потому-то и спиралеобразно наше развитие, потому-то и возвращается завтра отвергнутое вчера, что мы всегда выбираем лишь одну из противоположностей. Мы гребем то правым веслом, то левым и никогда вместе, а лодка тычется то в один, болотистый, берег, то в другой, каменистый. Как удержаться строго в фарватере? Как избежать порочного выбора и получить истину сразу?

Нужно искать новых, принципиально иных путей познания. Но возможны ли они? Не есть ли наш путь единственно возможный для человека?

¹ Альтернатива — необходимость выбора между взаимоисключающими возможностями.

9 августа. Ординаторская.

— Коуэн уже уехал? — Главврач закрыл кран и отряхнул руки над умывальником.

— Еще вчера, — сказал Таволски, подавая ему полотенце. — На прощанье он захотел осмотреть Аллана.

— Ну?

— Кажется, болезнь вступает в последнюю стадию. Появились небольшие растекающиеся кровоизлияния.

— М-да... А как ваша гипотермия?

Таволски дернул плечом и потянулся к портфелю.

— Из управления получена разнарядка двухнедельных посещений... Нужно подписать. Они сказали, что вы можете вносить любые изменения в пределах сметы.

— А! Давайте... Кто там у нас на очереди?

— Старший дозиметрист Шульц, лейтенант де Фриз, доктор Скотт, сержант Хитауэй, майор Солк, доктор Гудов, водитель Пек, старший пожарный Балагер, доктор Бартон, рядовой Трэсси!

— Хитауэя вычеркните. Достаточно с нас скандала, который он устроил в прошлый раз. Одного из докторов тоже вычеркните. Интеллигенты переносят это не так легко, как другие. В одиночку они скрывают свои чувства, но если приедут сразу к обоим... Вы понимаете? Вычеркните одного до следующего раза.

— В списке три доктора.

— Вы имеете в виду Бартона? Он, разумеется, не в счет. Сделайте для него все, что возможно... Только, мне помнится, вы говорили, что у него никого нет?

— Да, но... Вот посмотрите, пожалуйста, я заготовил бумагу, и если вы не возражаете...

— Давайте.— Главврач пробежал глазами документы и с отсутствующим видом уставился в потолок.— Ну что ж, — сказал он через некоторое время, — давайте попробуем. Я подпишу.

*9 августа 19** года. Утро. Температура 38,3. Пульс 96. Кровяное давление 150/105.*

— Мы к вам, Аллан! Не возражаете?

— Майк! Ли! Тэдди! Какой сюрприз! Заходите. Рассаживайтесь, где можете... Ну и вид же у вас, Ли, в этом

халате! Желтое на зеленом. Лимон какой-то, а не человек.

— Вы все такой же, Аллан,— тихо улыбнулся Ли и осторожно присел на краешек постели.

— Только не на постель! — встрепенулась сестра Беата.— Отсыдьте-ка подальше. Все отсыдьте.

Она выключила ультрафиолетовый заслон и опустила экранировку.

— Я тут как фараон в саркофаге,— усмехнулся Бартон.— Пылинке не дают упасть. Ну, что нового у вас, бациллоносители?

— А что может быть нового? — Маленький черненький Майк сразу же вскочил и заходил по палате, гримасничая и бурно жестикулируя.— Вроде бы все по-старому. Новостей, в сущности, никаких. Ждем вас вот...— Он поперхнулся и замолк.

— Не надо, Майк,— холодно улыбнулся Бартон.

— Да, не надо,— кивнул Тэдди Виганд, огромный и невозмутимый нуклеонщик.

— А что мы вам принесли...— Майк метнулся к двери.

— Стой! Куда ты? — попытался было остановить его Виганд, но тот уже исчез в коридоре.

— Боюсь, что наше свидание будет несколько тягостным,— все так же улыбаясь, сказал Бартон.— Я отлично вас понимаю, ребята, и глубоко вам сочувствую. Ей-богу, мне стыдно за мое положение. Но поймите и вы меня... Ничего ведь не поделаешь. Поэтому не надо дурацкого бодрячества и дамских утешений. От этого выть хочется. Давайте поговорим о делах и мирно простимся. А то каждый из нас думает только одно: лишь бы скорее...

Майк вернулся с плексигласовым ящичком, в котором съежилась пятнистая морская свинка.

— Вот! — Он торжественно поставил ящик на пол.— Это велели передать вам ребята из биосектора. Когда они узнали про вас, то сразу же вкатили этой свинке тысячу пятьсот рентген. Потом стали лечить ее... Так же, как и вас. Они звонили Таволски по сто раз в день. И что вы думаете? Позавчера кровь у нее стала выправляться... Теперь она вне опасности. Если хотите, она будет жить тут, у вас.

Он поднял ящик и направился к Бартону, но вмешалась сестра Беата.

— Еще чего! — сказала она. — Поставьте вон туда, в угол... Мы все будем за ней ухаживать. Какая смешная, симпатюля! — Она постучала ноготком по плексигласу, но свинка не шевельнулась.

— Несчастное существо... — Бартон откинулся на подушку, чувствуя, как жар заливает щеки. — Воды!

Сестра схватила фарфоровый чайник и осторожно поднесла его к губам больного.

— Пора вам уже, — сказала она, не оборачиваясь. — Видите, как вы его взволновали.

— Пусть побудут еще немного, сестра. — Бартон облизул запекшиеся, воспаленные губы. — Поблагодарите от меня биологов, но, между нами, они большие идиоты. Что же касается свинки, то пусть останется... Мне она не мешает... Какие сплетни, Тэдди?

— Никаких. Разве что к Скотту приехала жена.

— Жена?

— Ну да... На две недели.

— И что он?

— А ничего.

— Мне кажется, что я лежу здесь с первых дней творенья и все у вас идет как-то по-другому, интересно и совершенно недоступно мне. Оказывается же, что ничего не происходит. Или вы просто не умеете рассказывать, Тэдди?

— Нет. То есть не знаю, конечно. Но, право, ничего существенного. Спросите Майка или вот Ли. Они подтвердят.

— Ладно. Я вам верю. Вы же всегда были Демосфеном, который случайно слишком перехватил камней. Это хорошо, когда ничего не происходит.

— Чего?

— Нет, ничего. Все в порядке. Просто я немного устал. Наверное, нужно чуть отдохнуть. Я ведь отвык разговаривать.

Они сразу же стали собираться. Долго и неуклюже вертелись, словно разыскивали что-то. Потом топтались у дверей, лепеча какие-то жалкие слова и глупо улыбаясь.

Бартон не удерживал их. Он думал, что губы иногда станут резиновыми. Расплываются во все лицо в неподвижной улыбке и беспомощно дрожат. В такие минуты люди быстро-быстро что-то неосознанно лгут, страдая и стыдясь этой ненужной лжи.

Первым не выдержал Майк. Он вдруг сморщился, как больная обезьяна, подавился слезами и выбежал. Бартон видел, как атлетическая спина Виганда съежилась и стала вдруг жалкой и красноречивой. Казалось, от нее исходил этот лепет, на который был совершенно не способен сам Тэд. Но Бартон не пожалел уходящих. Он с удивлением обнаружил, что вообще не испытывает к ним никаких чувств. Они только что хоронили его живо, но он не ощущал ни тоски, ни обиды. А может, это было не с ним, а с кем-то другим, совершенно незнакомым?

Бартон осознал вдруг, какую границу проложила между ним и остальными надвигающаяся гибель. Он оказался по другую сторону границы. Они еще ничего не знали, а ему было уже ведомо нечто такое, что совершенно меняет взгляды и характер людей. Потому-то к одним и тем же явлениям они относились по-разному. Он смотрел с высоты своего знания, остальные — из темных щелей неведения и инстинктивного ужаса.

Надо попросить врача, чтобы ко мне никого не пускали.

Нельзя отвлекаться, нельзя рассредоточиваться. Что мне за дело до всего этого? Пора отходить, отключаться. Думать нужно лишь о самом главном, о чем никогда не успевал думать в той, далекой теперь жизни. Иные задачи, иные критерии. Все, чем жил в то суетное время, — долой. И лишь мысли-струйки, случайно залетавшие в голову ночью, должны стать содержанием жизни. Когда впереди была туманная множественность лет, я думал о пустяках, за два шага до пустоты хочу думать о вечном. Смешное существо человек!

Ученые говорят, что дети, родившиеся сегодня, бессмертны. Может быть, действительно человечество стоит на пороге бессмертия? Обидно умирать накануне. Но кто-то всегда умирал накануне, пораженный последней пулей в последний день войны.

Впрочем, мне ли судить о бессмертии? Я, наверное, все страшно путаю, болезненно преувеличиваю, усложняю. Мне так мало осталось жить! Так мало...

Интересно, во что превратятся тогда злобная едкая зависть и тупая злоба? Бессмертному больше нужно... И если теперь не останавливает смерть, то что сможет остановить тогда? Когда говорят о бессмертии, я думаю о совершенно противоположном.

Люди однажды узнали вкус индустрии смерти. Это коварная память. Она не может пройти бесследно. За нее надо платить и платить. Как губка, она еще будет и будет впитывать кровь.

В чем же здесь дело? Может, человек порочен в самой основе? Если нет, то чем вызван такой страшный иррациональный дефект мышления? Это случилось, когда меня еще не было на свете, но память, чужая память погибших, почему-то нашла меня. Вот что убило меня первый раз. Остальное пришло только потому, что я уже был мертвым. Одних эта страшная память толкала на борьбу, вела к чему-то светлому и далекому, другие приняли ее как эстафету преступления. Я же понял одно — размышлять нельзя. Я задумался, как жить дальше, и не нашел ответа. Жить дальше нельзя. Можно лишь кричать, полосовать по окнам из автомата, броситься в воду. Так мне казалось тогда. Никогда не забудется день, когда я вдруг со всей беспощадной ясностью понял, что произошло с теми, кого давно нет, и со всеми нами. Меня настигли, ударили в солнечное сплетение и убили. Где и когда я мог облучиться?!

И только сейчас видно, как смыкается воедино далекий неумолимый круг. Чужое преступление надломило меня, и я перестал думать. Перестал думать и незаметно ступил на путь, ведущий к другому преступлению. Как все неумолимо и беспощадно просто. Ведь те, кто сотворил лагеря смерти, тоже с чего-то начали! Они тоже в какой-то момент перестали думать! В этом все дело. Перестав думать, мы превращаемся в потенциальных преступников и соучастников злодейств. Потому-то все тираны во все времена стремились отучить людей думать. Работника и воина не должна разъедать болезнь интеллектуализма. Нужно трудиться и воевать, а не думать. С этого всегда начинается путь к фашизму. Как легко

опутать человека по рукам и ногам! И неужели только личное крушение способно просветить его?

Куда исчез он, жирный дым,
Безумный чад человеческого жира?
Осел ли черной лохматой копотью в наших домах
Или его развеяли ветры?
Ведь это было так давно,
А дым не носится долго...
Особенно тот, тяжелый и жирный,
Окрашенный страшным огнем.
И он оседал.
Он еле влачился сквозь туман между тощих сосен,
Над застывшей болотистой почвой.
И клочья его оставались на проволоке
И застилали пронзительный луч,
Который из тьмы, сквозь тени ушедших лет,
Колет и колет в сердце.
Весь ли дым опустился на землю,
Растворился в дождях,
Прросочился сквозь горький суглинок и
Мертвую хвою?
Весь ли дым?
Он валил и валил. Днем и ночью.
За транспортом транспорт,
За транспортом транспорт
Обреченно тащился над ржавым болотом
Параллельно полоскам заката.
Нет, не весь он осел на дома и на травы,
Разлохмаченный ветром и временем,
Он все носится в небе, все носится...
Проникает в открытые рты
И потом со слюной попадает в желудок,
А оттуда и в кровь
По исконным путям,
Намеченным в те времена,
Когда из глины господь сотворил человека.
Так смыкается круг, связующий землю и небо.
Только что нам за дело до этого круга?
Что нам за дело?
Если дым, этот дым все такой же
Тяжелый и смрадный.

Но за давностью лет и невидимый и неощутимый,
Проникает в кровь?
Мы отравлены дымом. Отравлены дымом.
Как же жить нам теперь?

11 августа. Ордinatorская

— Ну, как успехи, коллега? — Главврач улыбался и довольно потирал руки. — Как успехи? — снова спросил главврач, открывая окно. Высунувшись наружу, он шумно вдохнул теплый воздух. Снял полковничий китель, ослабил галстук.

— Последний анализ сыворотного натрия дал чудовищный результат. Доза, вероятно, составила одну-две тысячи рентген. В крови наблюдается катастрофическое падение моноцитов и ретикулоцитов.

— Три-четыре дня, не более. А?

— Возможно, что и раньше... Как обстоит дело с нашими бумагами?

— Генерал связался с высшим начальством. Разрешение уже получено.

— Спасибо, профессор.

— Помилуйте, коллега, за что?

*11 августа 19** года. Утро. Температура 39,0. Пульс 102. Кровяное давление 160/110*

Дениз! Ты все же приехала... Как ты услышала меня, Дениз? Я приснился тебе ночью? Или ты вдруг увидела меня в толпе, бросилась догонять, расталкивая прохожих и спотыкаясь, но я вдруг пропал, растаял в воздухе? Ты молчишь... Ты сама растаешь сейчас, уйдешь от меня. Спасибо, что ты пришла хоть на минуту. У меня жар, и ты просто привиделась мне. Но все равно спасибо.

Помнишь нашу звезду, Дениз? Я не сказал тогда тебе, что знаю ее. Это было не в этой жизни, в другом времени, а может быть, и в ином пространстве. Дикие индейцы, живущие в Амазонас, из поколения в поколение передают сказку о юноше и звезде. Ты знаешь ее. Только не догадываешься, что это было с нами в далекие времена.

Как-то ночью взглянул я на небо и увидел там голубую звезду. Она светила спокойно и ярко, и грустный луч ее проникал прямо в душу. Я влюбился в звезду и,

упав на колени, позвал ее. И долго смотрел потом на небо, тоскуя по холодной и светлой звезде. В слезах вернулся в мой вигвам и упал на циновку. Всю ночь мне снилась прекрасная звезда. И сон был томителен и сладок какой-то удивительной реальностью. Но среди ночи я внезапно проснулся. Мне показалось, что кто-то смотрит на меня пристально и долго. В черной тени я увидел девушку с ослепительно синими глазами.

— Кто ты? Уйди! Сгинь,— прошептал я в испуге.

— Зачем ты гонишь меня? — тихо и кротко спросила она.— Ведь я та звезда, которую ты хотел спрятать в свою калекбасу¹. Звезды тоже женщины, и они не могут жить без любви и тепла.

Я так напугался, что долго не мог говорить и только глядел на нее сквозь слезы.

— Но тебе ведь тесно будет в моей калекбасе! — сказал я наконец, протягивая к ней руки.

Она покачала головой, и синие блики заскользили вдоль тростниковых стен.

«Но тебе ведь тесно будет на моем велосипеде! Я и сам уже еле помещаюсь на нем. Вдвоем мы вообще не уместимся.

Ты покачала головой и полезла на раму. Сколько лет тебе было тогда, Дениз? Двенадцать? Тринадцать?»

Я открыл калекбасу и впустил в нее звездную девушку. У меня было теперь свое маленькое небо, с которого светила самая прекрасная звезда.

С тех пор я лишился покоя. Целыми днями бродил я и все думал о девушке-звезде, которую позвал с неба. А ночами она выходила из тесной калекбасы, и до рассвета сверкала ее красота.

Как-то она позвала меня на охоту в ночной лес. Мы долго шли с ней звериными тропами.

Так дошли мы до высокой и стройной пальмы.

— Влезь на пальму,— сказала она.

Я послушно полез, преодолевая боязнь и каждую секунду рискуя свалиться. И, когда я достиг уже первых ребристых листьев, она крикнула снизу:

— Держись! Только крепко держись!

Как голубая колибри, взлетела она на вершину и уда-

¹ Калекбаса — сосуд из тыквы.

рила по стволу веткой. Пальма стала вытягиваться и вытягиваться и коснулась наконец самого неба. Она привязала пальму к небу и протянула мне руку. Я осторожно вступил на небо, но голова моя закружилась.

Вдруг я услышал музыку. Бодрые звуки веселой пляски, которую исполняют после удачной охоты на тапира.

— Только не вздумай глядеть на пляски! — сказала она, оставляя меня одного.

— Куда ты? — спросил я, но она уже исчезла.

И я остался стоять перед пустотой, а сзади гремела веселая пляска и слышался смех. Не в силах сдержать любопытство, я обернулся. Это плясали скелеты.

Я задохнулся от ужаса и побежал в пустоту. Но тут возвратилась она и стала бранить меня за то, что я нарушил запрет. Потом принесла воды и стала смывать с моего тела белые пятна, которые выступили на нем во время страшной пляски.

Где-то под сердцем у меня открылась холодная пустота. Я окинул небо широко открытыми невидящими глазами и вдруг побежал к тому месту, где была привязана пальма. Ударил по стволу веткой и понесся к земле.

С грустью смотрела она мне вслед:

— Зачем ты бежишь от меня? Ты все равно ничего не сумеешь забыть.

Все случилось так, как сказала звезда. На земле я заболел страшной, неизлечимой болезнью.

И вот я умираю, Дениз. Но я ничего не могу забыть.

Поезжай в Амазонас, Дениз. Там, в самом сердце сельвы, течет река Шингу. Разыщи маленькое гордое племя шеренте, и ты узнаешь конец сказки о нас с тобой. Я так и не досказал тебе эту сказку в тот последний вечер. Помнишь? Моя бабка была шеренте, Дениз.

«Вот откуда индейцы узнали о том, что там, наверху, их вовсе не ждет блаженство, хотя и светят им оттуда звезды, ласково маня в небеса», — заканчивала сказку моя бабка-шеренте...

Что ты так смотришь на меня, Дениз? У тебя совсем пусто в глазах. Пусто, как на небе. Почему ты не плачешь? У тебя нет слез? Или, может быть, тебя просто не научили плакать? Вон оно в чем дело... Кому я обязан счастьем? Таволски? Генералу? Начальнику военного ведомства? А может быть, тебе, Дениз? Ты все же зареги-

стрировалась и позволила снять с себя молекулярную карту. Зачем ты это сделала? Зачем?!

Да? Понимаю... Ты очень соскучилась. Не знала, что я умираю. Не знала, что я все равно умираю. Ты не вынесла одиночества, Дениз.

Нет, не прикасайся ко мне. Я говорю не с тобой, а с Дениз, которая просто не вынесла одиночества и теперь плачет у себя дома. А ты даже не умеешь плакать. Ты, наверное, второго сорта? Ведь правда? Благодетели решили немножко сэкономить на мне... И то верно, стоит ли особенно стараться из-за каких-нибудь двух дней...

Значит, ты все же не выдержала, Дениз. Мне очень жаль тебя, бедняга. Нам сильно не повезло. Мы не заслужили такого невезения.

Но зачем такое мучение! К чему вся эта низость напоследок! Конечно, они хотели сделать как лучше. Таволски прекрасный парень, но нельзя же быть таким идиотом! Кого они думали провести? Меня? Меня? Меня?! Нет, я не желаю вам, майор медслужбы Таволски, такого конца. Не желаю. Так безнадежно испортить последние минуты. Имейте хоть уважение к смерти! Эрзац-любовь. Эрзац-смерть. Какой мрачный и пошлый юмор! Значит, все общество, вся цивилизация безнадежно больны, если могут себе позволить такое...

Уберите же ее от меня! Уберите-е-е-е!..

*11 августа 19** года. День. Температура 40,2. Пульс учащенный и аритмичный (коматозное состояние)*

Капитан медицинской службы Тонни Вайс. Попрошу вас выйти в коридор, мадам. Мне нужно вам сообщить нечто важное.

Дениз выходит вслед за Тонни из палаты.

Тонни Вайс. Постарайтесь забыть все, что вы здесь видели и слышали. Аллан... Он принял вас за... другую. У нас есть прекрасные психиатры, которые помогут вам забыть все это. Вы еще молоды, и вам нужно жить. Современная наука способна творить чудеса... Простите мне некоторое волнение... Дело в том, что я несколько не подготовлен к беседе с вами. Меня попросил майор Таволски, он... э-э-э... сильно переутомлен и отказ... попросил, чтобы я на время заменил его... Видите ли, мадам, ваш

жених оказал очень важные услуги стране. Доктор Бартон был... является! Он является национальным героем. Поэтому правительство сделало все возможное, чтобы... Одним словом, вы сейчас увидите сами. Попрошу вас принять эту таблетку. Совершенно безобидный препарат, предохраняющий сердце от эмоционального шока... А теперь пройдите, пожалуйста, в эту комнату.

Тонни открывает дверь и пропускает Дениз вперед. Она делает два шага — и сейчас же останавливается на пороге. Улыбаясь, с протянутыми руками навстречу ей идет Аллан Бартон. Он молод, весел, подтянут и совершенно не изменился с того дня, когда она провожала его на аэродром.

Дениз. Какая низость! Как это античеловечно!

Тонни Вайс. Куда же вы, мадам, куда? Пойдите! А как же нам быть... с ним?

Дениз. Возвратите его по соответствующим каналам... И будьте прокляты!

Тонни Вайс. Что?

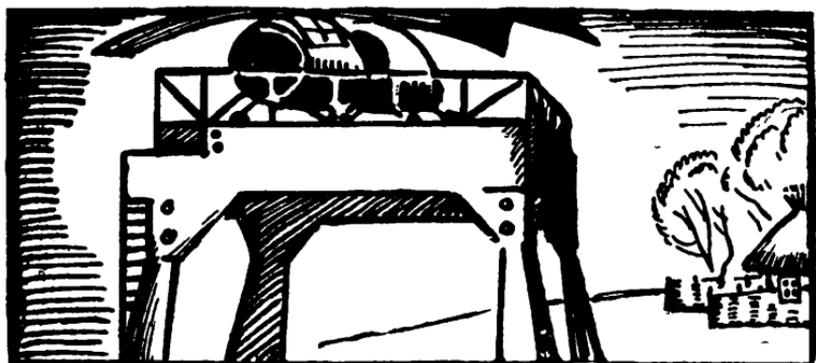
Дениз. Будьте вы все прокляты!

В коридор вбегает сестра Беата.

Сестра Беата (*Тонни Вайсу*). Скорее, доктор! Профессор Таволски только что впрыснул себе морфий! Больше, чем обычно, умоляю вас... скорее!

ПОСЛЕДНЯЯ ДВЕРЬ





Ночью разразился продолжительный ливень. Яркие молнии разрывали черное небо ослепительными трещинами, и Егорову казалось, что из них вот-вот брызнет расплавленная сталь. Тяжелые холодные градины, будто твердые клювы тысяч птиц, стучали в окна. Вода не успевала сбегать по стеклу и застывала на нем мутными разводами. В лиловых вспышках Егоров на мгновение видел клубящийся туман, переплетенный толстыми веревками струй, и смутный блеск огромных луж. Их ноздреватая поверхность напоминала свежую лаву.

— Вот досада! — проворчал он, ложась на жесткую гостиничную кровать.

Некоторое время он просматривал толстый и зачитанный до дыр приключенческий альманах, брезгливо морщился, встречая сальные и винные пятна. Дойдя до очередной испачканной страницы, он отшвырнул книгу и вновь подошел к окну. Молнии все так же высвечивали из темноты пузырящуюся на стекле воду и блестящую черную реку асфальта.

Егоров так и не дождался конца ливня, заснул, а когда проснулся, было уже позднее утро, по стенам и потолку плясали яркие солнечные зайчики, отражаясь бесконечное число раз от всех лакированных, полированных и хромированных предметов.

Егоров потянулся, соскочил с постели и пружинящим шагом прошелся по приятно холодившему пластику пола. Он чувствовал себя хорошо и бодро, ему было беспричинно весело. Казалось, ночной ливень смыл с него усталость, горечь неудач и забот.

Ему захотелось немедленно что-то делать, энергично действовать. Егоров подумал, что в таком состоянии он легко мог бы пробить план исследований плато Акуан и даже организовать там работу. Но, к сожалению, ни пробивать заявку на исследовательские работы, ни организовывать их уже было не нужно. Заявку отклонили за нереальностью месяц назад, а в его организаторские способности никто не верил. И вообще Егоров находился в недельном отпуске и должен был отдыхать, а не работать. Избыток энергии он употребил на тщательную чистку зубов, а хорошее настроение разрядил в популярной песенке «Пишу тебе я на Луну...». При первых же звуках его голоса дверь номера распахнулась, и вошла дежурная. Она осведомилась, кто здесь звал на помощь и почему для этой цели не пользуются звонком. Покрасневший Егоров объяснил, что на помощь никто не звал и что таковы его вокальные возможности. Дежурная подозрительно посмотрела на него, и было видно, что она не верит ни единому его слову. Она заглянула под кровать и в открытый стеновой шкаф. Возможно, она искала труп или связанное тело с кляпом во рту. Во всяком случае, Егорову так показалось. С большим трудом он выпроводил ее из номера.

На станции лучезарное настроение Егорова подверглось еще одному испытанию.

— Винтолет будет только после двенадцати, автолеты... — кассир на мгновение запнулся, — всё.

— Что — всё? — спросил Егоров с раздражением, разглядывая совершенно лысую голову этого сравнительно молодого человека.

Кассир поднял рыженькие бровки. В зеленых глазах мелькнула насмешка.

— Всѣ, товарищ,— значит, всѣ,— сказал он, склонив голову набок.— Все билеты проданы, все места распределены, для вас ничего нет. Подождите, после двенадцати будет винтолет, он прихватит опаздывающих.

— Я здесь уже со вчерашнего вечера жду.

— Вы не один ждете. Другие тоже ждут.

— Мне каких-то паршивых сорок километров...

— А мы дальние расстояния не обслуживаем. У нас всем нужно не дальше ста километров.

Егоров почувствовал острое желание плюнуть на сверкающую лысину. Он проглотил слюну и, сжав зубы, отошел от окошка. Настроение было совершенно испорчено.

Егоров уныло окинул взглядом пассажиров. Яркое солнце, проникавшее сквозь стеклянные стены, приветливо освещало озабоченные лица мужчин, загорелых и обветренных, с большими, сильными руками, бровастых и щекастых женщин в хустках — платках, закрывавших лоб до самых глаз, детей, возившихся у ног родителей. Негромкий мелодичный говор, наполнявший зал, переливался всеми красками музыкальной украинской речи. Егоров сел и задумался. Ему больше нельзя терять ни одной минуты, а он должен сидеть и дожидаться этого клятого винтолета!

Среди присутствующих возникло какое-то движение. Казалось, в зал пустили ток, который побежал по креслам сидений, заставляя людей поворачивать головы в одном направлении. Сладкоголосые скептические «Та ну!», «Та шо це вы!» оборвались, женщины и мужчины уставились на какую-то фигуру, возникшую в стеклянных вращающихся дверях; только дети ни на что не обращали внимания.

Егоров тоже посмотрел на дверь и увидел странного человека. Первое впечатление было неопределенным. Тревога и ощущение опасности охватили его.

Человек был дьявольски красив. Его красота была подобна вызову или удару кнутом. Все в нем было законченное, совершенное и в то же время невероятно экстравагантное.

Красота — это высшая гармония, многочашечные весы, все чашки которых старательно уравновешены природой. Оригинальность порождается удачным отклонени-

ем от равновесия. В незнакомце был именно тот миллиграмм уродства, который делал его красотой гениальной.

Человек, вероятно, привык находиться в скрещении взглядов. Он подошел к окошку кассы так, словно в зале никого не было. Он заглянул в окошечко, где плавала голая макушка зеленоглазого кассира, спросил с легким иностранным акцентом:

— Вам звонили только что про меня?

Макушка запрыгала, как поплавок в ветреный день, когда клёв плохой и бесконечная рябь бежит по свинцово-серой воде. Егорову была видна тощая рука в веснушках, с рыжими волосками в том месте, где белый манжет плотно обхватывал запястье. Рука подобострастно взвилась и мягким движением опустила на барьер билеты.

Красавец кивнул головой и, сунув билеты в карман, направился к выходу. Кассир приподнялся над сиденьем и крикнул вслед:

— Ваш автолет в третьем гараже! Справа, как выйдете...

Незнакомец, не оборачиваясь, снова кивнул.

Егоров подошел к кассе.

— Значит, у вас был свободный автолет? — спросил он нарочито спокойно.

Рыжебровый некоторое время строчил что-то в своих бумажках, потом медленно поднял голову. Он смотрел на Егорова удивленно и непонимающе. Он, конечно, не узнавал его.

— Какой автолет? — слабым, усталым голосом спросил он.

— Тот, что вы только что отдали этому иностранцу.

— А-а-а,— протянул кассир и углубился в накладные.

Егоров почувствовал, что желчь вышла из печени и, минуя камни, расставленные в желчном пузыре, поднялась к голове, застав поле зрения плотным коричневым туманом.

— Я с вами говорю! — гаркнул он, ударив кулаком по стойке.

Накладные и квитанции, наколотые на сверкающие бюрократические пики, баночки с клеем, чернильница из

лунного камня — все, как один, подпрыгнули, испуганно звякнув, шлепнулись на стол. Баночка перевернулась, из нее выползла колбаска прозрачного желтоватого клея. Кассир, побледнев, вскочил:

— Вы за это ответите! — Он нажал кнопку.

Егорову пришлось еще долго размахивать руками, кричать, оправдываться, объясняться, усовещивать, призывая, угрожать и льстить, пока наконец в девятом часу он смог выехать. Вместо быстрого мощного автолета ему пришлось сесть в допотопный автомобиль, прихотью судьбы заброшенный в сарай начальника местной службы движения.

Мысленно установив генетическую связь между начальником, с одной стороны, и животными, преимущественно собачьего рода, — с другой, Егоров успокоился и начал осматривать окружающий мир. А он был прекрасен. Высокое голубое небо с мелкими полупрозрачными облачками было заполнено теплом и светом. Свежая, еще зеленая пшеница сверкала росой. Над степью разливался аромат здоровой радостной жизни. Врывавшийся в машину ветер эластичной прохладной струей тербил егоровские вихры, и ему казалось, что у него улетают волосы...

— Давненько я не бывал здесь, — растроганно шептал он, глядя на знакомые поля, черные ленты дорог, петлявшие вдоль густых лесополос.

— В Музыковку? — спросил шофер.

— Ага.

— К Нечипоренке?

Егоров посмотрел на парня. Чернявый веселый хлопчик. Его звали почему-то Реник, Рейнгольдс.

— К нему. А ты откуда знаешь?

— А что тут знать? К нему многие сейчас ездят... А вы не знаете, скоро он назад полетит?

— Полетит. Дай отдохнуть человеку, он же только что вернулся.

«Белка», легко катившая по бетонному шоссе, замедлила ход.

— В чем дело? — спросил Егоров.

— Да тут съезжать надо с бетонки. Поворот на Музыковку.

— Так в чем же дело? Валяй...

— Та дорога ж здесь у нас не дай господи! Когда сухо, оно еще ничего, а после такого дождя...

Парень не договорил и свернул направо. Машина, сделав лихой поворот под мостом, выскочила на черную ленту проселочной дороги. Егоров с опаской посмотрел вперед. Он хорошо знал, что такое черноземный тракт после дождя.

Дорога была изрыта глубокими колеями. Рывины напоминали окопы. Грунт под колесами «Белки» расплзался все больше и больше, пока машина наконец не села на живот, беспомощно разбрызгивая с колес большие черные куски.

— Есть,— сказал Реник и остановил мотор.

Они выбрались наружу. Егоров сразу же утонул по щиколотку в жирной, вязкой грязи. С проклятьем выдернул ногу из клейкой массы. На легкие летние туфли налипли пудовые комья дегтярного цвета, и Егорову показалось, что он надел валенки. Ему стало даже немного страшно: вдруг земля начнет медленно расплываться под ним и засосет его в глубокую черную трясиину. Пока он преодолевал силы сцепления, Реник, ловко орудуя совковой лопатой, расчистил путь.

Они двинулись дальше. Егоров, тихонько ругаясь, счищал грязь с изгибов и впадин подметок.

Они свернули на другую дорогу, ведущую прямо на Музыковку. Здесь не было глубоких ям, но зато весь верхний слой почвы превратился в некое подобие жидкого масла. «Белка» буксовала через каждые три шага. Мотор, переключенный на первую скорость, жалобно ревел, из выхлопных труб валил черный дым. Реник вылез и, пощупав радиатор, махнул рукой.

— Будем стоять,— сказал он,— пусть остынет.

Егоров привалился к багажнику и пускал голубой сигаретный дым вверх, в насмешливое чистое небо.

— Черт те что! — раздался рядом с ним голос Реника.— Луну освоили, Марс освоили, на Венере высадились, а дорога у нас по-прежнему ни к бису.

— Почему? — возразил Егоров.— Есть великолепные магистрали, по одной из них мы с тобой сейчас ехали. Разве не так?

— Так то же магистраль. А до Музыковки добираться тяжче, ніж до Марса.

— Вся беда в том, мой дорогой,— назидательно сказал Егоров,— что мы живем в переходный период. Автолеты еще не вошли в силу, а машины уже вышли из употребления. Когда наладят массовый выпуск автолетов, дороги как таковые будут не нужны. Останутся лишь большие автострады. А вся остальная мелочь, такая, как эта, будет перепажана и засеяна. Сохранят только «пятачки» для приземления автолетов. И то по традиции. Автолет может сесть в любом месте — на суше, на воде, в лесу, на болоте...

— Колы ж то будет...— с сомнением протянул Реник и полез в кабину. Он долго возился со стартером, переключал скорости и наконец решительно сказал: — Давай попробуем по стерне.

Машина свернула с дороги прямо на поле, покрытое редкой рыжей щетиной, оставшейся после прошлогоднего урожая. Здесь их ожидали чудеса. «Белка» шла то левым, то правым боком, ее несло с удивительной легкостью в самых произвольных направлениях. Поле было с небольшим уклоном, и машина скользила по нему, как шайба по льду. Реник, давно заглушивший мотор, из всех сил упирался в тормозную педаль. Он с ужасом наблюдал, как они медленно приближаются к пересекавшему поле глубокому оврагу. Метрах в ста от обрыва «Белка», развернувшись задом, остановилась.

— Хай ему бис! — сказал Реник, вытирая пот с бледного лица.— Буду ждать вечера, може, подсохнет.

Они вышли из машины.

— Вон Музыковка,— сказал Реник, махнув рукой за овраг.

На зеленом холме, залитом солнцем, стояли одноэтажные и двухэтажные домики. Густые вишни и тополя бросали на белые стены призрачные фиолетовые тени.

Егоров попрощался с Реником и пошел вдоль оврага к деревянному мостику, через который проходила дорога на Музыковку. Ноги его постепенно обрастали грязью, и скоро он шагал, как на ходулях, покачиваясь и буксуя не хуже «Белки». Наконец он плюнул, разулся, закатал брюки и, зажав в одной руке грязные туфли, а в другой — трэфлоновую папку с бумагами, зачмокал по земле. Чернозем жирными черными колбасками продавливался между пальцами ног.

...— Василий дома? — спрашивал он через полчаса, остановившись у дома, на котором развеялся красный флаг.

Пожилая украинка зорким взглядом окинула гостя.

— А вы кто будете?

— Скажите, Егоров. Егоров Саша приехал.

Женщина крикнула что-то в окно, и через минуту на крыльцо выскочил высокий парень в майке, легких спортивных брюках и тапках на босу ногу. Черный чубчик весело дыбился над высоким лбом. Карие глаза сверкали приветливо и ласково.

— Сашок! Здравствуй, дорогой! Заходи, будь ласка... Ну и вид! Хлебнул нашего чернозема?

Они обнялись.

— Привет, марсианин, привет! — улыбаясь, говорил Егоров. — Не выдержала душенька? Сбежал до дому?

— Не выдержал, и не говори. Заехал с космодрома в академию, сдал документы — и здоровеньки булы! Они, правда, собирались меня пихнуть в какой-то санаторий, но я уговорил их, что дома у меня и санаторий, и профилакторий, и...

— ...дивчина с бровями, гарными, як мисяц?

— Одним словом, стопроцентная многокомпонентная экологическая система, обеспечивающая космонавту самый высокий моральный и физический тонус. Проходи, пожалуйста.

Пока Егоров плескался под душем, Василий раз десять зашел и вышел, принося то полотенце, то особое мыло «Нептун», которое выдавалось только космонавтам, то, наконец, просто так — сказать что-нибудь веселое и хлопнуть Егорова по тощей спине.

— Я считаю, — говорил Егоров, наблюдая за черноземными ручьями, бегущими от его ног, — что украинская грязь недостаточно отражена в произведениях классиков литературы...

— ...и науки, — закончил Василий.

— Именно. Ведь воспеты же украинская ночь, могучий и широкий Днепр, украинские девчата и даже тополя. Почему же нет обширных исследований и звонких стихов о черноземном царстве темных сил, агрессивно действующих после дождя?

— Мало того — по этому вопросу нет и достаточно

компетентных научных монографий. А ведь какая благодатная тема пропадает для десятка кандидатских и двух-трех докторских диссертаций!

— Еще бы! — подхватил Егоров. — Грязь можно классифицировать по давности возникновения — застарелая грязь....

— По тяговому усилию, которое нужно применить, чтобы оторвать ногу от почвы.

— Легкая грязь — килограмм, тяжелая — полтонны...

— Цифры диссертанта, приведенные в части характеристики тяжелой грязи, по-видимому, несколько завышены. Наши опыты дают величины на порядок ниже, что, конечно, несколько не умаляет достоинства проделанной работы, и диссертант безусловно... — забубнил Василий, сгибаясь крючком над воображаемыми листками отзыва официального оппонента.

— ...заслуживает присвоения ему звания кандидата грязноватых наук! — закончил Егоров.

Василий торжественно пожал ему руку.

— Будешь жить в мансарде вместе со мной, ладно? — сказал он. — Я бы дал тебе отдельную комнату, но у меня уже живет один гость. Сегодня прилетел.

— Кто? — спросил Егоров.

— Из партии Диснитов, он вместе со мной работал на Марсе.

— Вот как! А откуда он?

— Откуда-то из Америки.

Егоров поднял брови:

— Какого лешего ему от тебя нужно?

— Я потом тебе расскажу, — ответил Василий. — Идем, я представлю тебя моим домашним.

Домашних оказалось двое: мать — та самая пожилая украинка с зорким взглядом, и сестра Василия, молодая дивчина, высокая, с озорными карими глазами, очень похожая на брата. Пожимая руку Егорову, она улыбулась и сказала:

— Вася много говорил о вас...

— Ну и как? — спросил Егоров.

— Так, ничего... — хитро прищурилась девушка.

— Оксана, не морочь Саше голову, лучше сбегай в магазин, — прервал ее Василий.

— А твой американец где? — спросил Егоров, когда они поднялись в комнату Василия.

— Спит, — ответил космонавт, потягиваясь. — Как приехал, так и завалился спать.

Егоров с завистью посмотрел на великолепное тело Василия. Богатырская сила и неодолимое здоровье чувствовались в каждом движении этого ладно скроенного парня.

— Поговорим? — спросил Егоров.

— После завтрака. Матери сейчас помочь надо по хозяйству. Все же они вдвоем с Оксаной, без мужчины трудно.

— Валяй действуй. Если я понадобится, позови.

Василий спустился вниз. Оставшись один, Егоров огляделся. Большая комната производила странное впечатление. Судя по вещам и мебели, кто-то очень смело соединил в ней лабораторию, библиотеку, космический музей, гостиную и спальню. Впрочем, последняя была представлена только узкой кроватью, покрытой простым шерстяным одеялом. Над ней висело четыре фотографии Василия: в школе — маленький вихрастый озорник, напряженно глядящий в объектив, и три космических снимка, все почему-то сделанные на Луне. «Странно, ни одного с Марса, а он был там раз пять», — подумал Егоров.

Он погладил дорогие переплеты книг по космонавтике, занимавшие целую стену, щелкнул по серому лунному камню, напоминавшему застывший гребень волны, улыбнулся модели навигационного пульта космического корабля. Он хорошо знал эту штуку, Василий сделал ее, еще когда они вместе учились в Институте космической геологии. Потом подошел к широкой, в четыре створки, стеклянной двери, выходявшей на балкон. Он распахнул ее и оказался в огромной галерее, открытой с трех сторон. Сверху, защищая от прямых солнечных лучей, натянулись полосы шелкового навеса.

Егоров увидел село в сочных темно-зеленых пятнах деревьев, уютные домики с белоснежными стенами, вышки с автолетами, сверкавшими на солнце яичными и пурпурными боками. Где-то кричал петух, мычала корова. Над Музыковкой стояло синее марево, обещавшее жаркий день.

Егоров глубоко вдыхал крепкий воздух, растворивший запахи трав и цветов. От яркого света и блеска у него слегка кружилась голова. Егоров думал, что сейчас в Москве он сидел бы в душной комнате, где много курят, и подсовывал бы «Большой Бете» бесконечные ряды цифр, извлеченных из данных георазведок Луны и Марса. И ждал бы и нервничал, пока умная машина не выдаст ответа, подтверждающего или отрицающего его догадку, его способность предсказывать. Потом будет вечер. Плавая в бассейне или сидя за стойкой «Кратера», он попытается выгнать усталость из тела, из клеток мозга, ослабить натянувшиеся до предела нервы. А на другой день опять начнется все сначала. Иссущающая



душу работа, обидные неудачи, просчеты и победы, ставшие обязательной нормой. Победы, которые не радуют в то время, когда его жизнь проходит за пультом счетной машины, светит такое нежное радостное солнце и поет сладкий ветер.

До его слуха донесся шум. Кто-то вошел в комнату. Егоров увидел в стекле отражение вошедшего.

— Василий! — раздался негромкий голос.

Что-то удержало Егорова, и он промолчал. Он узнал этого человека, стоявшего на пороге. Тот самый красавчик, который перехватил автолет на станции.

Егоров ясно видел лицо незнакомца. Оно было напряженным и внимательным. Не услышав ответа, незнакомец осторожно шагнул в комнату. Вернее, просочился, настолько мягким и бесшумным было это движение. Закрыв за собой дверь. Остановился посреди комнаты и огляделся, шаря взглядом по стенам.

— Василий!

Егоров хотел было выйти из своего укрытия, но тут вошел Нечипоренко.

— А-а! Анхело! — сказал он. — Отдохнул?

— О! Очень хорошо. Очень.

— Ну и ладно. Пойдем вниз.

Они вышли.

Этот красавчик, подумал Егоров, очень несимпатичен. Егоров решил расспросить Василия о нем при первом удобном случае, но сделать этого до завтрака не удалось.

Нечипоренко с озабоченным видом показывался на секунду в дверях и моментально исчезал. В доме раздавались то старушечья воркотня, то звонкий голосок Оксаны:

— Василь, поди сюда! Василь! Дэ ты, Василь?

Василий послушно топал по теплому янтарному паркету на призывы домочадцев.

За завтраком появился новый гость — дед с усами. Звали его Павич. Он был самодоволен, торжествен и хвастлив.

— За нашего дорогого земляка, усёвитно известного космонавта Нечипоренку! — провозгласил Павич, поднимая рюмку. Выпив, он крикнул и вытер усы.

Затем дед в популярной форме объяснял присутствующим заслуги Василия перед Родиной и человечеством. Василий морщился, но деда не прерывал.

— Та хватит тоби, диду, — вмешалась мать Василия, Ольга Пантелеевна, — мы газеты тоже читаем.

— Ничого, Ольга, ничего. У нас на цилу область один космонавт. Звидки! Э нашего колхозу. Отэ диво требуется отпразнувать.

— Ну и празнуй на здоровье. А не разкажуй нам то, шо усим давно известно.

Егоров искоса наблюдал за американцем. Анхело Тенд с безучастным видом глотал румяные картофелины. Он казался еще ослепительнее, чем утром на станции. По матовой белой коже струились волны нежнейшего абрикосового румянца. Огромные черные глаза смотрели строго, чуть грустно. На Оксану он производил завораживающее впечатление. Девушка сидела, не отрывая глаз от тарелки. Когда к ней обращались, она

взрагивала. Куда девалась ее хитрая усмешка!.. Егоров с некоторым сожалением отметил напряженное состояние девушки и даже сформулировал про себя подобие мысли, начинающееся словами: «Все вы, женщины...».

— Шо там тая слава! — сердито сказала Ольга Пантелеевна, ее лицо сейчас было печальным.— Було б здоровье. А то вон Гриша Рогожин, Васин товарищ...

— Мама!

— Та я молчу. Только скажу тебе, Вася, как ты кверху поднимаешься, в свой космос, мое сердце падает.

— Дело известное — материнское,— изрек Павич, закусывая жареным лещом.

— Если б отец был жив, и ему от Васиных полетов седины бы прибавилось.

— Надо, мать, надо,— твердо сказал Василий.

— А я что? Надо так надо. Только почему б тебе не отдохнуть? Съездил бы за границу, мир посмотрел.

— Шо ему заграница? — хитро подмигнул Павич.— У него в Музыковке прочный якорь брошен.

— Хорош якорь! — Ольга Пантелеевна, собрав посуду, сердито выплыла из столовой.

— Шо, Василий Иванович, не одобряет мамаша ваш выбор, а? — Павич расхохотался и обмакнул картофелину в сметану.

Егоров видел, что Василию неприятен этот разговор. Он обратился к Оксане:

— Ну, а вы, Оксана, на Марс не собираетесь?

— Очень нужно,— вспыхнула девушка,— к вашим букашкам!

— Эти букашки поумнее всех нас,— заметил Василий.

— Хоть бы и так. Но они ж уже все перемерли.

— А что, Васятка? — весело завертелся дед.— Чем на Марс летать, сходил бы в наш муравейник...

— И то правильно,— одобрительно заметила возвращавшаяся Ольга Пантелеевна.— Дохлых муравьев и на земле достаточно.

Анхело Тенд положил вилку.

— Между марсианином и муравьем такое же сходство, как между человеком и котенком. На Марсе развилась великая цивилизация, до уровня которой челове-

ству не дойти и за десять тысяч лет. И марсиане не вымерли.

Он строго посмотрел на Оксану. Глаза его горели неистовым пламенем какой-то мрачной веры.

— А что же? — робко спросила девушка.

— Они ушли в Айю.

Все помолчали.

— А шо це таке? — насмешливо спросил Павич.

— Мы не знаем, — ответил за Анхело Василий. — Мы многого не понимаем в цивилизации марсиан. Они не знали звуковой связи, логические основы их мышления качественно отличны от нашего, эволюция протекала у них совсем иначе. Ни способы производства, ни пути развития их общества для нас пока неясны.

— Если мы когда-нибудь сможем разобраться в тех штуках, которые вы открыли на Марсе, наше общество получит колоссальный толчок вперед, — заметил Егоров.

Анхело впервые посмотрел прямо в лицо Егорову.

«Какое жуткое ощущение! Он как будто высасывает что-то из меня», — подумал геолог, невольно опуская глаза.

— Да, вы очень правы, — сказал Тенд. В его голосе было что-то металлическое.

«Не хватает обертонов», — подумал Егоров.

— Ну, все это подарки для Академии наук, — сказал Павич. — А вот для людей там немає ничего такого, щоб руками пощупать, такого, щоб... — Дед повертел толстыми корявыми пальцами, затрудняясь высказать свою мысль.

— Щоб за пазуху та до дому? — улыбнулся Василий.

— Ну да... та ни... ну шо ты, хлопче! Ну, як руда або металл який-нибудь.

— Как же, как же, — весело заметила Ольга Пантелеевна, — у Васи полна комната камней.

Василий расхохотался.

— Мама, ты неправа, — лукаво заметила Оксана. — А зеркало?

— Какое зеркало? — спросил Егоров.

— Вася привез мне в подарок зеркало с Марса.

— Зеркало марсианки, — насмешливо сказала Ольга Пантелеевна. — Даже повесить не за что.

— Зато не пылитесь,— заметил Василий.

Анхело посмотрел на Оксану. Он, казалось, видел ее впервые.

— И как вам в него смотрится? — спросил он.

— Очень хорошо,— улыбнулась девушка.

— А теперь выпьем за матушку-Землю,— торжественно провозгласил Павич.— Она нас породила, обогрела и в космос направила.

После завтрака Василий сказал Егорову:

— Пойдем отнесем твое ложе наверх.

— А где оно?

— У Оксаны в комнате.

Он обратился к сестре, оживленно беседовавшей с Анхело:

— Оксана, мы из твоей комнаты топчан возьмем, ладно?

— Пожалуйста, бери,— сказала девушка, не поворачивая головы.

Комната Оксаны была чистой и просторной. Тонкий аромат полевых цветов нежно щекотал ноздри.

— Вот он, под окном,— сказала вошедшая за ними Оксана.— Только я не завидую вам, Саша. Он твердый, как сухая глина.

— Ладно. Геологу не привыкать.

Внезапно Егоров увидел зеркало с Марса, оно стояло на стуле, прислоненное к спинке. Сверху Оксана накинула на него рушник.

— Это оно? — Егоров подошел к зеркалу.

Плоскость полуметрового эллипса, заключенного в толстый золотисто-серый обод, отразила в темной глубине настороженные серые глаза молодого человека. Зеркало не искажало ни одной линии его лица, придавая отражению легкий голубоватый оттенок. У Егорова осталось впечатление, что он смотрит сквозь толстый слой голубой воды.

Василий, тоже смотревший в зеркало, неожиданно сказал:

— Слушай, сестра, одолжи-ка нам эту штуку на время, а? Нам обоим надо бриться по утрам, а у меня только одно маленькое походное осталось.

— Берите. Оно, кстати, двустороннее. Повесьте посреди комнаты и брейтесь сразу вдвоем.

— Так и сделаем.

Они перенесли топчан наверх, прихватив с собой и зеркало.

— Я буду спать на балконе,— сказал Егоров.

— Добро,— согласился Василий.

Топчан установили под навесом. Лежа на нем, Егоров мог видеть всю Музыковку и синие дали степей. Обмотали края золотистого обода изоляционной лентой, конец ленты подвязали к рейке, на которой был натянут шелковый навес. Зеркало покачивалось и блистало на солнце, как прожектор.

— А оно тяжелое,— заметил Егоров, оценивая взглядом результаты их трудов.

— Очень. И непонятно почему. Состав, правда, неизвестен...

— А оно не представляет собой какой-либо научной ценности?

— Что ты! — Василий махнул рукой.— В Академию наук передано около двух тысяч таких зеркал. Все химики мира бьются над их химической структурой.

Они перешли в кабинет Василия, так как на балконе уже становилось жарко.

— Вообще у марсиан была странная склонность к эллиптическим формам,— сказал Нечипоренко, когда они сели в глубокие прохладные кресла.— Таких зеркал у них десятки тысяч, в городах они играют роль отражателей света... Многие строения на Марсе имеют эллиптические формы...

Василий замолчал. Перед его глазами возник образ Большой Марсианской столицы. Он потрянул головой, словно сбрасывая с себя какое-то наваждение.

— Ну ладно,— сказал он,— обо мне потом. Да ты, наверное, все знаешь из отчетов, поступающих в ваш институт. Как тебе в нем работается?

Егоров подумал.

— Что я могу сказать? Чтоб да, так нет, как говорят в Одессе. Когда после окончания института я не попал в космос из-за болезни печени... Ну, да ты помнишь. Конечно, хорошо еще, что я геолог, а не навигатор, как ты. В этом случае мне совсем была бы крышка. И все же от космоса я не мог отказаться. Поступил в этот институт. Работал. Изучал данные, собранные на Марсе,

и вот открыл плато Акуан. Сейчас лелею надежду, что удастся провести там кое-какие исследования.

— Официально? И не надейся,— заметил Василий.— Условия там ужасные. Мы вшестером раскапывали Большую столицу. Представляешь? В ней жило когда-то около миллиарда марсиан, она уходит в землю на триста—четыреста метров, а протяженность ее до сих пор не установлена. Два месяца, не снимая скафандра, ползали мы по этим проклятым муравьиным переходам. Отработаешь смену, потом еле к «Москве» доползешь. Вот так-то, брат. Расскажи-ка лучше о своем плато.

Егоров почесал подбородок. Посмотрел в потолок и начал рассказывать:

— Помнишь, какая была сенсация, когда на Марсе обнаружили органометаллические структуры, неизвестные доселе на Земле? В лаборатории их получить не удалось, сколько ни бились. На Марсе они сосредоточены в одном месте, причем в огромных количествах. Я назвал это место «плато Акуан». Потом удалось доказать искусственное происхождение структур. А что это значит, как ты думаешь?

— Ну, отходы неизвестных термоядерных реакций...— неуверенно сказал Василий.

— Правильно. Отходы. Это очень важно. Марсиане, построившие всю свою цивилизацию в почве, использовали поверхность Марса так же, как мы в свое время верхние слои атмосферы или дно океана. Они выбрасывали на поверхность различный мусор. Собственно, по таким признакам были открыты и Большая подземная столица, и вся разветвленная сеть их городов.

— Следовательно, под плато Акуан скрывается термоядерный энергетический центр, который до сих пор никто не может отыскать?

— Совершенно верно. И если этот центр будет найден, то, думаю, и для нашей земной энергетики там можно будет кое-что позаимствовать. Особенно учитывая уровень марсианской техники. Понимаешь?

— Дело интересное и важное. Впрочем, найти—это еще не все. Нужно понять, как это у них сделано. Вот мы обнаружили первую внеземную цивилизацию. А что толку? Ну ладно... Что говорят твои шефы?

— Во-первых, плато огромное. Во-вторых, центр мо-

жет оказаться не под плато, а где-то рядом. Получаются слишком большие затраты. А в-третьих, легче изучать и вывозить уже открытые объекты, чем искать новые. В общем, это, дескать, дело завтрашнего дня.

— Да, ситуация трудная,— задумчиво сказал Василий.— Поискать там стоит. Но, понимаешь, без официального разрешения... Риск большой. Сейчас у нас по инструкции четырехкратная страховка... И то...— Он замолк.— Понимаешь, Саша,— наконец с трудом произнес Нечипоренко,— Марс — очень странная планета. Я хорошо знаю нашу Луну, участвовал в высадке на Венере, хлебнул там газку, но все это не то. Совсем не то. И на Луне, и на Венере грозная природа, дикая стихия и все такое, но там не страшно. А на Марсе бывает очень страшно. Понимаешь?

Егоров смотрел на него с удивлением.

— Да, да,— сказал Василий.— Об этом не пишут и даже не любят рассказывать, но тем не менее это так.

Он снова замолчал.

— Марс — удивительно спокойная планета. Мало-расчлененный рельеф. Глубоко в почве скрылись гигантские города. Мертвые города. Ни одного марсианина не осталось, найдены только миллиарды странных сухих оболочек. Не то хитиновый покров насекомых, не то какая-то одежда. Перед отправкой в Айю они или покинули эти оболочки, или... Здесь начинается область сплошных загадок. До сих пор ничего, собственно, не удалось установить наверняка. Маленькие марсиане возводили под землей циклопические сооружения, где человек чувствует себя лилипутом. Для чего созданы эти сооружения, можно только гадать. Там очень трудно работать, Саша. Тебя все время преследует ощущение, будто на этой мертвой планете кто-то есть.

— Ну, это ты брось...— протянул Егоров.

— Да, да, именно, не улыбайся. Все время чувствуешь, что за спиной стоит кто-то живой, наблюдающий и оценивающий тебя. И... ждущий. Я не знаю ничего страшнее этого марсианского ожидания. Там тебя постоянно что-то ждет. Это очень неприятное чувство.

— Еще бы!

— Теперь возьми хотя бы наши жалкие потуги расшифровать непонятную зрительно-осязательную инфор-

мацию, которая записана на кристаллах Красного купола. Единственный интересный вывод, полученный нами,— это что марсиане собираются уходить в Айю. Что такое Айя? Как туда переправились два миллиона марсиан? Непонятно. А кто ответит, почему вся информация относится только к последнему десятилетию марсианской цивилизации? Где их архивы? Были ли у них библиотеки? Одним словом, миллион загадок.

— Я не понимаю, что тебя смущает. Требуется определенное время на изучение этого сложного и очень не похожего на нас разумного общества.

— Дело не во времени, Саша. Я подозреваю, что многого мы так и не поймем.

— Детали, может быть. Детали всегда своеобразны и неуловимы. Но в целом общее направление мы вполне можем понять.

— И общее не поймем. Мне говорили, что Дисниты — они занимались расшифровкой кристаллов Восточного сектора Красного купола — пришли к интересному выводу. Они утверждают, что мышление марсиан как бы обратно нашему, земному. У нас движение является свойством материи, у них материя — свойством движения, его проявлением.

— Ловлю тебя на слове,— сказал Егоров.— Для того чтобы сделать подобное заключение о характере марсианского мышления, нужно располагать колоссальным запасом информации. Это же философское обобщение.

— Нет. Дисниты располагали тем же, что и мы. Наши находки дублируют друг друга. Но... им больше везет. Видишь ли, Саша, у меня такое чувство...

Он задумался. Мысленно он видел узкий глубокий колодец, по которому лифт спускает космогеологов в Большую столицу, бесконечный лабиринт переходов, где пробираешься только ползком, и Красный купол — огромную искусственную пещеру с овальным потолком, залитую багряным светом. И его вновь охватило знакомое чувство тревожного ожидания.

— У меня такое чувство, Саша,— продолжал Василий,— что нашими находками и открытиями на Марсе кто-то руководит.

— Конечно. Академия наук, Совет по...

— Нет,— перебил Василий,— не то... Я не о наших...

Егоров, казалось, не понял друга, отвернулся и стал смотреть на балкон.

— Да,— сказал Василий,— кто-то нами руководит. Подсовывает одно, прячет до поры до времени другое,— одним словом, контролирует. Ну посуди сам. Марсиане ушли в Айю около пяти миллионов лет назад. На Земле в это время еще не было человека. А марсианские города сохранились как новенькие, там все блестит. Это противоестественно, понимаешь? Есть второй закон термодинамики, есть энтропия, которая растет... Да за пять миллионов лет там должен был воцариться хаос! А хаоса нет. Есть строгий порядок.

— К чему ты ведешь?

Василий молча наклонился к Егорову. Тот с испугом смотрел в его серьезные черные глаза. «Уж не свихнулся ли он там, на своем Марсе?» — мелькнула мысль.

— Они вернуться.

Егоров принужденно расхохотался:

— Здорово! Хозяин вышел на минутку и просит гостей подождать?

— Совсем нет. Хозяин просто не может или не хочет вернуться.

— Может, они улетели из Солнечной системы в эту Айю?

— Черт его знает, что это за Айя,— задумчиво сказал Василий.— Порой я даже готов согласиться с академиком Перовым. Он исследовал панцири и считает, что подобный переход является чисто физиологическим процессом. Айя— это смерть. А может, что-то вроде того света. Перейдя в Айю, получаешь шанс на бессмертие...

— Это уже твой собственный домысел?

— Нет, так Дисниты придумали. Кстати, этот Анхело Тенд — неплохой парень, между прочим,— работал с ними до нашего прилета. Дисниты уже собирались отлетать, как вдруг обнаружили, что Тенд исчез. Туда, сюда — нет Анхело. Они улетели. А через месяц мы нашли Тенда в одной из галерей Красного купола. Он был жив и здоров, но не мог ответить ни на один вопрос. Что с ним случилось, где он был, что ел, пил — не помнит. Пришлось его обучать всему заново, рассказывать, кто он такой, где жил, что есть Земля и люди. Долго так продолжалось. Но однажды он вспомнил... почти все.

Слова Нечипоренки были прерваны высоким, рвущим воздух звуком. Пронзительный вой столбом поднялся к небу. Друзья выбежали на балкон. Вверху на темно-синей глади выводил прерывистую снежную роспись реактивный самолет.

— Какая-то новая модель.— Егоров прикрыл глаза ладонью.

Звук оборвался так же внезапно, как и начался. Самолет утонул в глубине небесной чаши.

— Ну и ревушка! — покачал головой Василий.— До земли доходит ослабленный звук. Представляешь, каково летчикам?

— Там изоляция.

— Так о чем я говорил? — спросил Василий.

— Об Анхело.

— Ах да! Ну вот, собственно, и все. Вернулись мы с Марса. Анхело побывал дома, что-то ему там не понравилось. Он ведь испанец, из Венесуэлы... Теперь решил остаться у нас. И вот это зеркало, что я Оксане приволок,— продолжал Василий,— это памятный подарок Гришки Рогожина, который погиб.

— Как! — вскочил Егоров.— Григорий погиб?

— Погиб, и самым таинственным образом. Он работал в одной из «комнаток», которых там, в Красном куполе, тьма, а этажом выше работали наши взрывники. Взрыв они произвели крошечный, но все же кое-какое сотрясение было. Слышим вскрик. Прибежали к Грише. Лежит с разбитой головой. Скафандр снят, лицо размозжено. Сама же «комната», где работал Гриша, осталась совершенно целой. Так, с потолка немного пыли осыпалось да кусочки облицовки размером с мой ноготь лежали на полу. Что могло нанести удар такой страшной силы, мы так, конечно, и не узнали. Что-то там болтали о многократном усилении взрывной волны, о направленных ударных воздействиях — чепуха все это. И какая досада! Как раз в этот день Гриша сделал великолепную находку. Он нашел труп марсианина. Это было потрясающим открытием. Мы пять лет на Марсе и ничего, кроме пустых оболочек, не находили. Миллиарды рачьих скорлупок! Об истинном облике марсианина мы могли только гадать. Гришку на руках носили, когда он приволок под мышкой этот прекрасно засушенный экспонат.

Мы положили его в титановый контейнер и отправили наверх, а через четыре часа отправили наверх Гришу. А зеркало я оставил себе.

— Какое зеркало? — спросил Егоров.

— Вот это самое.— Василий указал на зеркало с Марса, которое слегка покачивалось под порывами теплого ветра.— Мертвый марсианин лежал в двух шагах от него, и Григорий снял зеркало. Потом я взял зеркало на память.

Егоров внимательно и печально посмотрел на сверкающий овал.

— Тоже ведь загадка,— протянул Василий.— Зачем марсианам эти зеркала, совершенно одинаковые и в огромном количестве? В каждом городе их сотни...

Вдруг лицо его изменилось. Взгляд впился в зеркало.

— Оно не отражает! — прошептал Василий.

Егоров посмотрел на зеркало. На первый взгляд оно действительно ничего не отражало. Поверхность его была ровной и матовой. Такого же золотисто-серого цвета, как обод. Они одновременно бросились к зеркалу и увидели в нем свои взволнованные физиономии.

— Фу, глупость! — заметил Егоров.— Анизотропное изображение всего-навсего. Ты меня так напугал своими рассказами о Марсе, что я скоро от любого марсианского камня стану шарахаться.

— И правильно сделаешь,— задумчиво сказал Василий,— потому что ни одно из марсианских зеркал, с которыми я имел дело, не обладает такими удивительными, вернее, даже странными свойствами. И это тоже... не обладало, пока я его держал в чемодане.

— Вероятно, на него благотворно подействовал мой приезд.

— Возможно... Ну ладно,— сказал Василий.— Подводя итоги, плато Акуан исследовать надо.

— Эх, если б меня взяли в космос! — махнул рукой Егоров.

— Не тужи, братец,— заметил Василий,— вот создадут антигравитатор, полетишь и ты со своей больной печенкой...

Василий ушел, и Егоров подошел к зеркалу. Он представил себе, как тысячи марсиан смотрелись в эту блестящую поверхность, и ему стало не по себе. Зеркало

равнодушно отражало его некрасивое лицо, красные крыши домов, поле и электротрактор, который жужжал далеко, на краю большого зеленого поля. Егорову показалось, что на блестящем материале возник какой-то едва заметный белый налет. Он прикоснулся к нему — и вздрогнул от неожиданности. Поверхность зеркала была мягкой! Он взял спичку и попытался скосырнуть налет. По отражению зеленого поля прошла неглубокая бороздка. Егоров был удивлен. Он посмотрел на кончик спички. Постепенно след на зеркале стал зарастать и минут через пять совсем исчез.

— Интересно,— промычал Егоров сквозь зубы и придвинул кресло поближе.

— Саша! Саша! — услышал он громкий голос Нечипоренко.

Егоров посмотрел вниз и увидел, что Василий стоит у ворот и размахивает газетой. Лицо космонавта исказилось в болезненной гримасе.

— Прыгай ко мне! — крикнул он.

Егоров прыгнул на влажную упругую землю. Освещенное ярким летним солнцем лицо Василия было мрачным и серьезным.

— Читай,— сказал он, указывая на вторую полосу.

— «Нам сообщают...— бормотал Егоров, скользя взглядом по мелкому шрифту,— вчера в Бостоне были обнаружены тела... братья-космологи Альфред, Уильям, Колдер и Джеймс Дисни... убийца не найден... загадочная смерть без каких-либо признаков токсического или физического воздействия... Ученые-эксперты в растерянности...» Что это значит? — обратился он к Василию.

— Читай до конца,— сердито сказал Нечипоренко.

— «Смерть известных исследователей Марса связывается с заявлением, сделанным ими несколько дней назад, что в Большой Марсианской столице якобы найден архив и ключ к нему, дающий возможность воссоздать пресловутую дверь в Айю. Эта находка неизмеримо увеличит мощь людей, сообщил корреспонденту «Таймс» Колдер Дисни».

Они молча посмотрели друг на друга.

— Вот он, Марс! — взволнованно сказал космонавт.— Он и на Землю протягивает свои лапы. Не хотят марсиане открыть свои тайны.

Егоров молчал, но сообщение его тоже встревожило. Он почему-то подумал, что Анхело только недавно вернулся из Америки и, вероятно, знает о гибели Диснитов.

— Не исключен вариант, что в один прекрасный день будет найдено тело Василия Нечипоренки без следов какого-либо физического, химического или психического воздействия,— неожиданно сказал космонавт, разглядывая нарциссы, окаймлявшие клумбу перед домом.

Егоров посмотрел на отпечаток своей ноги на краю клумбы и сказал:

— А что говорит по этому поводу твой Анхело?

— Он еще не знает. Сейчас я его позову.

Василий вошел в дом и через минуту вышел с Тендом.

Ни волнение, ни сочувствие, ни жалость — ничто не отражалось на прекрасном лице Анхело. «Он продумывает линию поведения»,— подумал неожиданно Егоров.

— Какое печальное известие. Я их очень уважал,— сказал Тенд.

Лицо его оставалось неподвижным. «Может, у него просто такая мимика или, вернее, полное отсутствие всякой мимики?» — подумал Егоров.

Они сели на лавочку возле ворот. Оксана срезала нарциссы.

— Самое примечательное — что гибнут люди, работавшие в Красном куполе. Рогожин, Дисниты... Кто следующий?

— Я,— неожиданно сказал Анхело и улыбнулся.

Егоров впервые видел, как улыбается Тенд: глаза оставались мертвенно-спокойными, а рот корчился в судороге смеха.

— Почему ты так думаешь? — спросил Василий.

— Если следовать теории, что марсиане прячут от нас свои тайны, то следующим должен быть я. Дисниты разобрали архив — и погибли. Гриша нашел мумию — и погиб. А я... Перед тем как я... как у меня наступил тот провал в памяти... я тоже видел комнату, где нашли Рогожина. Там были и высохший марсианин, и зеркало, и еще много маленьких крестиков на стенах, на потолке...

— Каких крестиков?

— Откуда я знаю? Я пришел туда с фонарем, а он у меня испортился. Тогда я взял два конца батареи и че-

рез графитодержатель сделал маленькую вольтову дугу. Я увидел на полу этого марсианина, зеркало и какие-то искорки на стене и на потолке, похожие на крестики. И тут моя дуга вспыхнула очень ярко; наверно, я сильно сблизил электроды.

Говорил Анхело как-то нехотя, словно что-то удерживало его.

— Ну и что? — с нетерпением спросил Егоров.

— Раздался шум. Очень большой шум, как ревет самолет на взлете. Дуга погасла, и шум смолк. Я выбрался из этой комнаты и немного заблудился в переходах. По моему подсчету, прошло часа два. А когда я встретил своих людей, Вася, они сказали, что я пропал месяц назад и что группа Колдера уже закончила работу и улетела на Землю.

Они надолго замолчали. Оксана, проходя мимо, бросила им на колени по цветку.

— А ваши данные... а вы потом были в этой комнате? — спросил Егоров у Тенда.

— Конечно. Никаких крестиков я не обнаружил.

— Ну ладно, братцы, — сказал Василий, вставая, — я должен идти. Марсианскими делами на Земле слишком увлекаться не стоит. Меня ждет один человек...

Егоров вернулся на балкон. Оксана и Анхело остались в садике и тихо о чем-то беседовали. Егоров лег на топчан и, наклонив зеркало к себе, стал разглядывать Оксану. Ему показалось, что Анхело как-то уж очень близко приник к ее уху. Егоров бросил в зеркало нарцисс. Он и сам не мог понять, зачем это сделал.

Сзади раздался крик. Изумленный Егоров выпустил зеркало из рук и обернулся: Анхело и Оксана слетели со скамейки и упали навзничь прямо в цветы. Они довольно неуклюже барахтались, пытаясь подняться. Егоров спрыгнул с балкона.

«Второй прыжок за одно утро. Такой способ сообщения становится регулярным», — подумал он, помогая девушке и испанцу встать на ноги.

— Что случилось? — спросил Егоров.

Лицо Оксаны было смущенным и растерянным. На щеке багровела ссадина. Егоров почувствовал острый, неприятный запах в воздухе.

— Нас что-то толкнуло, — подумав, ответил Анхе-

ло,— будто облако упало. Облако запаха. И сейчас же исчезло.

— Нет, не облако, а будто потолок, потолок с лепкой упал на нас и... этот странный запах... он напоминает отбросы, какую-то гниль,— сказала Оксана.

— Не ушиблись? — осведомился Егоров.

Она покачала головой. Егоров оглядывался по сторонам. Ничего примечательного, кроме испорченной клумбы с цветами, он не увидел.

Запах постепенно исчезал. Вначале резкий, отвратительный до тошноты, он слабел, делался нежнее. «Уменьшается концентрация»,— подумал Егоров. Он знал, что даже самые лучшие духи в большой концентрации обладают мерзким запахом. Вдыхая нежный, едва уловимый аромат, он силился вспомнить его источник. «Нарциссы!» — внезапно озарило его.

Он посмотрел на балкон. Смутная догадка промелькнула в его сознании. Егоров взглянул на Анхело и увидел, что испанец тоже смотрит на балкон, на необыкновенное зеркало. Егорова поразило выражение лица молодого ученого: так смотрят на предмет долгого, тщательно скрываемого вожделения.

— Разве зеркало не у тебя? — отрывисто спросил Тенд у Оксаны.

— Зеркало? Какое зеркало? Ах, это! Я отдала его Саше и Васе,— спокойно и чуть удивленно ответила девушка. Она тоже заметила волнение Тенда.

«Что-то здесь неладное»,— подумал Егоров.

Его отвлек шум, слышавшийся за воротами.

Во двор вошла Ольга Пантелеевна с Павичем. Она была в резиновых сапогах и кожаной куртке. Ольга Пантелеевна сердито говорила Павичу:

— А я тебе кажу, шо вин був пьяный. Разумиешь? Пьяный!

Павич держал в одной руке старый, обшарпанный портфель с металлическим замком посередине, в другой — обломок грубо обструганного деревянного бруса длиной в метр.

— Це ж вещественное доказательство, Оля,— сказал Павич, помахивая брусом.

— Что случилось, мамо? — спросила Оксана, подходя к ним.

Преодолев барьер из многочисленных отступлений и восклицаний, Оксана и Егоров выяснили суть дела. Ольга Пантелеевна, обходя с Павичем поля, обнаружила глубокую борозду, проходившую через участок озимой пшеницы. Поломанные стебли и развороченная земля привели их к трактористу Коцюбенко, который, сидя возле своей машины, с изумлением вглядывался в канаву, разрезавшую скатерть зеленого поля. На вопросы Ольги Пантелеевны и Павича тракторист понес околесицу. Он утверждал, что с неба упала огромная дубина и сама прошла по полю, оставив рытвину. Брусок в руках Павича — кусочек этой дубины.

Вначале вырытая траншея, утверждал Коцюбенко, была глубокая — метра на три. Но потом она стала уменьшаться, вроде бы зарастать, стебли пшеницы распрямились, и к моменту появления Ольги Пантелеевны и Павича через поле проходила уже только небольшая бороздка, которую те приняли за тракторный след. Поступок пьяного тракториста — а он был действительно пьян — вызвал горячее негодование у Ольги Пантелеевны.

Егоров задумался. Потом он заметил, что Анхело с ними нет. Очевидно, он незаметно удалился.

Еще открывая дверь в кабинет Василия, Егоров знал, что встретит там испанца. Но в комнате никого не было. Егоров вышел на балкон. Тенд стоял спиной к Егорову, приставив к золотисто-серому ободу зеркала тонкий черный стержень. Другой конец стержня Анхело приставил к уху. Создавалось впечатление, будто испанец выслушивает больного. Низкое гудение расплывалось в майском воздухе.

— Анхело! — позвал Егоров.

Тенд отскочил от зеркала словно ужаленный. Он посмотрел Егорову в глаза. Это был страшный, беспощадный взгляд...

Оксана, зайдя в кабинет Василия, услышала слабый стон. Он доносился из-за стеклянной двери балкона. Девушка выбежала и увидела Егорова на полу, за ящиками для цветов и рассады. Оксана помогла ему перебраться на топчан. Через несколько минут Егоров открыл глаза.

— Он ушел?

— Кто — он?

Егоров промолчал. Он смотрел на девушку устало и отчужденно.

— Что с вами? — волнуясь, спросила Оксана. — Может, вызвать врача?

— Врача? — спросил Егоров. — Врача не надо, я совершенно здоров. Это солнце. Я давно не был так много на солнце.

Он внимательно разглядывал свои руки.

— Оксана, вы больше всех, пожалуй, за исключением Васи, разговаривали с Анхело. Как он вам показался?

Девушка чуть-чуть покраснела.

— Не знаю, он красивый...

— И только?

— По-моему, он очень холодный человек и непонятный.

Егоров неожиданно улыбнулся и сел на топчан.

— Вы верно чувствуете, Оксана... Вот что, Оксана, мне срочно нужен Василий. Где он?

— Он катает Валю на своем автолете. Вот если б вы сегодня утром догадались позвонить, не пришлось бы вам тащиться по грязи на «Белке».

— Откуда ж я мог знать, что у Василия есть личный автолет? А там у него, случайно, нет телефона?

— Есть. Да стоит ли мешать? Им и без того трудно. Мама не одобряет Валю. Ей кажется, что Васиной женой должна быть другая девушка.

— Какая? С Марса?

— Нет, но что-то в этом роде. — Оксана засмеялась.

Егоров минуту подумал.

— Оксана, голубушка, мне срочно, до зарезу нужен Василий. Как ему позвонить?

— Да вон они! — Оксана махнула рукой на горизонт.

— Где? Где? — Егоров силился разглядеть блестящую точку над полем.

— У вас глаза от солнца болят, — заметила Оксана и, повернув Егорова за плечи, сказала: — Смотрите в зеркало. Они здесь тоже видны. Вот видите светлое пятнышко?

— Где?

— Да вот же, господи! — Оксана ткнула пальцем в зеркало.

— Осторожно! — хотел остановить ее Егоров.

Но было поздно. Загорелая подушечка пальца слегка коснулась зеркала там, где виднелось пятнышко автолета. Оксана побледнела и отдернула палец.

— Ай! — вскрикнула она, взмахивая рукой. На коже выступила капля крови, палец был слегка ободран.

— Скорей машину, скорей! — заторопился Егоров. — С ними случилось несчастье!

Он прыгнул с балкона. «Сегодня этим нарциссам досталось в третий раз...» — машинально подумал он.

— Оксана! — крикнул он, повернувшись к балкону. — Закройте зеркало покрывалом, и чтоб никто и ничто не касалось его поверхности!

Девушка, сунув палец в рот, с удивлением наблюдала за суетливыми движениями Егорова, вскочившего на мотоцикл. Тревога геолога передалась и ей. Она посмотрела на горизонт. Автолета Василия не было.

Когда Егоров, подпрыгивая на комьях сухой земли, подъехал к месту катастрофы, там уже стояла машина. Падение автолета заметил местный агроном. Он только что вышел из автомобиля и, раскачиваясь, шагал по полю. Егоров догнал его, и они пошли вместе.

Через несколько шагов они остановились. Автолет лежал на свежеспаханной земле. Радиатор и верх прозрачного кузова оказались под полосами грязно-желтой ткани, на которой бордовыми пятнами застывала кровь. Бока и стекла автолета были усеяны мелкими красными брызгами. Преодолевая ужас, Егоров бросился к машине и распахнул дверцы.

Василий, сидевший у пульта, свалился к его ногам. Вдвоем с агрономом они вынесли тело космонавта, ставшее необыкновенно тяжелым, и положили на черную землю. Вынесли из автолета и высокую бледную девушку, голубые глаза ее были слегка приоткрыты.

Агроном распахнул воротник и прижал ухо к груди космонавта. «Прав ты был, Вася, — думал Егоров, разглядывая бледное лицо друга. — У Марса руки длинные...»

— Бьется! — радостно воскликнул агроном.

Он стал на колени у изголовья Василия и сделал несколько ритмичных движений искусственного дыхания.

Егоров нагнулся над девушкой.

«Откуда же столько крови? — напряженно думал геолог. — Ведь они совершенно целы». И тут он вспомнил вишневую каплю на пальце Оксаны и сердито затряс головой, отгоняя дикую, нелепую мысль. Валя чуть слышно вздохнула.

— Валя! Валя! — позвал Егоров.

— Смотрите! — воскликнул агроном.

Егоров посмотрел сначала на него. Он увидел кирпично-красное лицо, голубые удивленные глаза в лучах морщин и загорелую руку, вытянутую в направлении автолета.

Ни кровавых брызг на стекле, ни дымящейся лужи крови под машиной не было. Все исчезло. На капоте неясно белел клочок сморщенной ткани, только что покрывавшей всю машину.

— Черт! — закричал Егоров и, подбежав, спрятал лоскуток в карман. Он был мокрый и холодный.

В это время Василий открыл глаза и застонал.

— Валя! — тихо позвал он.

Хлопоты вокруг космонавта и его невесты, вызов врача, долгие объяснения и разговоры с домашними заняли всю вторую половину дня. Наконец Василия уложили, несмотря на его шумные протесты, и напоили чаем с малиновым вареньем. Обложенный подушками, он дико вращал глазами и призывал в свидетели все созвездия Вселенной, что здоров, невредим и совсем не хочет лежать. Но Оксана и мать, сидевшие по обе стороны кровати, были неумолимы.

— Ну поймите, ничего страшного не произошло! Автолет двигался над полем на высоте двух-трех метров. Потом что-то нас стукнуло, и мы потеряли сознание. Вот и все. И нечего мне тут устраивать постельный режим по последнему слову космической профилактики.

— Я сказала, тильки через мий труп, — говорила Ольга Пантелеевна, придавив плечо сына сухоньким кулачком. — Лежи.

Оксана и Егоров, переглянувшись, рассмеялись. Егоров поднялся к себе на балкон. Он ощущал страшную усталость. Солнце уже зашло, но небо было светлым и алым. Село спряталось в глубоких вечерних тенях.

Егоров достал лоскут неведомой ткани, снятой с ав-

толета. Он стал совсем крошечным. Егоров расправил его и посмотрел на свет. Ключок слегка просвечивал.

— Кожа! Человеческая кожа! Кожа с Оксаниного пальца,— негромко сказал он.

Василий уже сладко дремал на пуховых подушках, когда кто-то настойчиво потянул его за руку. В мерцающем лунном свете он увидел темный силуэт. Егоров стоял, прижав к губам палец.

— Тсс! — сказал Егоров.— Идти можешь?

— Да. А что случилось? — спросил Василий, вскакивая.— Что-нибудь с Вале́й?

— С ней все в порядке. Пойдем со мной.

Егоров пошел вперед, высоко поднимая ноги. В доме стояла тишина. Оранжево светилась полоска света под дверью комнаты Ольги Пантелеевны.

Егоров провел Нечипоренку на второй этаж, в кабинет. Там, освещенный неярким светом настольной лампы, сидел незнакомый человек.

— Капитан Самойленко,— представился он, вставая.

Василий пожал протянутую руку.

— Этот товарищ приехал, чтобы задержать Тенда,— сказал Егоров.— Анхело убил Дисни, похитил их материалы и сбежал.

— Что? — Василий выпрямился.— Ты понимаешь, что говоришь?

— Понимаю. Время не терпит. Капитану повезло, что он в этом доме сразу натолкнулся на меня. Тенд — опасный преступник.

— Американцы обратились к нам с просьбой задержать убийцу четырех известных исследователей Марса,— сказал Самойленко.

— Но зачем он это сделал? — вскричал Василий.

— Власть, золото... а впрочем, черт его знает, почему,— сказал Егоров.

— Мне нужно произвести обыск. Вы согласитесь быть понятыми?

Василий, все еще ничего не понимая, кивнул.

— А где же Тенд?

— Они с Оксаной ушли в кино,— сказал Егоров.

Василий молча опустил голову и закусил губу.

— Идите вы вдвоем, я побуду здесь,— сказал он.

Минут через десять Егоров и Самойленко втащили большой желтый чемодан.

— Здесь все колдеровские записи,— сказал Егоров. Лицо его покраснело от напряжения.

— Все это придется конфисковать,— строго заметил Самойленко.

Он досгал папку и с озабоченным видом, чуть прикусив губу, сделал запись. В руках у него появился микрофотоаппарат.

Василий смотрел на все происходящее, как во сне. Смысл слов, казалось, не доходил до него.

— Зачем ему это понадобилось? Зачем? — бормотал он.

— Как — зачем? — взволнованно сказал Егоров, тыча в лицо космонавта кипу фотографий.— Вот те крестики, по которым Колдер расшифровал запись последнего марсианина. Ты видишь эти бесконечные геометрические узоры? По ним Колдер установил, где находится последняя открытая дверь в Айю! Понял?

— Ну хорошо, допустим, на Марсе такая дверь существует и действует,— возразил Василий, наблюдая, как Самойленко извлекает и деловито фотографирует тяжелые красные кристаллы. Василий хорошо знал их: он тысячами выковыривал их из потолка и стен Красного купола.

— Нет! Совсем нет! — вскричал Егоров.— Может быть, эта дверь является границей антипространства. У нее могут быть совершенно необыкновенные свойства...

— Ну хорошо,— перебил его Нечипоренко,— допустим, все это так. Но ведь у Колдера Дисни этой двери не было, он только знал о ней. Дверь-то осталась на Марсе, ее еще надо найти. Зачем же Анхело надо было убивать...

— Ах я дурак! — быстро проговорил Егоров.— Ты же не знаешь главного! Пойдем.

Он вскочил с кресла.

Василий нехотя вышел на балкон. Егоров подвел его к топчану, над которым висело зеркало с Марса. Золотой обод на нем светился холодным мерцающим светом.

— Пощупай,— прошептал Егоров.

Василий коснулся обода и отдернул руку.

— Что, горячий? — рассмеялся Егоров. Он, казалось, был очень доволен всем случившимся.

— Не горячий, но...

— Жжется? То-то.— Егоров засуетился. Ему хотелось поскорее поделиться тайной.— Но не это главное,— сказал он.— Смотри в зеркало. Что ты там видишь?

— Ну, что? Ночь, серп луны, хаты...— начал неуверенно перечислять Василий.

— Так. А вот здесь? Темное такое, продолговатое. Что это?

Нечипоренко присмотрелся к зеркалу.

— Скирда соломы.

— Скирда? Очень хорошо, очень-очень хорошо.

Егоров вышел и вскоре вернулся, неся стакан с водой. Он поставил его на топчан, достал из кармана зажигалку. Щелк! — и коптящий язычок пламени слабо осветил ночной воздух. Запахло бензином. Егоров поднес огонек к зеркалу в том месте, где чернела похожая на гусеницу скирда соломы, и затем отнял огонь.

Василий вскрикнул. Он не мог отвести взгляд от зеркала. Там продолжало гореть изображение. Егоров осторожно взял Василия за плечи и повернул лицом к селу.

На горизонте к нему рвалось пламя. Ярко-оранжевые языки были отчетливо видны даже отсюда. Над ними плыли седые клубы дыма, растворяясь в ночной тьме. Багровые ручьи заливали почву.

— Что ты наделал?!

— Тихо! — Егоров набрал в рот воды из стакана и тонкой струйкой плеснул в зеркало.

Василий услышал далекий шум, пламя на горизонте полыхнуло раз, другой и погасло. Освещенные лунным светом, вверх поползли клубы пара.

— Больше нельзя, иначе можно устроить наводнение,— спокойно сказал Егоров.

— Это она? — шепотом спросил Василий, указывая на зеркало.

— Она, братец, она,— заторопился Егоров.— Единственная незапертая дверь в Айю. На Марсе она не работала, а в Музыковке, видишь; открылась. Ее не успел захлопнуть рогожинский марсианин. Так и простояла она пять миллионов лет приоткрытой. А может, не мил-

лионов? Анхело решил использовать ее для личных темных целей. Теперь ты понимаешь, зачем после Дисни он пожаловал к тебе? Ты видел, как горело? А ты знаешь, что твой авиолет мощностью в тысячу лошадиных сил Оксана прикосновением мизинца сбросила на землю? Нечаянно, конечно. Теперь ты понимаешь, что это за мощь, что за сила?

Василий все понял. Цепь отрывочных событий замкнулась в логическое кольцо.

— Вот так находка! — прошептал он, хлопнув Егорова по плечу.— Поймали-таки марсианского черта за хвост!

— Так давай скорей крестить, крестить его, вражьего сына! — воскликнул Егоров.

Друзья возвратились в кабинет.

— Вам еще много? — спросил Егоров у Самойленко.

— Сейчас кончаю.

Василий сидел хмурый.

— Ты что? — закричал Егоров.— Радоваться должен! Такое открытие!

— Не знаю. Никак не могу представить, чтобы космонавт на такое дело пошел. Тенд не первый год по планетам ходит.

— Всё! — облегченно вздохнул Самойленко и сел в кресло, направив аппарат на Егорова и Нечипоренку.— Последнее вещественное доказательство. Лично для меня, на память.

— Не нужно! — замахали они руками.— Ни к чему!

Дверь распахнулась, и в комнату вошел Тенд. Он взглянул на сидевших, на раскрытый чемодан, ремни с блестящими пряжками, напоминавшие высохшие змеиные шкурки, кристаллы, фото, записи — и все понял.

Василий смотрел на испанца долгим взглядом, полным глубокого огорчения. Егоров переглянулся с Самойленко. Тот со скучающим выражением достал красную книжицу и положил ее на колено. Но почему-то не встал.

Тенд больше никого не удостоил взглядом. Он прошел на балкон. Сидевшие в кабинете переглянулись. Их, казалось, забавляло то, что должно было произойти. Анхело вернулся, неся марсианское зеркало. Он установил его на полу, слегка наклонив. Затем вынул черный стержень, провел им по золотистой раме зеркала. Раздался

отдаленный звенящий гул, будто где-то далеко в небе летел реактивный самолет. Тенд взял со стола пачку фотографий и с размаху швырнул их в зеркало. Они исчезли. Туда же полетели кристаллы с Красного купола, записи, катушки с магнитной лентой, дневник братьев Дисни и сам желтый чемодан с его змеевидными ремнями. Предметы исчезли беззвучно.

«Почему же мы не встаем?» — с испугом подумал Егоров.

Тенд подошел к зеркалу и оглянулся.

Егоров почувствовал, что сознание ускользает от него, точно влажное арбузное семечко. Страшная тяжесть обрушилась на голову, пригнула ее к груди. «Сейчас лопнет», — с ужасом подумал он.

Дольше всех боролся Самойленко. В самый последний момент, когда Тенд начал растворяться в воздухе, теряя обычные нормальные очертания, капитан попытался вскочить с места. Тенд оглянулся, и капитан рухнул в кресло. Фотоаппарат его слабо щелкнул.

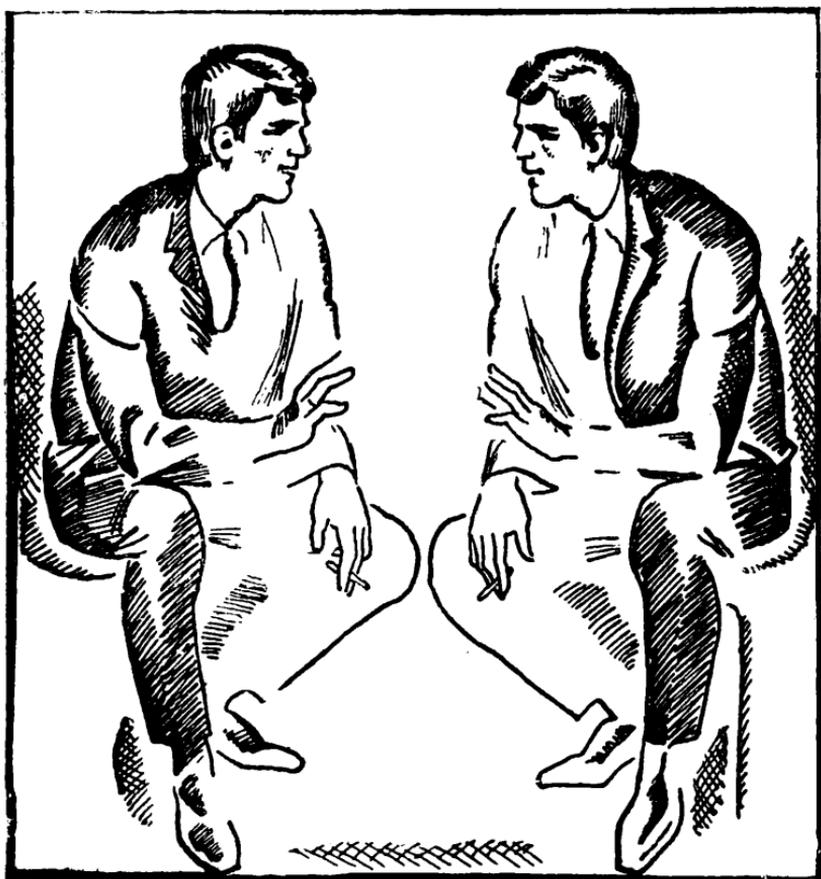
— Я не убивал Диснитов. Они... — Голос Анхело достиг самых высоких тонов и оборвался.

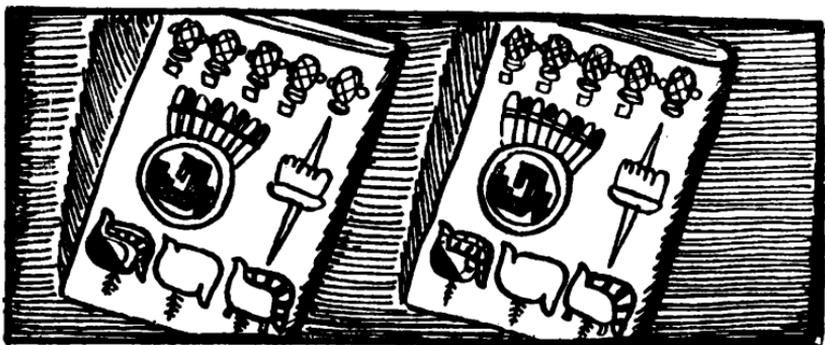
Самойленко заслуженно гордился: это был единственный снимок живого марсианина. Три глаза, расположенные по вершинам правильного треугольника, смотрели со страстной неземной силой. Они были глубоки и бесконечно мудры.

Егоров взял в руки сверкающий серый овал. Зеркало бесстрастно отражало действительность. Последняя дверь в Айю была захлопнута.

Но надолго ли?

СНЕЖОК





В моем бумажнике паспорт, служебное удостоверение, несколько разноцветных книжечек с уплаченными членскими взносами, но сам я — призрак, эфемериды. Я не должен ходить по этому заснеженному тротуару, дышать этим крепким, как нашатырный спирт, воздухом. У самого бесправного из бесправных, у лишенного всех жизненных благ и навеки заключенного в тюрьму больше прав, чем у меня. Неизмеримо больше!

Я так думаю, но не всегда верю в это. Слишком привычен и знаком окружающий меня мир. Ветки деревьев разбухли от изморози и стали похожими на молодые оленье рога. Провода еле видны на фоне бесцветного неба. Они сделались толстыми и белыми, как манильский канат. На крыше физфака стынут в белесом сумраке антенны. Точно мачты призрачного фрегата. Химфак дает знать о себе странным — никак не разберу: приятным или, наоборот, противным — запахом элементоорганических эфиров. Привычный повседневный мир! И только воспоминания комком давят на сердце и шепчут:

Всё мечты, всё нереальность,
Всё как будто бы зеркальность
Навсегда ушедших дней.

Вчера еще было лето, а сегодня — зима. Как много лжи в этом слове: «вчера». Нет, не вчера это было...

У меня нет пальто. Вернее, оно висит где-то на вешалке, но номерок от него лежит в чужом кармане. И опять ложь: «в чужом». Не в чужом... Просто для этого еще не придумали слов.

Я иду быстро, чтобы не замерзнуть. Как-нибудь обойдусь без пальто. Раньше я часто бегал раздетым на химфак или в главное здание.

Я остановился и вздрогнул. Ну надо же так! Я чужь было не угодил под огромный «МАЗ». Шофер высунулся, и вместе с жемчужным паром от дыхания в колючий воздух повалась затейливая ругань.

Я засмеялся. Ну и дурак же ты, шофер! Я одна только видимость. Дави меня смелее! Твой защитник сумеет добиться оправдания. Нельзя убить того, кто не существует.

Какая-то, однако, чушь лезет все время в голову. Я стараюсь не дать себе забыться и отвлечься. Я должен помнить, что здесь я — чужой.

Навстречу мне идет яркая шеренга студентов. Беззаботные и гордые, точно мушкетеры после очередной победы над гвардейцами кардинала, идут они чуть вразвалочку, громко смеясь и безудержно хвастая.

— А тебе-то что досталось, Пингвин? — Высокий щеголеватый парень повернулся к рыжему взлохмаченному коротышке.

— Так! Ерунда! Абсорбция, изотерма Лангмюра, двойной электрический слой и двухструктурная модель воды... Я запросто, одной левой...

«Физхимию сдавали», — подумал я и задержал шаг.

— Ты только глянь, что на мне надето, — сказал рыжий, вытягивая из-под шарфа воротник синей в белую полоску рубашки. — Не знаю, как только держится! Все экзамены в ней сдаю. Счастливая! Костюмчик тоже старенький, еще со школы.

Я ощутил какую-то неострую, грустную зависть.

Вот и красный гранит ступеней. Запорошенные ка-

надские ели. Прикрытая кокетливой снежной шапочкой каменная лысина Бутлерова.

Я привычно полез в карман за пропуском.

Сердце ёкнуло и упало.

Преувеличенно бодро поздоровался с вахтершей и, сунув ей полураскрытый пропуск под самый нос, побежал к лифту.

Бедная вахтерша! Если бы она только видела, какая дата стоит у меня в графе «Продлен по...»!

Зажглась красная стрелка. Сейчас раздвинутся двери лифта. И я подумал, что мне лучше не подыматься на четвертый этаж. Что, если я встречу его и нас кто-нибудь увидит вместе? От одной этой мысли мне стало холодно.

О том, чтобы поехать домой, тоже не могло быть и речи. Родители бы этого не перенесли. Они ни о чем не должны знать. Если уж я и встречу с ним, то нужно будет сразу же обо всем договориться.

Я даже засмеялся, думая о нем. Юмор, наверное, прямо пропорционален необычности и неестественности ситуации. И подумать только, такой переход произошел мгновенно! Во всяком случае, субъективно мгновенно. А объективно? Сколько времени прошло с того момента, как я на защите диссертации сдернул черное покрывало?

Мои теоретические предпосылки ни у кого не вызвали особых возражений. Шеф, естественно, дал блестящий отзыв, официальные оппоненты придрались лишь к каким-то частностям.

Один из них, профессор Посохин, долго протирал платком очки, дышал на стекла и кряхтел. Медленно и скрипуче, как несмазанное колесо, он что-то бормотал над бумажкой. Всем было глубоко безразлично, сколько в диссертации глав, страниц и рисунков, сколько отечественной и сколько иностранной библиографии. Члены Ученого совета уже мысленно оценили работу и, скучая, слушали нудного и скрупулезного профессора.

Время от времени я делал пометки, записывая отдельные фразы. Мне еще предстояло ответное слово. Наконец Посохин кончил речь сакраментальной фразой:

— Однако замеченные мной недостатки ни в коей ме-

ре не могут умалить значение данной работы, которая отвечает всем требованиям, предъявленным к такого рода работам, а автор ее безусловно заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата физико-математических наук.

Председатель Ученого совета профессор Валентинов, высокий красавец с алюминиевой сединой, сановито откашлялся и спросил:

— Как, диссертант будет отвечать обоим оппонентам сразу или в отдельности?

— Сразу! Сразу! — раздалась из зала возгласы членов Ученого совета, которым уже осточертела однообразная процедура защиты.

— Ну, в таком случае, — Валентинов улыбнулся чарующей улыбкой лорда, получившего орден Подвязки, — попросим занять место на кафедре нашего уважаемого гостя, Самсона Ивановича Гогоцеридзе.

Член-корреспондент Гогоцеридзе взлетел на кафедру, точно джигит на коня. Свирепо оглядел зал и, никого не испугав — Самсон Иванович был добрейшим человеком, — дал пулеметную очередь:

— Тщательный и кропотливый анализ, проделанный нашим уважаемым профессором Сергеем Александровичем Просохиным, избавляет меня от необходимости детального обзора диссертации уважаемого Виктора Аркадьевича (благосклонный кивок в мою сторону). Поэтому я остановлюсь лишь на некоторых недостатках работы. Их немного, и они тонут в море положительного материала, который налицо.

Гогоцеридзе перевел дух и вытер белоснежным платочком красное лицо.

— Да... я не буду говорить о достоинствах работы, а лишь коротенько о недостатках.

Это «коротенько» вылилось в семнадцать минут. Я уже начал волноваться, но шеф едва заметно подмигнул мне, и я успокоился. Перечислив все недостатки, Гогоцеридзе выпил стакан боржома и произнес традиционное заключение, что, несмотря на то-то и то-то, диссертация отвечает, а диссертант заслуживает.

Я поднялся с места для ответного слова. Так как меня никто не громил, а отдельные частности, не понравившиеся оппонентам, были несущественны, я решил не

огрызаться. Минут пять я благодарил всех тех, кто помог мне в работе. Это было едва ли не самое главное. Не дай бог кого-нибудь забыть! Потом я расшаркивался перед оппонентами, обещая учесть все их замечания в своей дальнейшей работе и вообще руководствоваться в жизни их ценнейшими советами.

Шеф кивал в такт моим словам. Все шло отлично.

Потом Валентинов призвал зал к активности. Но выступить никто не спешил. Нехотя, точно по обязанности, вышел один из членов Ученого совета, что-то сказал и сел. Еще кто-то минут пять проговорил на отвлеченные темы и отметил, что такие молодые ученые, как я, нужны, а моя работа даже превышает уровень кандидатской диссертации.

И вдруг я услышал долгожданный вопрос, его задала мне незнакомая девушка:

— Я очень внимательно следила за тем местом в докладе Виктора Аркадьевича, где он дает теоретическое обоснование возможности перемещения против вектора времени. Я даже подчеркнула этот абзац в автореферате. Мне бы очень хотелось знать о предпосылках экспериментальной проверки этого эффекта.

Вопрос был что надо! Мы с шефом предвидели его и еще месяц назад заготовили шикарный ответ. О том, что у нас уже готова установка, шеф не велел даже заикаться. Это могло бы повредить защите. Все бы сразу оживилось, начались бы расспросы — что и как. Насилу я уговорил шефа все же перенести установку в зал защиты и скрыть ее черным покрывалом. Так, на всякий случай. Мы сами творим свою судьбу.

Когда девушка задала свой вопрос, шеф улыбнулся и, кивнув на установку, приложил палец к губам. Я подмигнул ему: еще бы, разве я себе враг?

Я поднялся для того, чтобы ответить на вопросы и лишний раз блеснуть эрудицией. Изрек несколько общих фраз, поблагодарил выступавших и перешел к ответу на тот вопрос. По сути, это был единственный настоящий вопрос, на который стоило отвечать.

И тут я увидел глаза девушки. Темно-медовые, с золотыми искорками, внимательные и серьезные. Сэр Ланселот вскочил на коня. Дон-Кихот вонзил копьё в крыло ветряной мельницы.

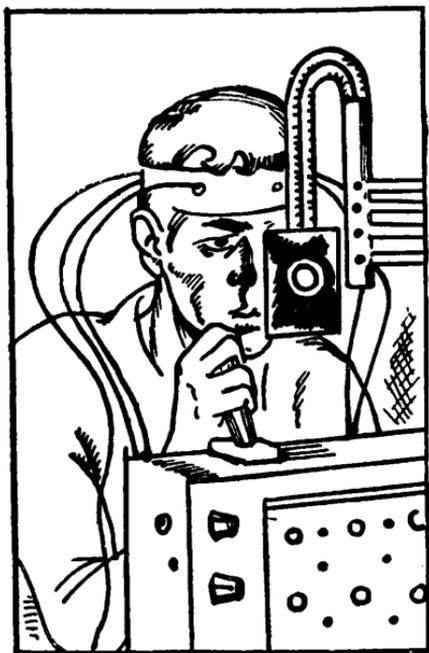
Не знаю, как это получилось, но я подошел к установке, сдернул покрывало и глухо сказал:

— Вот!

В зале стояла тишина. На шефа я старался не смотреть. Порыв прошел, и я понял, что сделал глупость. Но отступить было некуда. И я, точно в омут головой, ки-

нулся в атаку:

— Мощность этой экспериментальной установки еще очень мала, поэтому я смогу перенестись в прошлое не далее чем на несколько месяцев. Я сделаю это сейчас. Когда я исчезну, то попрошу всех оставаться на местах. И уж ни в коем случае не становиться на то место, где сейчас находится установка... Я скоро вернусь.



Зал не дышал. А я подошел к распределительному стенду и подключил установку. Как в полусне, я надел на лоб хрустальный обруч, снял пиджак, засучил рукава и прило-

жил к рукам медные контакты. Потом я нажал кнопку. Последнее, что я увидел,— это был раскрытый рот профессора Валентинова. В руках профессор держал записную книжку в затейливом кожаном переплете, которую он купил в Южной Америке.

В зале было холодно и сумрачно. Я снял обруч, поставил лимб на нуль и выключил установку. Потом я огляделся. На стеклах росли сказочные морозные листья. Они светились опаловым блеском. Мутные блики застыли на пустых скамьях. Высокий потолок утонул во мраке.

Я подошел к дверям и потянул их на себя. Они были заперты. Вот невезение! Это могло испортить все дело. Поднимать шум бесполезно, даже рискованно. Все комнаты на ночь опечатываются. Ждать до утра? Но будут ли ждать меня те, кого я оставил... в будущем?

Мне оставалось только предаться философским размышлениям о сущности времени и о том, какого дурака я сваял. А может, радоваться удаче?

Интересно, сколько сейчас времени? Где-то вверху над доской должны быть часы. Мне казалось, что я различаю слабый отблеск их круглого стекла. Я начал вспоминать, где расположен выключатель. Как странно! Сколько раз я бывал в этом зале и днем и вечером, но ни разу не обратил внимания, где находится выключатель.

Я подошел к стене, прижался к ней и, вытянув руки, начал обходить зал по периметру. Наконец я нашарил выключатель. Он оказался возле самой двери. И как это я раньше не сообразил?!

Вспыхнул свет. Часы показывали двадцать семь минут пятого. До начала рабочего дня оставалось четыре часа. Если только я случайно не угодил в воскресенье. И я решил подождать. Я выключил свет, прошел в глубину зала и улегся на задней скамье. Когда утром сюда придет уборщица, она меня не заметит. Сколько раз я спал здесь!

Но тогда все было по-иному. На кафедре что-то бубнил преподаватель, вокруг были студенты. Одни записывали лекцию, другие играли в балду, третьи шептались. А я спал.

Я долго вертелся на жесткой скамье. Вот досада! И почему только я не взял с собой пиджак! На мне была одна нейлоновая рубашка с засученными рукавами. Но мысли гнали сон.

Как только отопрут зал, мне нужно будет незаметно проскользнуть в лабораторию. До прихода товарищей и, главное, его. Я постараюсь переодеться в старый лыжный костюм, в котором обычно провожу эксперименты. Он висит в моем шкафчике, рядом с белым халатом. Хорошо еще, что бумажник с деньгами был не в пиджаке, а в брюках! Мне уже сейчас хочется есть, а что будет утром?.. Действительно, что будет утром?

...Все случилось, как я и предполагал. Ползая под столами, мне удалось обмануть бдительность тети Кати, которая что-то ворчала себе под нос, посыпая пол мокрыми опилками, и проскользнуть в коридор. За установку я не волновался. Студентов у нас приучили ничего руками не трогать, а научные сотрудники не станут вертеть незнакомый прибор. Особенно если на кожухе сделана предупредительная надпись.

Переодевшись, я стремглав понесся по лестницам вниз. Я решил перебежать на химфак. Там у меня меньше знакомых и мне легче будет обдумать свое положение. Пробегая по коридору второго этажа, я заглянул в приоткрытую дверь читальни. Там никого не было. Я тихо прошел по ковру к подоконнику, заставленному горшками с кактусами и агавами. За окном шумел утренний город. Окутанные дымками трубы, мосты с пробегающими троллейбусами, спешащие на работу люди. И это была реальность, такая же объективная реальность, как я сам.

Все столы в читальне были заняты. Преподаватели и аспиранты оставили свои портфели, папки, тетради, исписанные листы бумаги, авторучки. Через несколько минут они придут сюда и вернуться к прерванной работе. За одним из профессорских столов я заметил предмет, который заставил меня насторожиться. Это была записная книжка профессора Валентинова. Желтый кожаный переплет украшали цветные иероглифы древних ацтеков. В эту книжку профессор записывает все, что ему предстоит сделать на завтра. Я быстро пролистал исписанные страницы. Последняя запись была сделана одиннадцатого декабря. «Значит, сегодня одиннадцатое, а запись сделана вчера»,— решил я, потому что под датой было написано:

1. Позвонить Ник. Андр. по поводу Астанговой.
2. 11.30 — 13.20 — лекция на III курсе.
3. В 14.00 — Ученый совет.
4. В 17.00 — аспиранты.

Да, сегодня одиннадцатое декабря... Больше семи месяцев.

И тут мне в голову пришла великолепная мысль. Я оглянулся, не стоит ли кто в дверях, и, быстро положив записную книжку в карман, выбежал из читальни.

...На химфаке царила экзаменационная суета. Все были озабочены, торопливы, нервны. С лестниц скатывались смеющиеся орды счастливых. Даже вахтерши были захвачены общим настроением.

— Тот и сдает, кто учит,— говорила одна из них, разматывая клубок шерсти.— Моя вон и книжки на ночь под подушки кладет, и в туфельку пяточок прячет, а коли не учит, то и ничего...

Передо мной, шипя, раскрылись двери лифта, и я все никак не мог сообразить, что мне делать. Двери с шумом захлопнулись. Прозвенел зуммер, и лифт, повинаясь вызову откуда-то сверху, ушел без меня. Я решил подождать начала рабочего дня и позвонить ему. А то уйдет на химфак или еще куда-нибудь.

Монета с лязгом провалилась в стальную глотку автомата. Кокетливый женский голос пропел:

— Алло-у?

Я проглотил чуть не сорвавшуюся с языка фразу: «Привет, Раечка, это я, Виктор».

— Алло-у?!

— Виктора Аркадьевича, пожалуйста,— сказал я, облизывая пересохшие губы.

Трубку положили на стекло письменного стола. Я слышал характерный звук. И вообще я знаю, куда они кладут трубку. Стало тихо. Лишь время от времени доносились приглушенные расстоянием разговоры. Но вот слышались шаги. Мужчина шел широко и уверенно. Мне было приятно узнать, что у него такой шаг. Дуэтом, немного не поспевая за мужчиной, семенили каблучки-гвоздики. Я напряг слух.

— Если бы я не знала, что вы здесь, Виктор Аркадьевич,— откуда-то издалека, с другой планеты, долетало Раечкино сопрано,— я бы решила, что меня разыгрывают. Ну в точности ваш голос!

— Я слушаю,— трубку взял мужчина.

Вот те на!

Голос его мне был незнаком и неприятен. Но я вспомнил, как звучит мой собственный голос в магнитофонной записи, и успокоился. Свой голос узнать трудно. К нему нужно долго привыкать.

— Виктор Аркадьевич,— сказал я в трубку, стараясь дышать глубоко и спокойно,— не перебивайте меня и старайтесь отвечать короче. Главное, не удивляйтесь и не возмущайтесь... У меня очень важное дело, и никто, кроме нас с вами, не должен об этом знать. Вы меня понимаете?

— Нет. Кто это говорит?

— Виктор Аркадьевич, вы планируете эксперимент по движению макросистемы против вектора времени? — Я пошел ва-банк.

— Кто это говорит?!

— Успокойтесь, пожалуйста. Нам нужно встретиться, и вы все поймете. Я вам все объясню...

Наверное, он принимает меня за шантажиста или шпиона.

— Почему вы не хотите назвать себя? — В его голосе звучало нескрываемое раздражение.

— Вы меня не знаете. Совсем не знаете! Я случайно проведал о ваших планах... совершенно случайно. Я работаю над той же проблемой, что и вы. Но... я попал в беду. У меня неудача. Мне нужна ваша помощь.

Дыхание в трубке участилось. Я мысленно ликовал. Кажется, клюнуло! Впрочем, я действовал наверняка. Ведь я знал его, как... можно знать себя.

— Вы не находите, что все это несколько странно? — наконец сказал он.

— Ничуть. Все абсолютно нормально. Я прошу вас только о встрече. Ни о чем больше. Будь вы девушкой, наш разговор был бы естествен: он просит, она ломается... Но вы не девушка и не можете мне отказать. Не имеете права, наконец!

— Почему вы так думаете?

Я не ожидал от него такого дурацкого вопроса.

— Почему я так думаю? — переспросил я.— Да хотя бы потому, что «я знал ее, как можно знать себя, я ждал ее, как можно ждать любя». Это я о вас!

— Хорошо! Давайте встретимся, где вам удобно... Как мы узнаем друг друга?

— О, не беспокойтесь! Мы узнаем друг друга в любви толпе в первую же секунду.

Я тут же осекся. Незачем переигрывать. Он этого не любит. Но было уже поздно.

— Что вы хотите этим сказать? — Опять в его голгсе появилось недоверие.

Есть синий вечер, он напомнит,
Не даст забыть, не даст уйти.
Вот так рабу в каменоломне
Цепь ограничила пути.

Я процитировал строфу стихотворения, которое он написал еще студентом и никогда никому не показывал.

Трубка молчала.

— Итак, где и во сколько? — наконец спросил он.

Вот молодчина! А я и не знал, что он такой молодчина... Он сейчас очень волнуется, я это знаю, но какой спокойный голос! Какой бесстрастный!

— Вечер у вас свободен?

— Только до семи часов.

Интересно, куда он собирается?.. Наверное, что-нибудь важное. Иначе он бы забросил для меня все дела. Я-то знаю! Он любопытен до невозможности.

— А если сразу же после работы? У вас дома... Мама куда-нибудь уходит?

Я хотел сказать «ваша мама», но не смог и сказал просто «мама».

— Приходите в пять часов. Вы, надеюсь, знаете, где я живу?

— Да, знаю.

— Я почему-то так и думал. Итак, в пять?

— Да, в пять. Спасибо. До свиданья! Вы молодчина!

Мы оба, он и я, все еще не можем прийти в себя. Я смотрю на свою квартиру, оглядываю каждую вещь. Все здесь интересует меня. Обои и картины, которые написаны мной, мои книги и скульптура, выполненная моим другом. Как на величайшее чудо, смотрю я на мамину швейную машину, накрытую кружевной салфеткой, и на телевизор, на котором развалился, закрыв экран пушистым хвостом, мой старый рыжий кот. Я почти не нахожу здесь перемен. Может быть, потому, что я покинул эту квартиру только вчера? Но ведь вчера она была на семь месяцев старше, чем та, в которой я очутился сегодня!

Ничто не поразило меня больше, чем моя квартира. Может быть, потому, что в ней был он? Он? Я говорю «он», как будто бы это другой, отдельный от меня человек... Впрочем, действительно другой и отдельный! Кто же из нас более реален, более на своем месте: он или я?

— Боюсь, что мы сейчас думаем с вами об одном и том же,— говорит он, как-то вымученно улыбаясь.

— Да, вероятно... Кстати, почему мы говорим друг другу «вы». Ведь мы... Во всяком случае, мы ближе, чем самые кровные близнецы.

— Да, черт возьми! Я никак не сформулирую... Вертится на языке и не дается! Минуточку... Мы с вами... Мы с тобой одно и то же лицо при условии движения во времени. Но одновременно мы можем существовать лишь раздельно! Улавливаешь суть?

— И это ты говоришь мне? Яйца собираются учить курицу?

— Та-та-та! Мы, кажется, хорохоримся? — В его глазах плещутся веселые чертики.— Идею о переносе в прошлое разработал я, а ты ее только претворил в жизнь.

Я даже сел от такой наглости. Но, подумав хорошенько, я нашел в его мысли известный резон. Более того, я даже придумал, как обратить против него его же оружие. Он хотел еще что-то сказать, но я опередил его:

— Стоп, старина! Стоп! Так не годится.— Я подавил рождающуюся у него во рту фразу.— Нужно стрелять по очереди... Я принимаю ваш выстрел, поручик. Будем считать, что пуля сорвала мой эполет. Теперь мой черед. Да знаете ли вы, самовлюбленный мальчишка, что идея принадлежит не вам? Да, да, не машите руками! Я принимаю ваши возражения без прений. Она не моя, согласен, но и не ваша! Она пришла в голову тому, кто моложе вас на год и моложе меня на девятнадцать месяцев... Что, съел? Один — ноль в мою пользу! Вы убиты, поручик. Прими, господи, его душу; хороший был человек.

Он рассмеялся. Ну разве он не молодчина? Я просто влюбляюсь в него. Эх, если бы можно было навсегда остаться так, вдвоем! Я так мечтал о брате! Но он мне не брат...

— Старость еще не очень потрепала тебя. Сметка есть! — Он похлопал меня по плечу.— Великолепная

мысль! Не худо бы ее развить... Где осталась установка?

— В зале, на факультете. А что?

— Я мыслил ее с углом инверсии в четыре сотых секунды. Как ты ее сделал?

— У меня, то есть у тебя, в расчеты вкралась ошибка. Не совсем точно раскрыта неопределенность — бесконечность на бесконечность.

— Почему не точно? По правилу Лопиталья!

— Оно здесь неприменимо. Я использовал метод Ферштмана, получился угол в пятьдесят две тысячных.

— Но это все равно... установка на одного человека. Жаль!

— Что жаль?

— Если мы могли бы отправиться на год назад вдвоем... Мы попали бы в тот момент, когда ко мне, то есть к нему, вернее, ко всем нам пришла эта идея! Каково?

— Здорово! Великолепная мысль. Нас бы стало трое! Три мушкетера!

— Вернее: бог-сын, бог-отец и бог — дух святой! Трое в одном лице.

— А с тобой неплохо работать! — Я жадно всматривался в его лицо, пытался уловить те необратимые изменения, которые принесло мне время.

— С тобой тоже хорошо. — В его голосе я почувствовал нотку нежности. Он тоже пристально рассматривал меня. Еще бы! Ему предстояло стать таким через семь месяцев. Кому-не интересно!

Мы замолчали. Я не думал, что эта встреча так потрясет меня. Я представлял себе все совершенно иначе. Мне казалось, что я буду сверкающим послем из будущего, мудрым и блестящим, как фосфорическая женщина. Буду поучать, советовать, а «он» будет ахать и восхищаться, закатывать глаза и падать в обморок. А он вот какой! И это только естественно, только естественно. Действительность, как всегда, оказалась самой простой и самой ошеломляющей. Мудра старушка природа, мудра! Что ей наши гипотезы!

— Послушай, старина, а не поесть ли нам? — Он первым нарушил молчание.

— Впервые за все время я слышу от тебя разумные слова. Что у тебя сегодня на обед, Лукулл?

— Суп с фасолью, заправленный жареной мукой с луком... Отбивная с кровью, я жарю в кипящем масле — три минуты с одной стороны и три минуты с другой. Твои вкусы, надеюсь, не изменились?

Он замолчал, как видно припоминая.

Я проглотил слюну. Мне чертовски захотелось поесть.

— Да! — продолжал он. — Компот из сухофруктов, и я купил еще баночку морского гребешка.

— Мускул морского гребешка? В каком соусе?! — вскричал я.

— В укропном, — несколько удивленно ответил он.

— Ты когда-нибудь уже покупал эти консервы?

— Нет. Сегодня первый раз кугил в университете, чтобы попробовать. А что?

— Так... Ничего.

Я вспомнил тот день, когда впервые купил эту баночку. Я принес ее домой. Как и сейчас, мама куда-то ушла. Я обедал в одиночестве. Торопясь на свидание, я раскрывал консервы на весу. Нож соскочил, банка выпала, и белый укропный соус оказался на моих брюках.

Я искоса взглянул на его брюки — они были как новенькие, и стрелка что надо! Мои за эти семь месяцев уже немножко износились, а над левым коленом можно было разглядеть слабое пятно от консервов.

«Ничего, сейчас у него будет такое же, — подумал я злорадно. — Кажется, он тоже собирается вскрыть баночку на весу».

И тут я подумал: может быть, имеет смысл активно вмешаться в человеческую историю и хоть в чем-то улучшить ее? Но по зрелом размышлении я решил, что, пожалуй, не стоит. Это был бы весьма безответственный акт, допустимый лишь в научно-фантастическом романе. Нельзя вмешиваться в процесс, если последствия такого вмешательства тебе неизвестны:

Посему быть пятну на штанах у чистюли!

— У! Вот собака! — прошептал он, лоя на коленях раскрытую банку с нежным, имеющим вкус крабов мускулом морского гребешка.

Кажется, я тогда выругался так же.

Кот раскрыл левый глаз, но, не обнаружив собаки, вновь превратил его в косую щелочку.

Мы все-таки попробовали гребешок. Он съел свою долю перед супом, а я вместе с гарниром, после того как уничтожил отбивную. Потом мы разложили диван-кровать и растянулись во всю его ширь, не снимая ботинок, чтобы власть покурить. Привычки у нас были одинаковые. Оказывается, я не меняюсь.

Я с наслаждением пускал кольца. Мы молчали. Я заметил, что он несколько раз украдкой смотрит на часы.

— Ты сказал, что свободен только до семи, куда ты идешь? Если не секрет, конечно.

— Секрет? От тебя?

— Ты не учишься памяти. Человеку свойственно забывать. Забыть же — все равно что не знать. Поэтому, если секрет...

— Ерунда! У меня свидание с Ирой. На Калужской, возле автомата.

— С Ирой?!

— Ты разве с ней не знаком? Это было бы оригинально... Ну, как она там... в будущем, не подурнела? Или вы с ней...

За его деланной шуткой чувствовалось беспокойство.

Оно-то и помогло мне окончательно вспомнить, какой сегодня день.

И числовая абстракция — одиннадцатое декабря — наполнилась для меня грустным смыслом памяти сердца.

Я ждал тогда Иру около автоматов. Люди входили в кабины и выходили. Назначали друг другу свидания, смеялись, уговаривали, просили. Пар от дыхания, пронизанный светом фонарей, был рыжим и чуть-чуть радужным. Большим янтарным глазом, не мигая, смотрел на меня циферблат. Она опаздывала на три минуты. Минутная стрелка долго оставалась неподвижной, потом внезапно прыгала. И в резонанс с ней что-то прыгало в сердце.

Я увидел ее издали, когда она переходила улицу. Она спешила. Вокруг ее меховых ботинок кружились маленькие метели. В глазах ее горели огоньки. Но я не верил им. Она была холодная, как морозная пыль на лисьем воротнике. Высокая и очень красивая.

Далекая она была, далекая.

Это-то и подстегнуло меня сказать ей всё. Я чувствовал, что она не любит меня, но не хотел, не мог этому верить. Гнал от себя эти мысли. И торопил события. Я нравился ей, она со мной не скучала. Так нужно было и продолжать. Шутить и не бледнеть от любви. Будь я к ней более холоден, более небрежен, как знать, что могло тогда выйти. Она привыкла ко всеобщему преклонению и шла от одной победы к другой. Любопытная и неразбуженная.

А ей хотелось не властвовать, а почувствовать чужую власть, испытать нежную покорность перед чужим спокойствием и уверенной силой.

Я понимал это, но ничего не мог сделать. Я был влюблен и потому безоружен. Она не могла не победить. Это была неравная битва.

Тот день был моим Ватерлоо.

Я сказал ей все.

Что она могла мне ответить? Что предложить?

Дружбу?

Она понимала, что я не из таких, кто склоняется перед победителем и становится его рабом. Может быть, ей и хотелось удержать меня около себя на роли отвергнутого вздыхателя, но она понимала, что из этого ничего не выйдет.

Она не предложила мне дружбу, не сказала, что «не знает» своих чувств ко мне, что ей нужно «разобраться». Она была молодец.

Вызов брошен, и на него нужно отвечать. Может быть, она и сожалела, что я поторопился. Не знаю. Только она сказала:

«Нет... Я всегда рада буду тебя видеть, всегда», — еще добавила она.

Я понял, что все кончено. Я не приходил к ней больше и не звонил. И она не звонила.

Расстались мы у Крымского моста.

И теперь через какой-нибудь час все это предстояло пережить ему! Всѐ! Начиная от ее опоздания на три минуты до «нет» у Крымского моста. И мне до боли стало жаль его, до слез. Только сейчас я ощутил, что он — это

я, но еще чего-то не знающий, чего-то не понявший, не совершивший какой-то ошибки. Мне очень захотелось оградить его от предстоящей боли, предостеречь его, вооружить моим опытом. Это было очень сложное чувство.

И еще мне очень хотелось встретиться с ней, с прежней, не осознавшей крушения наших встреч. Сейчас бы я выиграл битву. Все было бы совершенно иначе. Она бы мучилась ревностью и сомнением, она бы обвиняла меня в бесчувствии. Я бы заставил ее полюбить меня.

А может быть, все это мне только казалось?

Может быть, не в моей власти было что-то изменить?

— Я пойду на свидание вместо тебя!

— Зачем? — Лицо его померкло и стало холодным.

— Ты же не знаешь, что тебе предстоит сегодня! Ты не знаешь ни ее, ни себя! Пусты меня! Только сегодня... И я исчезну. Ты будешь мне благодарен. Пусть у тебя все будет иначе! Не как у меня!

— Нет. Я не хочу знать, как было у тебя.

— Ты же не знаешь, ничего не знаешь! Сегодняшняя встреча непоправима... Я знаю и скажу тебе.

— Нет, не нужно!

— Ты не понял меня! Я не пойду вместо тебя, ладно. Но ты должен вести себя по-другому, не так, как я тогда. Лучше не ходи совсем. Подожди, пока она сама тебе позвонит. Она позвонит.

— Я не хочу тебя слушать! Понимаешь? Не хочу!

— Но почему? Я же хочу открыть тебе глаза. Не ради себя, ради тебя!

— Не нужно! — глухо сказал он. — Ничего не говори мне о ней. Не нужно.

Я заглянул в его глаза и понял: он знал все и все понимал озарением любящего сердца, как и я когда-то. Знал, но не хотел верить, как и я когда-то. И ничего не мог изменить, как и я когда-то. Он пойдет на свидание и скажет ей всё. Я понял это. Когда-то такой мысленный диалог был у меня с самим собой. Он сейчас говорит об этом со мной. Какая разница?

С колыбели человек хочет делать все сам. Делать и испытывать, ошибаться и вставать, потирая синяки. И это хорошо.

— Пожалуй, мне лучше будет вернуться?

— Да, пожалуй... Мы еще встретимся?

Я засмеялся.

— Ты всегда будешь во мне. А я... я всегда буду ускользать от тебя. Твоя жизнь — это погоня за мной. Мы сдвинуты по фазе.

— Я исчезну, когда ты вернешься в свое время?

— Нет, мы просто сольемся в неуловимом миге, имя которому настоящее. Оно скользящая точка на прямой из прошлого в будущее. Попрощаемся?

— Я провожу тебя. До университета.

— Хорошо.

Я не отпускаю его руку и долго смотрю ему в глаза. Наше прошлое помогает нам узнать себя. Это очень важно.

— Ну, прощай,— говорю я.

— До свидания,— улыбается он,— ты всегда будешь возвращаться ко мне. Мы обязательно встретимся, когда ты снова полюбишь.

— До свидания,— соглашаюсь я.

Мне грустно. Я нагибаюсь, собираю руками нежный рассыпчатый снег, крепко сжимаю его пальцами в плотный льдистый комок. Я собираюсь запустить снежок в него. Но глаза мои почему-то туманятся, и я только машу рукой.

Он тихо улыбается.

Я поворачиваюсь и отворяю массивную дверь.

Я открываю глаза и трогаю хрустальный обруч. Я оглядываю зал. Здесь ничего не изменилось! Профессор Валентинов даже не успел закрыть рот. В янтарных глазах девушки испуг и восхищение. Шеф бледен и страшен. Немая сцена. Сейчас откроется дверь, и кто-то в шлеме пожарника скажет: «К вам едет ревизор!»

— Ну? — наконец выдавливает Валентинов.

Я, не понимая, смотрю на него.

— Мы ждем... Пожалуйста,— говорит он.

— Простите, я не совсем понимаю вас.— Я еще не пришел в себя и действительно не понимаю, чего он от меня хочет.

— Вы обещали нам исчезнуть...

Он улыбается. Морщины его разглаживаются. Он приходит в чувство и снова становится кавалером ордена Подвязки.

— А разве я не... Разве я не отсутствовал здесь несколько часов?

— Да нет же! — Это, кажется, кричит девушка.

В ее крике столько душевной боли! Боли за меня и еще за что-то.

— Так я не исчезал?

— Нет! — улыбается Лорд и лучики-морщинки вокруг его глаз говорят: «Ну, пошутил — и будет. Эх-хе-хе, молодо-зелено...»

— Не исчезал?.. — Я снял обруч и выключил рубильник.

Потом я подошел к Валентинову и протянул ему желтую записную книжку с ацтекским орнаментом. В руках профессора была точно такая же.

— Сравните эти две книжки, профессор. Они должны быть совершенно одинаковыми. С одной лишь разницей: последняя запись в книжке, которую я держу в руках, сделана одиннадцатого декабря прошлого года, а сейчас июль. — И я указал на окно, где в густой синеве летал тополиный пух.

Все почему-то тоже посмотрели в окно, точно вдруг засомневались, а действительно ли сейчас июль, а не декабрь.

— Кроме того, вот! — Я достал из кармана крепкий, смерзшийся снежок и с удовольствием запустил им в линолеумную доску, сверху донизу исписанную формулами.

Снежок попал точно в середину и прилип.

СОДЕРЖАНИЕ

ЯРМАРКА ТЕНЕЙ	4
ВОЗВРАТИТЕ ЛЮБОВЬ	176
ПОСЛЕДНЯЯ ДВЕРЬ	230
СНЕЖОК	260



Для среднего и старшего возраста

Емцев Михаил Тихонович, Парнов Еремей Иудович
ЯРМАРКА ТЕНЕЙ

Ответственный редактор **Н. М. Беркова**
Художественный редактор **Б. А. Дехтерев**
Технический редактор **Т. М. Токарева**

Корректоры
В. К. Мирингоф и **Н. А. Сафронова**

Сдано в набор 27/III 1968 г. Подписано к печати
3/VII 1968 г. Формат 84×108¹/₂. Печ. л. 9. Усл.
печ. л. 15,12. (Уч.-изд. л. 14,86). Тираж 100 000 экз.
ТП 1968 № 582. А05720 Цена 62 коп. на бум. № 3.
Издательство «Детская литература». Москва,
М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика
«Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Ко-
митета по печати при Совете Министров РСФСР.
Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 2273.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В 1968 году выходят следующие научно-фантастические книги:

Абрамов А., Абрамов С.

ВСАДНИКИ НИОТКУДА.

Фантастический роман о встрече Земли с представителями инопланетной цивилизации.

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ № 14.

Альманах.

Эти книги можно приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации. Книги высылаются также по почте наложенным платежом отделом «Книга — почтой» областных, краевых и республиканских книготоргов.

62 коп.

М.ЕМЦЕВ
Е.ПАРКОВ
ЯРМАРКА
ТЕНЕЙ